

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Н И У « Б е л Г У »)**

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ТЕОЛОГИИ

Е.Ю. Чистякова

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ

учебно-методическое пособие

Белгород, 2019

УДК 12(075.8)
ББК 87.524.81я73
Ч-68

Рецензенты:

Павел Анатольевич Ольхов, доктор философских наук, доцент, профессор
кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ»

Елена Николаевна Мотовникова, доктор философских наук, доцент,
профессор кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ»

Чистякова, Е.Ю.

Проблема смысла жизни в мировой философии: учебно-методическое пособие/ Е.Ю. Чистякова. – Белгород, 2019. – 212 с.

Учебно-методическое пособие представляет собой дидактическое собрание фрагментов текстов авторов, увлеченно исследующих проблему смысла жизни. Наибольший акцент в пособии сделан на художественно-философские сочинения современных интеллектуалов – исследователей XX-XXI вв. обратившихся к проблеме бессмыслицы и поиска смысла жизни. Крупный блок учебного издания посвящен специальным направлениям в философии и психоанализе, обращенным к смысложизненной проблематике. В пособии представлен также цикл текстов русских мыслителей, умонастроения которых устойчивым образом были связаны с поисками смысла жизни. Пособие ориентировано на комплексное изучение различных подходов к проблеме смысла жизни и предполагает активный студенческий самоанализ – обращение к лично актуальным установкам и основаниям учебных философских исследований.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ.....	4
МЕТОДИЧЕСКИЙ КЛЮЧ.....	5
ТЕМА 1. АКТУАЛЬНОСТЬ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ.....	6
1. К вопросу о смысле.....	6
1. Шрейдер Ю. А. Смысл.....	6
2. Рорти Р. От религии через философию к литературе: путь западных интеллектуалов	8
2. Современные решения проблемы смысла жизни в художественной литературе.....	20
1. Уэльбек М. Элементарные частицы.....	20
2. Фаулз Дж. Коллекционер.....	30
3. Кутзее Дж.М. Бесчестье.....	49
4. Киз Д. Цветы для Элджернона.....	55
ТЕМА 2. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА И В ПСИХОАНАЛИЗЕ.....	68
1. Камю А. Посторонний.....	68
2. Сартр Ж.-П. За закрытыми дверями.....	90
3. Франкл В. Общий экзистенциальный анализ.....	113
4. Юнг К. Г. Поздние мысли.....	144
5. Больнов О. Ф. Новая открытость. Проблема преодоления экзистенциализма. Введение.....	159
ТЕМА 3. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА ЖИЗНИ В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ.....	168
1. Франк С.Л. Русское мировоззрение.....	168
2. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни.....	179
3. Толстой Л.Н. Исповедь.....	197
ТЕМЫ ЭССЕ.....	211
ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ.....	212

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебно-методическое пособие предназначена для освоения спецкурса «Проблема смысла жизни в мировой философии» для направления подготовки 47.03.01 «Философия». Тематически соответствует рабочей программе дисциплины, рассчитанной на 72 академических часа или на 2 ЗЕТа и предполагающей 44 часа самостоятельной работы обучающихся. Для организации этой работы и составлена данное учебно-методическое пособие, которое позволяет освоить курс в его главных смысловых точках. Успешным будет считаться такое освоение учебного курса, при котором студент выступит на практическом занятии по каждой из трех тем, прочитав на выбор один из текстов соответствующей темы, ответив на вопросы к тексту, напишет эссе на вольную тему и выполнит творческое задание к зачету.

Освоение учебной дисциплины «Проблема смысла жизни в мировой философии» способствует формированию способности использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем истории зарубежной и отечественной философии, формирует готовность работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями.

В данной учебно-методическом пособии представлена дидактически разносторонние тексты, связанные с постановками и поисками решения проблемы смысла жизни. Подбор текстов осуществлялся прежде всего с развивающей целью: уточнить сомнения философски пробуждающегося ума, «расшевелить» мышление обучающихся в питательной среде мировой интеллектуальной культуры, в исторической реальности философской традиции самопознания, к которой всегда была исключительно чуткой отечественная философская мысль.

МЕТОДИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

Каждый текст есть высказывание. Приступая к чтению текста, важно учесть его диалогический минимум – понять, хотя бы в самом общем виде, что сближает нас с теми, кто высказывался, писал текст, и теми, кому текст предназначался прежде всего. Это удобно делать, отвечая на общие вопросы (желательно письменно, конспективно):

1. *Кто говорит?* (основные характеристики жизни и личности автора);
2. *По какому поводу и для кого говорит?* (исторический контекст);
3. *О чем идет речь?* (основная идея произведения);
4. Какие *аргументы* использует автор текста?
5. *Актуален ли текст:* уместен ли в какой-либо ситуации нашего времени (представимой для Вас)?
6. *Полезен ли текст для Вас* (с позицией автора можно не соглашаться)?

Учебная, справочная и энциклопедическая литература, которая полезна при работе с текстами:

- 1) Новая философская энциклопедия / Научно.–ред. совет: В. С. Стёпин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, А. П. Огурцов. – М.: Мысль, 2010.;
- 2) Современная западная философия. Энциклопедический словарь / под ред. О. Хеффе, В.С. Малахова, В.П. Филатова при участии Т.А. Дмитриева. Ин-т философии. – М.: Культурная революция, 2009. -392 с.
- 3) Ильин Н.П. Трагедия русской философии. Часть I. От личины к лицу. Введение в принципы историко-философского понимания. Монография. – СПб.: 2003. – 216 с.
- 4) Гудинг, Д. Мировоззрение: Для чего мы живем и каково наше место в мире: Пособие для доп. занятий в ст. кл. / Авториз. пер. с англ.: Т. В. Барчунова. – Ярославль: ДИА-пресс, 2001 – 382 с.
- 5) Арьес, Ф. Человек перед лицом смерти. – М.: Прогресс – Прогресс-Академия, 1992. – 528 с.
- 6) Ясперс, К. Философия. Книга первая. Философское ориентирование в мире/ пер. А. К. Судакова. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. – 384 с.

ТЕМА 1. АКТУАЛЬНОСТЬ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ

1. К вопросу о смысле



Юлий Анатольевич Шрейдер (28 октября 1927 – 24 августа 1998) – советский и российский математик, кибернетик и философ, специалист по информатике, методологии науки и философии религии. Кандидат физико–математических, доктор философских наук.

В своей статье Юлий Шрейдер представляет набросок различных концепций и подходов к проблеме смысла, что позволяет уточнить масштаб проблемы, наметить пути ее дальнейшего исследования.

1. Шрейдер Ю. А. Смысл // Новая философская энциклопедия / Научно.–ред. совет: В. С. Стёпин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, А. П. Огурцов. – М.: Мысль, 2010. – Т. 3., с. 576–577)

Смысл – внеположенная сущность феномена, оправдывающая его существование, связывая его с более широким пластом реальности. Определяя место феномена в некоторой целостности, смысл превращает его осуществление в необходимость, соответствующую онтологическому порядку вещей. Бессмысленный набор знаков может случайно возникнуть, но он не остается как факт культуры. Существование такого набора эфемерно. Осмысленный текст хранится и воспроизводится в культуре и стимулирует порождение новых текстов, комментирующих, развивающих и даже опровергающих исходный.

Категория смысла неявно появляется у Аристотеля как господствующая во всей его метафизике «мысль о целесообразности природы и всего мирового процесса» (Асмус В.Ф. Метафизика Аристотеля. – В кн.: Аристотель. Соч., т. 1. М., 1976, с. 32). Телеология Аристотеля в значительной мере возникла на основе его учения о целесообразных функциях человеческой души и приобрела статус универсального космологического принципа – единства цели мирового процесса. Аристотель считал, что мир не является дурно написанной трагедией, но гармоничной целостностью, исходная причина и конечная цель которого восходит к Богу.

Пантеистическое представление отождествляет Бога с логосом – законами, имманентно присущими материальному миру и управляющими всем происходящим. Цели бытия определены этими законами, а, значит, принадлежат той же реальности, что и любой феномен этого мира. Тем самым смысл как нечто внеположенное феномену редуцируется к посясторонним целям, определяющим развитие этого феномена. Смысл феномена не может быть сведен к его конкретной цели, ибо такая цель есть желательное состояние этого феномена и, тем самым, не является внеположенной к нему сущностью. Такая цель нуждается в осмыслении через более высокую цель, последняя через следующую и т.д. В результате мы приходим или к дурной бесконечности, или к трансцендентной цели, укорененной в Боге. В мире, устроенном так, как его представляет пантеизм (или его непоследовательная версия – материализм), мыслима лишь дурная бесконечность целей. В нем есть только один способ справиться с бессмыслицей – стать нечувствительным к страданиям. Учение стоиков рекомендует стремиться к полной бесчувственности – достигнуть состояния апатии, доступного только мудрецам. Более умеренный Спиноза предлагает через осознание неотвратимости происходящего

минимизировать неизбежные дурные аффекты. Монотеизм предлагает путь обретения смысла собственного существования через внутреннее преобразование на пути единения с Богом. В монотеизме проводится сущностное различие между тварным миром и Творцом. Монотеистические религии усматривают смысл человеческой жизни в восстановлении утраченного в акте грехопадения единения с Богом – как обретение вечной жизни в Боге или как теозис – обожение человека. А.Ф.Лосев указывает на мир платоновских идей как на смысловое пространство, в котором происходит соприкосновение Божественного и тварного миров. Смысл феномена может нести идея этого феномена, так же как смысл имени может составлять выражаемая им идея.

В семиотике принято различать смысл и значение знакового выражения или знака. Значение – это тот предмет или то положение дел, на которые указывает этот знак в конкретной знаковой ситуации. Один и тот же знак может указывать на самые разные вещи в зависимости от ситуации. Но знак не только указывает на нечто, он еще и высказывает кое-что об этом нечто. Вот это высказывание и есть смысл знака, который вводит указываемые предмет или обстоятельства в общий порядок вещей и событий. Тем самым обозначение чего-то данным знаком из окказионального превращается в необходимое как вытекающее из смысла этого знака. Этот смысл внеположен знаковой ситуации. Он связывает акт обозначения с системой языковых смыслов – делает этот акт семантически правомочным. В лингвистической семантике смысл рассматривается как особая сущность, отличная от выражающего этот смысл текста, но определяющая допустимые референции текста – его способность указывать на те или иные реалии. Наоборот, текст, обозначающий общезначимую культурную реалию, получает способность выражать культурные смыслы. В герменевтике понимание текста – это реконструкция намерений создателя этого текста. С точки зрения герменевтики, смысл существует не в самом знаке, но составляет интенцию автора, внеположенную самому тексту, но воплотившуюся в нем и давшую этому тексту онтологические основания существовать как факт культуры. В логической семантике вводятся формальные экспликации категории смысла (интенционал, десигнат и др.). Д.А.Бочвар разработал логическое исчисление, позволяющее строго различать осмысленные суждения от не обладающих смыслом. Логико-семиотические исследования помогают понять, почему знак, обладающий смыслом, можно использовать в акте обозначения не как случайную «наклейку», но как «этикетку», целесообразно соотносящую обозначаемое с общим порядком вещей. Подобно этому, смысл феномена связывает последний с целесообразной организацией мира, предусматривая для него естественное (т.е. необходимое) место в мироздании.

Пантеизм и материализм провозглашают, что смысл жизни в ней самой. Тогда сохранение жизни и рост жизненной активности оказываются высшими ценностями. Эволюционная этика Г.Спенсера и его идейных продолжателей исходит из того, что высшие духовные способности и стремления человека – это эволюционно возникшие приспособления в борьбе за существование, за овладение жизненными ресурсами. Смысл жизни сводится к ее сохранению, воспроизводству и освобождению от страданий. Монотеизм исходит из того, что, как сформулировал Фома Аквинский: «Бог по своей сущности является счастьем, которое не принадлежит ничему иному». Каждый может быть счастлив только в той мере, в какой он приближается к Богу, т.е. к Тому, Кто является самим счастьем.

Поиск смысла жизни направлен на открытие онтологических оснований собственного бытия. Этот поиск оказывается необходимым, когда рушатся все опоры и человек повисает в метафизической пустоте. Недаром экзистенциальные вопросы с особой остротой встают перед лицом смерти. Бессмысленность проживаемой жизни подчеркивает неприемлемость смерти как торжествующей победы хаоса. Эту тему многократно и многообразно выразила классическая русская литература – от Пушкина и Лермонтова до Толстого и Достоевского, Чехова и Бунина. Тоталитарные режимы 20 в.

дали примеры таких запредельных ситуаций, в которых человек исчерпывает последние силы и уже не воспринимает непрерывные издевательства над собой, смерти и мучения ближних как события, когда уже нет сил для обдумывания жизни и приобретения экзистенциального опыта. Бессмыслица здесь выступает не просто как хаос страстей, а как закономерность уничтожения всего человеческого. Восстановление смысла жизни следует искать в христианской заповеди любви. Евангельский призыв к любви – не утопическое мечтание, но единственный реалистический путь отстоять смысл человеческого существования.

Вопросы и задания:

- 1) Подберите статьи о смысле жизни из других энциклопедий и справочников по философии. Обсудите плюсы и минусы найденных статей.
- 2) Возможно ли, на Ваш взгляд, исчерпывающее определение смысла жизни?
- 3) Попробуйте сформулировать свое рабочее определение смысла жизни (к нему Вы будете возвращаться и уточнять его по мере прохождения курса).



Ричард Рорти (4 октября 1931 – 8 июня 2007) – американский философ, один из наиболее влиятельных современных представителей поздней аналитической традиции в философии

В своей статье американский философ предлагает свое видение проблемы смысла жизни, обозначая его термином «искупительная истина» и проводя историческую реконструкцию проблемы в религии, философии и литературе.

2. Рорти Р. От религии через философию к литературе: путь западных интеллектуалов // Вопросы философии. 2003. №3

Вопрос «Верите ли Вы в истину?» звучит глуповато. Всем известно, что различие между истинными и ложными воззрениями столь же важно, как различие между пищей здоровой и вредоносной. Однако когда журналисты интервьюируют интеллектуалов, то часто задается примерно такой вопрос: «Верите ли Вы в истину – или принадлежите к числу тех легкомысленных постмодернистов, которые?»». Подобные вопросы – нынешние аналоги прежних вопросов типа: «Верите ли Вы в Бога – или принадлежите к числу тех опасных атеистов, которые?»». Тем, кого подозревают в постмодернизме, часто говорят, что они недостаточно любят истину. Это увещание произносится таким же тоном, каким некогда атеистам внушали, что «начало мудрости – страх Господень».

Очевидно, что в вышеназванном вопросе имеется в виду не обыденное значение слова «truth» («истина», «правда», «точность» и т. д.). Речь идет не просто об абстрактном существительном от прилагательного «true» («истинный», «правильный», «точный» и т. д.). Вопрос «Верите ли Вы, что существует истина?» – это краткая форма более обширного вопроса, который выглядит примерно так: «Полагаете ли Вы, что, во-первых, познание имеет некий естественный предел, т. е. что можно полностью и окончательно установить, постичь, как устроен мир, и, во-вторых, что это постижение даст нам знать, как нам жить, что нам делать с нами самими?»

Те, кто, подобно мне, обвиняются в постмодернистском легкомыслии, не думают, что существует такой предел познания. Мы думаем, что «познание» – это всего лишь другое имя для «решения проблем». Мы не можем себе представить, что познание, исследование вопросов вроде «Как должны жить люди?», «Какими людьми мы должны стремиться быть?» и «Какое общество мы должны пытаться создать?» когда-либо завершится, закончится. Потому что решение одних проблем создает другие проблемы – и так без конца. Как в жизни отдельной личности, так и в жизни общества и биологического вида каждая ступень взросления решает прежние проблемы, лишь создавая новые.

Проблемы типа «что нам делать с нами самими» отличаются в этом смысле от проблем естественнонаучных. Всеобъемлющая и завершенная наука о природе, т. е. некая гармоничная совокупность научных теорий, которые никогда уже не будут нуждаться в пересмотре, – это, пожалуй, представимый идеал. Иначе говоря, можно себе представить, что естественнонаучное познание достигнет естественного предела. И если под словом «истина» подразумевается всего лишь некое единое описание причинно–следственных связей между событиями в пространстве–времени, то даже самый отъявленный постмодернист не станет сомневаться в существовании истины. Ее существование становится проблематичным лишь тогда, когда под словом «истина» понимается нечто иное.

Такое понимание я обозначу термином «искупительная истина». Другими словами, это совокупность верований (beliefs), которые должны завершить раз и навсегда размышления о том, что нам делать с нами самими. Искупительная истина не состоит из теорий о причинно–следственных взаимодействиях вещей, но удовлетворяет ту человеческую потребность, которую прежде пытались обслуживать религия и философия. Это потребность увязать все на свете – все события, всех людей, все идеи – в некий единый контекст, который каким–то образом оказался бы естественным, предопределенным и единственно возможным. А также единственно значимым для определения смысла человеческой жизни, потому что только в данном контексте человеческое существование будет явлено в истинном свете. Верить в искупительную истину значит верить, что есть нечто, так же относящееся к человеческой жизни, как элементарные частицы современной физики относятся к традиционным четырем стихиям, т. е. что есть некая подлинная реальность за видимостью явлений, что есть одно истинное описание всего существующего и случающегося, один главный секрет и одна окончательная разгадка.

Упование на искупительную истину – это частный вид, относящийся к более широкому роду, к тому, что Хайдеггер называл жаждой подлинности – стремлением быть самим собой, а не просто продуктом своего образования или своей среды. Достичь подлинности (в этом смысле) значит увидеть альтернативы тем целям и смыслам жизни, которые большинство людей принимает без критики, как единственно данные, и сделать свой выбор из увиденных альтернатив – тем самым, до некоторой степени, самостоятельно создав самого себя. Как недавно напомнил нам Гарольд Блум, смысл чтения многих разных книг заключается в том, чтобы узнать о существовании многих разных целей и смыслов жизни, – и через это знание стать автономной личностью (an autonomous self). Автономия в этом не кантовском, а характерно блумианском смысле слова – примерно то же самое, что хайдеггеровская подлинность.

Я буду называть интеллектуалом такого человека, который стремится к подобной автономии и который имеет достаточно денег и досуга, чтобы осуществлять это свое стремление: посещать различные церкви или различных гуру, ходить в разные театры и музеи и, главное, читать много разных книг. Большинство людей, даже те, у кого есть необходимые деньги и досуг, не относятся к числу интеллектуалов. Они, если и читают книги, то не потому что стремятся к автономии, а или ради развлечения и отвлечения, или потому что хотят научиться лучше достигать те или иные предустановленные цели. Такие

люди читают книги не для того, чтобы узнать, к каким целям имеет смысл стремиться. А интеллектуалы занимаются именно этим.

Определив термины «искупительная истина» и «интеллектуал», я могу теперь сформулировать некое утверждение. Интеллектуалы Запада со времен Возрождения прошли через три этапа: сначала они надеялись получить искупление от Бога, потом – от философии, теперь того же ждут от литературы.

В религии – обычного западного монотеистического типа – надежда на искупление основана на том, что человек вступает в новые отношения, заключает новый договор («завет») с некой над-человеческой (nonhuman) личностью, которая обладает высшей силой и властью. Постигание истины (скажем, принятие тех или иных пунктов веры) может оказаться лишь сопутствующим обстоятельством данного договорного отношения. Иными словами, отношения человека с Богом – это далеко не всегда (и отнюдь не только) отношения человека с некой совокупностью верований (beliefs). В философии же верования (beliefs) составляют самую ее суть. Искупление философией – это искупление посредством усвоения некой совокупности верований, которые представляют вещи тем единственным образом, каким они существуют на самом деле. Что же касается литературы, то она, в свою очередь, предлагает искупление посредством знакомства с максимально возможным многообразием человеческих существ. В этом случае, как и в религии, постижение истины некоего высказывания может иметь мало значения. Постигание искупительной истины – это специфически философский способ обретения автономии в блумианском смысле.

С точки зрения той литературной культуры, которая преобладает среди сегодняшних интеллектуалов, религия и философия выглядят как роды (жанры) литературы. И как таковые они факультативны. Один интеллектуал читает много стихов и мало романов или, наоборот, много романов и мало стихов. Подобным же образом другой интеллектуал может читать много философских или религиозных сочинений, но сравнительно мало стихов или романов. Интеллектуал, принадлежащий к литературной культуре, читает все эти книги иначе, чем их читают другие. Разница заключается в том, что литературный интеллектуал воспринимает любые книги как человеческие попытки удовлетворить человеческие потребности, а не как свидетельства о силе и власти некой сущности (being), которая есть то, что она есть, (that is what it is) безотносительно к каким-либо человеческим потребностям. Бог и Истина – это, соответственно, религиозное и философское имя для подобной сущности.

Переход от религии к философии начался с возрождения платонизма в эпоху Ренессанса – когда гуманисты стали задавать такие же вопросы о христианском монотеизме, какие Сократ задавал о пантеоне Гесиода. Сократ в своем диалоге с Эвтифроном предположил, что вопрос не в том, угодны ли поступки человека богам, а в том, какие из богов имеют верные представления о поступках, надлежащих человеку. Когда позже эта мысль была снова рассмотрена всерьез, то Кант смог прийти к заключению, что даже Священный Персонаж Евангелий следует воспринимать в свете собственной совести индивидуума.

Переход от философской к литературной культуре начался вскоре после Канта – примерно тогда, когда Гегель высказал предостережение, что философия начинает «рисовать своей серой краской по серому» лишь после того, как некая форма жизни устаревает. Это замечание помогло поколению Кьеркегора и Маркса осознать, что философия никогда не сможет играть ту роль искупительницы, которую хотел утвердить за ней сам Гегель. В высшей степени амбициозные идеи Гегеля относительно роли философии почти сразу превратились в свою диалектическую противоположность. Едва его Система была предана гласности, ее тут же стали третировать как саморазрушающийся артефакт, как *reductio ad absurdum* той формы интеллектуальной деятельности, которая вдруг оказалась почти изжитой.

Со времен Гегеля интеллектуалы все больше и больше теряли веру в философию, веру в то, что искупление может прийти в облике истинных верований (true beliefs). Интеллектуалы перестали верить, что есть некий единый и единственный контекст, в котором человеческая жизнь может быть явлена в истинном свете – такой, какой она есть по истине. В литературной культуре, которая постепенно формировалась на протяжении последних двухсот лет, вопрос «Истинно ли это?» уступил свое почетное место вопросу «Что нового?».

Хайдеггер полагал, что эта замена была упадком, сдвигом от серьезного мышления к поверхностному любопытству (см. рассуждения о *das Gerede* и *die Neugier* в разделах 35–36 «*Sein und Zeit*»). Многие поклонники естественных наук (в остальном не имеющие никакого отношения к Хайдеггеру) согласились бы с ним по данному вопросу. Однако я полагаю, что названная замена была шагом вперед (an advance). Вместо дурных вопросов вроде «Что такое Бытие?», «Что такое действительная действительность?» и «Что такое человек?» был поставлен вопрос осмысленный: «Есть ли у кого–нибудь какие–нибудь новые идеи относительно того, что нам, людям, можно и должно делать с нами самими?»

Чуть позже я обращусь к более подробному описанию литературной культуры, но сначала позволю себе вернуться к различию между религией и философией. В своем чистом виде, не разбавленная философией, религия – это отношение к некой надчеловеческой (non-human) личности. Данное отношение может иметь форму благоговейного подчинения, или экстатического общения, или спокойной веры, или какого–либо их сочетания. И только когда к религии примешивается философия, это непознавательное (некогнитивное) искупительное отношение к некой личности опосредуется пунктами вероучения. Только когда вместо Бога Авраама, Исаака и Якова появился Бог философов, правильное верование (correct belief) стало считаться существенным для спасения.

Для религии в ее чистом, беспримесном виде доказательное рассуждение (argument) не более важно, чем верование (belief). Как утверждал Кьеркегор, стать Новым Существом во Христе – это совсем не то же самое, что принять истинность некоего высказывания (утверждения, а proposition) по ходу и в результате сократического рассуждения или в силу гегельянской диалектики. В той мере, в какой религия требует веры в некое утверждение (a belief in a proposition), эта вера, как сказал Локк, основана на доверии (the credit) к тому, кто данное утверждение утверждает (the proposer), а не на убедительности доказательных рассуждений. Но верования (beliefs) нерелевантны для истового благочестия неграмотного почитателя (believer) богини Деметры, или столь же неграмотного почитателя Гваделупской Девы, или того, кто поклоняется маленькому толстенькому божку, стоящему третьим слева в храме на соседней улице. Именно такую нерелевантность верований надеялись воссоздать интеллектуалы вроде Апостола Павла, Серена Кьеркегора и Карла Барта – атлеты духа, лелеявшие надежду, что их вера (faith) есть «безумие для эллинов».

Принимать всерьез философский идеал искупительной истины – это значит верить, во–первых, в то, что недостойно человека жить такой жизнью, которую он не может успешно и убедительно обосновать, а во–вторых, в то, что упорный поиск убедительных обоснований должен привести всех взыскующих к одному и тому же набору верований (beliefs). Религия и литература – в их чистом виде, без примеси философии – не предполагают ни вышеназванное «во–первых», ни вышеназванное «во–вторых». Беспримесная религия может быть монотеистической в том смысле, что некое человеческое сообщество считает существенным поклоняться лишь одному определенному богу. Но представление о том, что вообще может существовать лишь один бог, что политеизм противен разуму, – такое представление может утвердиться только тогда, когда философия провозгласит, что мышление каждого человека должно прийти к одному и тому же результату.

Вернусь к терминам «литература» и «литературная культура». Под последней я понимаю такую культуру, которая заменила литературой и религию, и философию. Подобная культура не ищет искупления ни в некогнитивных (non-cognitive) отношениях с некой над-человеческой (non-human) личностью, ни в когнитивных отношениях с высказываниями (propositions) – она ищет искупление в некогнитивных отношениях с другими человеческими существами, в отношениях, опосредуемых такими человеческими артефактами, как книги и здания, картины и пени. Эти артефакты позволяют увидеть альтернативные способы человеческого существования. Культура этого типа отвергает исходное предположение, общее и для религии, и для философии, а именно, что искупление должно обретаться через отношение с чем-то, что не есть всего лишь сотворенное человеком.

Кьеркегор верно заметил, что философия тогда начала утверждать себя в качестве соперницы религии, когда Сократ заявил, что наше самопознание – это богопознание, т. е. что мы не нуждаемся в помощи какого-либо над-человеческого (non-human) существа, потому что истина заключена в нас самих. Литература же начала утверждать себя в качестве соперницы философии, когда Сервантес, Шекспир и иже с ними заподозрили, что человеческие существа столь различны между собой (и должны быть столь различны), что бессмысленно делать вид, будто в глубинах их сердец находится одна на всех, единственная истина. На этот сейсмический сдвиг в культуре указал Дж. Сантаяна в эссе под названием «Отсутствие религии у Шекспира». Это эссе можно было бы с равным правом озаглавить «Отсутствие и религии и философии у Шекспира» или просто «Отсутствие истины у Шекспира».

Я уже писал о том, что вопрос «Верите ли Вы в истину?» можно сделать более осмысленным и актуальным, если переформулировать его примерно следующим образом: «Думаете ли Вы, что есть некий один и единый набор верований (beliefs), который может играть искупительную роль в жизни всех человеческих существ, который можно рационально доказать всем человеческим существам при оптимальных условиях коммуникации и который, таким образом, станет естественным завершением процесса познания?». Ответить «да» на этот вопрос значит принять философию в качестве наставницы жизни. Это значит согласиться с Сократом, что есть некий набор верований, который можно рационально доказать и который по праву имеет преимущество перед любым другим соображением относительно того, как человеку следует обходиться со своей жизнью. Исходное предположение философии заключается в том, что у всего существующего – и у человечества, и у остальной вселенной – есть и всегда будет некое доподлинное существование, независимое от преходящих потребностей и интересов людей. Познание этого доподлинного существования имеет ценность искупления и поэтому может заменить религию. Стремлением к Истине можно заменить поиск Бога.

Трудно сказать, насколько подобное рассуждение было бы доступно пониманию Гомера или даже Софокла. У них не было набора идей, необходимого для такого понимания: эти идеи были созданы позже – творческим воображением Платона. Сервантес и Шекспир понимали идеи Платона, но сомневались в его мотивах. Вследствие этого сомнения они уделяли больше внимания особенному, нежели общему, т. е. больше подчеркивали различия между человеческими существами, чем стремились выявить некую общую человеческую природу. Этот сдвиг акцента ослабил власть платоновского утверждения, что различные типы людей должны быть выстроены в некую иерархию – в зависимости от того, насколько они успешны в достижении некой единой цели. Новые веяния, связанные с такими именами, как Сервантес и Шекспир, привели к возникновению нового типа интеллектуалов. Эти интеллектуалы уже не считают само собой разумеющимся существование той или иной искупительной истины; их не очень интересуют вопросы «есть ли Бог?» и «есть ли Истина?».

Именно этот сдвиг способствовал становлению нынешней интеллектуальной культуры – в которой и религия, и философия оказались на положении маргиналов.

Разумеется, до сих пор существует много религиозных интеллектуалов и еще больше – интеллектуалов философских. Но в наши дни молодые книгочеи в поисках искупления обращаются в первую очередь к романам, пьесам и поэзии. Книги, которые восемнадцатый век считал маргинальными, теперь стали центральными. Доктор Джонсон и Вольтер, авторы «Расселаса» и «Кандида», способствовали (хотя и вряд ли могли предвидеть такое!) становлению культуры, в которой наиболее почитаемые авторы сочиняют не проповеди или трактаты, а повести и романы.

Исповедующие литературную культуру надеются обрести искупление через контакт с доступными ныне пределами человеческого воображения. Вот почему литературная культура постоянно – в поисках новизны, постоянно стремится увидеть то, что Шелли называл гигантскими тенями, которые будущее отбрасывает на настоящее, и вовсе не пытается убежать от временного к вечному. Исходная предпосылка этой культуры может быть сформулирована так: хотя воображение ныне имеет пределы, обусловленные временем, эти пределы можно бесконечно раздвигать. Воображение постоянно пожирает свои собственные артефакты. Это вечно живое и вечно расширяющееся пламя. Хотя то, что Блум называет «страхом запоздать» («the fear of belatedness») постоянно присутствует в литературной культуре, сам этот страх усиливает пылание пламени.

Тот, кого я называю «литературным интеллектуалом», полагает, что недостойно человека жить такой жизнью, которая не соприкасается с ныне достигнутыми пределами человеческого воображения. Сократическую идею само–исследования и самопознания литературный интеллектуал заменяет идеей расширения своего «я» через знакомство со многими другими способами человеческого существования. Религиозную идею, что некая книга или традиция может возвысить человека до общения с некой сверхмощной или сверхпритягательной над–человеческой личностью, литературный интеллектуал заменяет блумианской идеей: чем больше ты прочитал книг, чем больше способов человеческого существования ты узнал, в тем большей степени ты сам стал человеком – тем меньше тебя соблазняют мечты уйти от времени и случая, тем больше ты убежден, что мы, люди, можем полагаться лишь на самих себя. Литературный интеллектуал не верит в искупительную истину, но верит в искупительные книги.

Надеюсь, вышесказанное придаст некоторое правдоподобие моему утверждению (тезису), что последние пять столетий западной интеллектуальной жизни можно представить себе как сначала продвижение (progress) от религии к философии, а потом – от философии к литературе. Я называю это продвижением (progress), потому что рассматриваю философию как переходный этап в том процессе, по ходу которого постепенно возрастала уверенность человека в своих силах. Великое достоинство нашей новообретенной литературной культуры заключается в том, что она говорит молодым интеллектуалам: единственный источник искупления – человеческое воображение, и это повод не для отчаяния, а для гордости.

Идея искупительной истины влечет за собой убеждение, что тот набор верований, который может быть доказан всем человеческим существам, сможет еще и удовлетворить все потребности всех человеческих существ. Но это – лишь шаткий компромисс между мазохистским стремлением подчиниться чему–то над–человеческому и потребностью гордиться нашей человеческой природой. Искупительная истина – это попытка найти нечто такое, что не создано самими людьми, но с чем у них, тем не менее, могут быть особые, привилегированные отношения, отличающие людей от животных. Сущностная (intrinsic) природа вещей подобна некоему божеству – тем, что она независима от нас; и однако, как говорят нам Сократ и Гегель, самопознание достаточно для того, чтобы соприкоснуться с нею. Стремление познать это полубожество можно, вслед за Сартром, считать всего лишь тщетной страстью, обреченными на неуспех усилиями стать «для–себя–в–себе». Но лучше видеть в философии одно из величайших созданий нашего воображения – наряду с изобретением богов.

Философы часто описывали религию как примитивную и недостаточно осмысленную попытку философствования. Но, как я уже сказал, в полную силу развернувшаяся литературная культура склонна относиться и к религии, и к философии как к сравнительно примитивным, хоть и славным (glorious), родам (жанрам) литературы. В наши дни становится все труднее творить в этих жанрах, однако новые жанры, которые приходят на смену прежним, могло бы никогда не возникнуть, если бы сначала их не создавали в пику религии, а потом – в пику философии. Поэтому религию и философию лучше рассматривать не как лестницы, которые можно отбросить, по ним взобравшись, а как этапы нашего развития (maturation). Развитие человеческого рода – это процесс, на который мы постоянно оглядываемся, который мы снова и снова обдумываем – в надежде обрести все большую уверенность в собственных силах.

Чтобы сделать мое понимание философии как некоего переходного жанра более правдоподобным, я рассмотрю вкратце два великих движения, которые были ее высшими точками взлета.

Философия начала быть собственно философией тогда, когда мыслители эпохи Просвещения уже не должны были прятаться за маски религии (которыми пользовались и Декарт, и Гоббс, и Спиноза) и смогли открыто признаться в атеизме. Маски религии были полностью отброшены после французской революции. В результате этого события, давшего надежду на то, что человечество сможет само сотворить новое небо и новую землю, Бог стал выглядеть гораздо менее необходимым, чем прежде.

Эта новообретенная уверенность в своих силах породила две великие метафизические системы, которые были высшими точками взлета философии. Сначала возникла метафизика немецкого идеализма, а затем, как реакция на идеализм, метафизика материалистическая, апофеоз развития естественных наук. Идеалистическая метафизика – это уже прошлое. Метафизика материалистическая, напротив, все еще среди нас. По сути дела, это едва ли не единственная версия искупительной истины, предлагаемая на нынешнем рынке идей. Это последний бастион философии, ее последняя попытка предложить искупительную истину и тем самым избежать разжалования в звание литературного жанра.

Здесь не место вновь описывать подъем и падение немецкого идеализма или восхвалять то, что Хайдеггер назвал «величием, широтой и оригинальностью этого духовного мира». Для моей нынешней задачи достаточно упомянуть, что Гегель, самый оригинальный и смелый из немецких идеалистов, верил, будто ему впервые удалось дать удовлетворительное доказательство существования Бога и удовлетворительное решение традиционной теологической проблемы зла. В своих собственных глазах он был первым вполне успешным естественным теологом – первым, кто примирил Сократа и Христа, показав, что Воплощение было не всего лишь актом Божией благодати, но необходимостью. «Бог, – писал Гегель, – должен был иметь Сына», потому что вечность – ничто без времени, Бог – ничто без человека, а Истина – ничто без ее исторического проявления.

По мнению Гегеля, платоновская надежда уйти из временного в вечное была примитивной, хотя и необходимой стадией философского мышления – стадией, которая могла быть преодолена благодаря христианской доктрине Воплощения. А после того, как Кант открыл нам глаза на взаимозависимость духа (mind) и мира, мы (полагал Гегель) можем понять и то, что философия способна возвести мост через кантовское различие феноменального и ноуменального, подобно тому как пребывание Христа на земле преодолело различие между Богом и человеком.

Идеалистическая метафизика казалась истинной и доказуемой некоторым лучшим умам девятнадцатого века. Так, Дж. Ройс писал книгу за книгой, доказывая, что Гегель был прав: простое умозрительное размышление (simple armchair reflection) об исходных предпосылках здравого смысла (т. е. тот вид философствования, который практиковал и рекомендовал Сократ) столь же неизбежно должно привести к принятию истины

пантеизма, как размышление о геометрических фигурах приводит к теореме Пифагора. Однако Кьеркегор изящно сформулировал приговор, который литературная культура вынесла этой метафизике: если бы в конце своей книги Гегель написал: «Это был всего лишь мысленный эксперимент» – он был бы величайшим мыслителем из всех, когда-либо живших. А так – он всего лишь фигляр.

Я бы переформулировал суждение Кьеркегора следующим образом: если бы Гегель не считал, что он снабдил нас искупительной истиной, а вместо этого вообразил бы, что дал нам нечто лучшее – а именно, способ охватить единым видением все прежние плоды человеческого воображения, он был бы первым философом, осознавшим, что на рынке идей появился культурный продукт лучше, чем философия. Он был бы первым философом, сознательно заменившим философию литературой, подобно тому как Сократ и Платон были первыми, кто сознательно заменил религию философией. Но вместо этого Гегель утверждал, что он открыл Абсолютную Истину, и люди вроде Дж. Ройса восприняли это утверждение с такой серьезностью, которая ныне выглядит и трогательной, и смешной. Так что на долю Ницше (в его «Рождении трагедии») выпало сказать нам, что мы должны отвергнуть исходные предпосылки, общие и для Сократа, и для Гегеля. Как полагал Ницше, мысль о том, что наше самопознание есть познание Бога, была в свое время большим творческим достижением. Однако теперь полезность этой мысли себя исчерпала.

Во временном интервале между Гегелем и Ницше возникло второе из двух великих философских движений, упомянутых выше. Его линия преемственности восходит к Демокриту и Лукрецию, подобно тому как линия преемственности Гегеля восходит к Пармениду и Плотину. Это была попытка заменить и религию, и сократическое мышление естествознанием; попытка извлечь из эмпирического познания именно то, что, согласно Сократу, оно никогда не могло дать, – искупительную истину.

К середине девятнадцатого века стало ясно, что математика и опытные науки – это единственные области культуры, в которых можно надеяться достичь единодушного, рационального согласия, – единственные дисциплины, способные вырабатывать такие верования (beliefs), которые не будут опровергнуты по ходу истории. Естествознание стало выглядеть единственным источником таких утверждений, которые были вероятными кандидатами на статус догадок (insight) о том, каков мир сам по себе (the way things are in themselves), безотносительно к каким-либо извещениям человеческой истории. Многим интеллектуалам единое естествознание (unified natural science) все еще кажется ответом на молитвы Сократа.

Подобный проект придания искупительного статуса эмпирической науке все еще привлекателен для двух типов нынешних интеллектуалов. Первый тип – это те философы, кто утверждает, что естественные науки способны достичь такой объективной истины, которая недостижима ни для одной другой сферы культуры. Подобные философы обычно утверждают также, что ученый-естественник – это примерный (парадигматический) обладатель таких интеллектуальных добродетелей, прежде всего – любви к истине, которых было бы тщетно искать в среде литературных критиков. Второй тип интеллектуалов, унаследовавших идеи позитивистов девятнадцатого века, – это ученые, которые претендуют на то, что последние достижения в их области имеют большое философское значение: например, что недавние результаты в эволюционной биологии или когнитивистике сообщают нам гораздо больше, чем просто новые сведения о своих предметах. Эти научные результаты якобы говорят нам нечто и том, как нам жить, какова человеческая природа и кто мы вообще такие. Они (эти результаты) дают нам если и не искупление (redemption), то по крайней мере мудрость – т. е. не только знание о том, как производить более эффективные инструменты для осуществления наших желаний, но и мудрые советы относительно того, каковы должны быть сами наши желания.

Я рассмотрю эти два типа интеллектуалов по отдельности. Что касается стремления некоторых философов видеть в ученых-эмпириках образец (парадигму)

интеллектуальных добродетелей, то проблема тут, на мой взгляд, заключается в том, что любовь к истине в случае астрофизика вряд ли отличается от любви к истине в случае классического филолога или историка, исследующего архивы. Все эти люди стараются сделать нечто правильным образом (to get something right). Но ведь то же стараются сделать и умелый плотник, и квалифицированный бухгалтер, и добросовестный зубной врач. Потребность сделать свое дело правильным образом – самая суть профессиональной идентичности этих людей; то, что делать их жизнь достойной. Нет причины приписывать вкладам ученых–теоретиков в эту область такое моральное или философское значение, какого якобы нет в работе ремесленника.

Джон Дьюи полагал, что больший престиж математического физика по сравнению с престижем квалифицированного механика – это прискорбное наследие платоновско–аристотелевского различия вечных истин, с одной стороны, и эмпирических истин – с другой, более высокой оценки общих размышлений на свободном досуге, чем конкретных практических усилий. Мысль Дьюи можно переформулировать следующим образом: более высокий престиж ученого–теоретика – это прискорбное наследие той сократовской идеи, что если в результате рационального обсуждения мы все согласимся считать нечто истинным, то это нечто будет чем–то большим, нежели просто фактом нашего согласия; т. е. что при идеальных условиях коммуникации межличностное (интерсубъективное) согласие – это признак соответствия истинной природе вещей.

Нынешние споры среди философов сознания и языка (philosophers of mind and language) по вопросу о том, толковать ли истину как соответствие реальности, и параллельные споры среди философов науки о тезисе Куна, что наука не есть асимптотическое приближение к реальной реальности, – это споры между теми философами, кто полагает, что эмпирическая наука осуществляет по крайней мере некоторые из надежд Платона, и теми, кто полагает, что всякие надежды подобного рода должны быть отброшены. По мнению первых, здравый смысл неоспоримо свидетельствует о том, что добавить кирпич в здание знания – это значит более точно увязать мышление и язык с тем, как мир устроен на самом деле (with the way things really are). Вторые (философские оппоненты первых) считают – вслед за Дьюи – подобный здравый смысл всего лишь реликтом прежней религиозной надежды, что искупление можно обрести посредством контакта с чем–то над–человеческим (non–human) и обладающим высшей силой. Оставить эту надежду, связующее звено между философией и религией, значит признать и способность ученых прибавлять кирпичики к зданию знания, и практическую пользу научных теорий для предсказания будущего, но при этом подчеркнуть, что и то, и другое иррелевантно для поисков искупления.

Вышеназванные споры между философами имеют мало общего с деятельностью того типа людей, которых я назвал «материалистическими метафизиками». Это ученые, которые полагают, что широкая публика должна интересоваться последними достижениями в области генетики, физиологии мозга, психологии детского возраста или квантовой механики. Подобные ученые с большим воодушевлением говорят о различиях между прежними научными теориями и теориями, только что созданными, но им обычно не удается объяснить, почему эти различия должны волновать нас. Нам пытаются внушать, хоть и не очень успешно, что новые теории каким–то образом – и впервые – обеспечивают непосредственный контакт с реальностью.

Подобная риторика всего лишь наводит метафизический глянец на и без того полезный научный продукт. Эта риторика пытается нас уверить, что мы не просто узнали нечто новое о том, как предсказывать события и контролировать нашу окружающую среду, но достигли и чего–то большего, чего–то, что имеет искупительное значение. Но все блестящие достижения современной науки исчерпали свою философскую значимость, когда стало ясно, что причинно–следственное описание событий в пространстве–времени не требует учета каких–либо нефизических сил, т. е. когда было показано, что нет никаких привидений (spooks).

Короче говоря, современная наука дала нам понять, что если нам нужна метафизика, то единственно возможной оказывается метафизика материалистическая. Но из самой науки как таковой вовсе не следует, что нам вообще нужна какая-либо метафизика. Потребность в метафизике сохранялась то тех пор, пока сохранялась надежда обрести искупительную истину. Но к тому времени, когда материализм восторжествовал над идеализмом, эта надежда увяла. Поэтому реакция большинства современных интеллектуалов на победные реляции о новых научных открытиях сводится к вялому вопросу: «Ну и что?». И это (вопреки Ч.П. Сноу) – не реакция претенциозных и невежественных литераторов, снисходительно поглядывающих на честных и трудолюбивых ученых-эмпириков. Это вполне осмысленный ответ человека, который хочет получить знание о целях, а получает лишь сведения о средствах.

Платон и Гегель пытались дать нам нечто более интересное, чем физика. И это были похвальные попытки найти некую искупительную дисциплину, которая заменила бы религию. А материалистическая метафизика – это всего лишь попытки физики прыгнуть выше своей головы. Современная наука – это прекрасный и творческий способ (инструмент) описания мира, блестяще справляющийся с той задачей, для которой он был создан, а именно: предсказывать и контролировать явления. Но этот инструмент не должен претендовать на обладание некой искупительной силой, на обладание которой претендовала его поверженная соперница – идеалистическая метафизика.

Мы, философы, которых обвиняют в том, что у нас нет достаточного уважения к объективной истине, – те, которых материалистические метафизики любят называть «постмодернистскими релятивистами» – мы думаем об объективности как об интересубъективности. Поэтому мы вполне можем согласиться с тем, что ученые обретают объективную истину таким способом, каким литераторы ее никогда не добудут: просто потому, что ученые организованы в такие экспертные сообщества, в какие литературные интеллектуалы и не должны пытаться себя организовать. Вы можете организовать экспертное сообщество в том случае, когда вы согласны в том, что вы хотите получить, но не в том случае, когда вы пытаетесь понять, к какому образу жизни вам следует стремиться. Мы знаем, для каких целей предназначены научные теории. Но ни теперь и никогда в будущем мы не сможем сказать, для каких целей предназначены романы, стихи и пьесы. Потому что подобные книги непрестанно переопределяют наши цели.

Пока что я ничего не говорил об отношениях между литературной культурой и политикой. Но в заключение я хочу обратиться к этой теме. Потому что спор между теми, кто видит в литературной культуре благо, и теми, кто видит в ней зло, – это в основном спор о том, какая культура наилучшим образом будет способствовать созданию и сохранению того климата терпимости, который лучше всего процветает в демократических обществах.

У тех, кто полагает, что должное уважение к объективной истине (и тем самым – к науке) важно для поддержания в обществе климата терпимости и доброй воли, есть убедительный довод: свободное обсуждение (argument) существенно и для науки, и для демократии. И когда мы хотим сделать выбор между альтернативными научными теориями, и когда мы хотим сделать выбор между альтернативными законодательными инициативами, мы хотим, чтобы люди основывали свои решения на свободном обсуждении – на обсуждении, исходящем из предпосылок, которые могут быть приняты каждым, кто возьмет на себя труд о них задуматься.

Священники редко прибегают к подобному свободному обсуждению. И литературные интеллектуалы тоже. Поэтому есть соблазн видеть в предпочтении литературы науке отрицание свободы обсуждений – ради догматических рассуждений, т. е. откат к чему-то, что будет слишком напоминать предфилософский, религиозный этап западной интеллектуальной жизни. В такой интерпретации, с такой точки зрения, развитие литературной культуры выглядит как «измена образованных людей».

Но те из нас, кто радуются возникновению литературной культуры, могут в порядке котр–аргумента сказать следующее: свободное обсуждение, разумеется, существенно для социального сотрудничества, однако искупление – дело сугубо личное, частное. Становление религиозной терпимости было связано с различием между потребностями общества и потребностями личности – и с осознанием того, что религия не относится к сфере потребностей общественных. Подобным же образом литературная культура призывает нас разделить политические соображения и проекты искупления. Когда граждане демократического общества собираются в общественном месте, чтобы совместно обсудить программу действий, их (граждан) личные упования на подлинность и автономию должны быть оставлены дома.

Иными словами: наука поучительна для политики лишь в том смысле, что ученые–естественники дают хороший пример социальной кооперации – пример экспертного сообщества, в котором процветает свободное обсуждение. Тем самым ученые предлагают модель для политических дебатов – модель честности, терпимости и доверия. Речь идет не о результатах, а о процедуре – вот почему артели плотников или группы инженеров могут служить столь же хорошими моделями, как кафедры астрофизики. Различие между разумным соглашением по проблемам, которые возникают во время строительства моста, и разумным соглашением относительно того, что физики иногда называют «теорией всего», в данном контексте – несущественно. Потому что какова бы ни была новейшая «теория всего», она не сможет дать никаких руководящих указаний ни в сфере политических действий, ни в сфере личного искупления.

Это мое утверждение может показаться рискованным и догматическим: ведь несомненно, что в прошлом некоторые результаты эмпирических исследований могли изменять наши представления о себе. Галилей и Дарвин изгнали некоторые виды привидений (spooks), продемонстрировав достаточность материалистического подхода. Тем самым они облегчили нам переход от религиозной культуры к светской, философской. Подобным же образом моя защита литературной культуры связана с утверждением, что изгнание других привидений, например, причинно–следственных связей в мире элементарных частиц, исчерпало полезность естествознания и в плане искупления, и в плане политики.

Я выдвигаю этот тезис не как результат философских рассуждений или некоего прозрения (insight), но всего лишь как предсказание о том, что нас ожидает в будущем. В порядке подобного же предсказания философы восемнадцатого века утверждали, что христианство сделало уже почти все, что могло, для морального развития человечества и что пора бы уже оставить религию в прошлом, а на ее место установить метафизику, идеалистическую или материалистическую.

Когда нынешние литературные интеллектуалы полагают, что естествознание не может предложить нам ничего большего, нежели поучительный пример общения под эгидой терпимости, они отчасти подобны философам (the philosophes) эпохи Просвещения, которые утверждали, что даже лучшие из священников не могут предложить ничего, кроме поучительных примеров благотворительности и благопристойности (charity and decency). Разжалование науки из возможного источника искупительной истины в модель рационального сотрудничества – это современный аналог разжалования Евангелий из рецепта достижения вечного блаженства в сборник здравых этических наставлений. Именно такое разжалование рекомендовали произвести Кант и Джефферсон, и именно это постепенно осуществили за последние два столетия либеральные протестантские теологи.

То же можно описать иначе: и христианская религия и материалистическая метафизика оказались самоуничтожающимися (self–consuming) артефактами. Религиозная ортодоксия была подорвана тезисами Апостола Павла о приоритете любви и постепенным осознанием того, что религия любви не может требовать от всех и каждого исповедание одного и того же символа веры. Метафизика была подорвана способностью современной

науки рассматривать человеческое сознание (the human mind) как чрезвычайно сложную нервную систему, а себя самое – в прагматическом, а не в метафизическом свете. Наука научила нас рассматривать эмпирическое исследование как использование этого нашего сложного физиологического оснащения в целях все большего господства над окружающим нас миром, а не как поиск некоей реальности, скрытой за кажимостью (appearance). Подобно тому как восемнадцатый век смог увидеть в христианстве не откровение свыше, а продолжение традиции сократических размышлений, двадцатый век смог увидеть в естествознании не откровение о сущностной (intrinsic) природе реальности, а продолжение традиции конкретных решений конкретных проблем, чем так умело занимались и занимаются и бобры, и плотники.

Отказаться от мысли, что есть некая сущностная природа реальности (an intrinsic nature of reality), которую могут открыть или священники, или философы, или ученые, это значит отделить потребность в искуплении от поиска общечеловеческого согласия. Это значит отказаться от поисков точного описания человеческой природы и универсального рецепта Праведной Человеческой Жизни (The Good Life for Man). Если и когда мы откажемся от подобных поисков, то безграничное расширение пределов человеческого воображения будет играть ту роль, которую покорность божественной воле играла в религиозной культуре, а открытие реальной реальности – в культуре философской. Но такая замена – вовсе не повод отказаться от поиска единой политической утопии, Праведного Всемирного Общества (the Good Global Society). Литературная культура может быть столь же верным союзником демократической политики, каким прежде была культура философская. Литературную культуру не должно считать триумфом Контр-просвещения. Она – продолжение Просвещения другими, лучшими методами.

Вопросы и задания:

- 1) Каковы основные смыслы «искупительной истины»? Насколько полно это нововведенное понятие соответствует Вашим возможным предварительным представлением (рабочим определением) смысла жизни?
- 2) Почему Ричард Рорти отдает предпочтение литературе в поиске «искупительной истины»?
- 3) В чем особенности интерпретации религии и философии в приведенной статье?
- 4) Насколько Вы можете согласиться с позицией автора (можно попытаться уточнить поля аргументации, Р. Рорти и свои)?
- 5) Дает ли что-то новое подход Ричарда Рорти к решению вопроса о смысле жизни, насколько Вы его себе представляете?

2. Современные решения проблемы смысла жизни в художественной литературе.



Мишель Уэльбек (26 февраля 1956) – французский писатель, поэт. Лауреат премии Ноябрь за роман «Элементарные частицы» (1998) и Гонкуровской премии за роман «Карта и территория» (2010).

В романе «Элементарные частицы» Мишель Уэльбек ищет причины несчастья западного человека, усматривая их в социально-половых взаимоотношениях. Именно поэтому разрабатывает специфический вариант утопии, приведенный в выбранном для обсуждения фрагменте.

1. Уэльбек М. Элементарные частицы: Роман / Пер. с франц. И.Васюченко, Г.Зингера. – СПб.: Азбука–классика, 2010. – 384 с.

<...>

Кое–кто говорит:

«Наша новая цивилизация ещё так молода, ещё так непрочна,

Только–только пробилась мы к свету,

Мы все ещё носим в себе опасную память о прежних веках,

мы её не изжили сполна,

Может быть, лучше не бередить, не затрагивать это?»

Тут рассказчик встает, собирается с мыслями, напоминает,

Спокойно, но твердо напоминает

О том, что в мире произошла метафизическая революция.

Точно так же, как христиане могли размышлять об античности,

изучать историю древнего мира,

не рискуя вернуться к язычеству, усомниться в Христе,

Потому что они перешли уже некий рубеж,

Шагнули на следующий уровень,

Миновали водораздел;

И как люди эпохи материализма могли созерцать

христианскую службу невидящим взором,

оставаясь глухими к её содержанию,

Как читали они христианские книги, принадлежавшие их же культуре,

взглядом чуть ли не антропологов, изучающих каменный век,

Не умея понять, что же так волновало их предков

в спорах вокруг благодати или определения греха;

Так же и мы в состоянии сегодня выслушать эту историю

из прошлой эпохи,

Просто как повесть о людях минувших времен.

Эта повесть печальна, но нас не встревожит,

не вызовет слезы и вздохи,

Ибо мы не похожи нисколько на этих людей.

Порождение их плоти, дети их грез,

мы отвергли их ценности, их представления,

Нам непонятны их радости, как и томления,

Мы отринули

С легкостью,
Без усилия,
Их пронизанный смертью мир.
Те столетия боли и горя без меры
Мы сегодня должны из забвенья вернуть.
Безвозвратно окончилась старая эра,
Мы свободны вершить независимый путь.

Между 1905 и 1915 годами Альберт Эйнштейн, почти совсем один, притом, обладая ограниченными математическими познаниями, смог – исходя из первоначально интуитивной догадки, предопределившей принципы собственно теории относительности, – разработать общую теорию гравитации, пространства и времени, которой предстояло оказать решающее воздействие на развитие позднейшей астрофизики. Этот дерзкий, одинокий труд, совершившись, по выражению Гилберта, «к чести человеческого разума» в области, по видимости далекой от какой-либо полезной практики, и в эпоху, непригодную для создания исследовательских сообществ, можно сравнить с работами Кантора, создавшего типологию становящейся бесконечности, или Готлоба Фреге, пересмотревшего основания логики. Равным образом, как подчеркивает Хюбчяк в своем предисловии к «Клифденским заметкам», можно уподобить его одиноким интеллектуальным усилиям, между 2000 и 2009 годами предпринятым в Клифдене Джерзински, – тем паче что Джерзински ещё в большей мере, чем в свое время Эйнштейну, не хватало математического обеспечения, чтобы подвести под свои догадки по-настоящему строгий фундамент.

* * *

Тем не менее первая публикация Джерзински – «Топология редукционного деления клетки», – выйдя в свет в 2002 году, вызвала довольно заметный резонанс. Там содержалось утверждение, впервые обоснованное неопровержимыми аргументами из области термодинамики, что хромосомное деление, происходящее в момент мейоза с целью зарождения гаплоидных гамет, в себе самом содержит источник структурной нестабильности; иначе говоря, что всякий биологический вид, имеющий пол, неизбежно смертен.

Опубликованные в 2004 году «Три вероятности топологии гилбертовых пространств» были встречены с удивлением. Эту работу можно рассматривать как опровержение динамики континуума и как попытку – со странными обертонами платонизма – нового обоснования топологической алгебры. Признавая интерес представленных автором вероятностей, математики-профессионалы не преминули подчеркнуть недостаток строгости в его пропозициях, известный анахронизм в самом характере подхода к вопросу. И в самом деле, Хюбчяк признает, что Джерзински в ту пору не имел доступа к новейшим математическим публикациям, создается даже впечатление, что он уже и не слишком интересовался ими. По существу, мы располагаем очень ограниченным числом свидетельств его деятельности в 2004–2007 годах. Он регулярно наезжал в голуэйский Центр, но его отношения с другими экспериментаторами оставались сугубо профессиональными и функциональными. Он приобрел некоторые рудиментарные компоненты ассемблера «Крей», что в большинстве случаев избавляло его от надобности обращаться к помощи программистов. Один только Уолкотт, похоже, поддерживал с ним более личные отношения. Он и сам жил близ Клифдена и порой на склоне дня наносил ему визиты. По его свидетельству Джерзински часто вспоминал Огюста Конта, в особенности его письма к Клотильде де Во и «Субъективный синтез» – последнее, незаконченное произведение философа. К тому же в плане научной методики Конт может быть признан подлинным основоположником позитивизма. Никакая метафизика, никакая онтология, признаваемая в ту эпоху, не имела в его глазах ни

малейшей цены. Весьма вероятно даже, как подчеркивал Джерзински, что Конт, поставленный в ту же интеллектуальную ситуацию, в какой между 1924–м и 1927–м оказался Нильс Бор, непреклонно сохранял бы свои позитивистские принципы, то есть присоединился бы к копенгагенскому направлению. В любом случае настойчивость французского философа в утверждении реальности социальных функций по отношению к условности индивидуального бытия, его постоянно возобновляющийся интерес к историческим процессам и течениям общественной мысли, а в особенности его обостренная чувствительность заставляют предположить, что у него, вероятно, не вызвал бы протеста новейший проект онтологического преобразования, получивший обоснование со времени выхода в свет работ Зурека, Зее и Хардкастла: проект замены онтологии объектов онтологией социальных сообществ. Ведь действительно, только онтология сообщества способна возродить на практике возможность человеческих отношений. В статистической онтологии частицы неразличимы, при характеристике их следует ограничиваться аспектом их наблюдаемой «численности». Единственные сущности, способные в такой онтологии быть выделенными и обозначенными, суть волновые функции и определяемые при их посредстве векторы состояния – отсюда аналогичная возможность возратить смысл понятиям братства, симпатии и любви.

* * *

Они шагали по Балликоннильской дороге; океан мерцал у их ног. Вдали, на горизонте, над Атлантикой садилось солнце. У Уолкотта все чаще создавалось впечатление, что мысли Джерзински бродят в туманных, если не мистических сферах. Сам–то он оставался сторонником радикального инструментализма; наследник традиций англосаксонского прагматизма, к тому же несущий на себе печать влияния трудов Венского кружка, он с легким недоверием относился к сочинениям Конта, в его глазах они были слишком романтичны. Позитивизм в противоположность материализму, на смену которому он пришел, может, подчеркивал Уолкотт, стать основанием нового гуманизма, который на самом–то деле возникнет впервые (поскольку материализм по самой сути несовместим с гуманизмом, недаром он его в конце концов разрушил). Что отнюдь не исключает исторической роли материализма: следовало преодолеть первый барьер, то есть Бога; преодолев его, люди впали в растерянность и сомнение. Но сегодня и этот второй барьер рухнул, это свершилось в Копенгагене. У них больше нет надобности ни в Боге, ни в идее запредельной реальности. «Существуют, – говорил Уолкотт, – человеческие восприятия, человеческие свидетельства, человеческий опыт; есть разум, связывающий эти перцепции воедино, и чувство, оживляющее их. Все это развивается помимо всяческой метафизики или какой бы то ни было онтологии. Нам уже не требуются идеи Бога, природы или реальности. На основании экспериментальных данных внутри сообщества наблюдателей согласие может быть установлено на рациональной межличностной основе; связь между опытами устанавливается посредством теорий, которые по мере возможности обязаны удовлетворять принципу экономии и непременно должны быть спорными. Есть мир воспринимаемый, мир ощущаемый, мир человеческий».

Его позиция была неуязвима, Джерзински сознавал это: разве потребность в онтологии не была детской болезнью человеческого разума? К концу 2005 года он во время поездки в Дублин случайно обнаружил «Книгу кельтов». Хюбчяк утверждает без колебаний, что встрече с этой красочной, в формальном отношении чудовищно сложной рукописью, по всей вероятности созданной монахом–ирландцем в VII веке нашей эры, было суждено стать поворотным пунктом в развитии его мысли и что продолжительное созерцание сего труда позволило ему в результате серии прозрений, которые задним числом обретают в наших глазах характер чуда, одолеть сложности расчета энергетической стабильности в недрах макромолекул, встречаемые в биологии. Не видя

необходимости соглашаться со всеми утверждениями Хюбчяка, надобно признать, что «Книга кельтов» всегда, на протяжении столетий, вызывала у комментаторов восторженные, почти экстатические излияния. Можно ради примера привести описание, сделанное в 1185 году Гиральдусом Камбрэнсисом:

Эта книга содержит толкование соответствий в четырех Евангелиях согласно тексту Святого Иеронима и почти столько же рисунков, сколько страниц, причем они волшебным образом раскрашены. Здесь можно созерцать лик Божественного величия, чудесно нарисованный; представлены также описанные евангелистами мистические животные, среди коих есть разные – и шестикрылые, и четырехкрылые, и двокрылые. Здесь видишь орла, там тельца, здесь человеческий лик, там – львиная морда и прочие, почти бесчисленные изображения. Если смотреть небрежно, мимоходом, можно подумать, что это всего лишь мазня, а не осмысленная композиция. И не увидишь никаких тонкостей, тогда как здесь сплошь тонкости. Если же возьмешь на себя труд вникнуть с большим вниманием, проницая взглядом тайны искусства, узришь столько сложного, столько утонченности и остроты понимания, и все это так сближено, переплетено, связано, а краски так свежи и светоносны, что можно без околичностей объявить: все это, должно быть, творение ангельских, но не человеческих рук.

Равным образом можно последовать за Хюбчяком в его утверждении, что любая новая философия, даже если она заявляет о себе в аксиоматической, по видимости чисто логической форме, в действительности взаимосвязана с новой визуальной концепцией Вселенной. Одаряя человечество физическим бессмертием, Джерзински, совершенно очевидно, произвел глубокую модификацию нашей концепции времени; но главной его заслугой, по мнению Хюбчяка, было то, что он заложил исходные элементы новой философии пространства. Чтобы приблизиться к Джерзински, ощутить ход его мысли, достаточно углубиться в бесконечные построения из кругов и спиралей, составляющих орнаментальную основу «Книги кельтов», или перечитать великолепные «Раздумья о переплетениях», внушенные ему этим манускриптом и опубликованные отдельно от «Клифденских заметок».

Природные формы, – пишет Джерзински, – суть формы человеческие. Это в нашем мозгу возникли треугольники, переплетения и разветвления. Мы узнаем их, мы их оцениваем, мы живем, окруженные ими. Живем в среде наших же, людских созданий, соотносимых с человеком, мы развиваемся и умираем. В лоне пространства, человеческого пространства, мы производим измерения; этими измерениями мы творим пространство.

Человек мало осведомлен, – продолжает Джерзински, – его пугает идея пространства; он воображает его огромным, ночным и разверстым. Он представляет себе существ простейшей шарообразной формы, затерянных в пространстве, съезжившихся, раздавленных вечным присутствием трех измерений. Напуганные идеей пространства, человеческие существа ежатся; им холодно, им страшно. В лучшем случае они пересекают пространство, печально приветствуя друг друга при встрече. А между тем это пространство заключено в них самих, речь идет не более чем о порождении их собственного сознания.

В этом пространстве, внушающем страх, – пишет далее Джерзински, – человеческие существа учатся жить и умирать; в пространстве их сознания зарождаются разлука, обособленность и боль. Это не требует долгих рассуждений: влюбленный через горы и океаны слышит зов своей любимой, мать слышит призыв своего ребенка. Любовь соединяет, и соединяет она навсегда. Практика добра – связывание, практика зла – разделение. Разделение – это второе имя зла; и таково же второе имя лжи. На самом деле не существует ничего, кроме чудесной связи, огромной и взаимной.

Хюбчяк справедливо отмечает, что самой большой заслугой Джерзински является не то, что он опрокинул устаревшее понятие индивидуальной свободы (поскольку данный концепт был уже значительно обесценен в его эпоху и каждый признавал, в крайнем

случае молча, что он никак не может служить фундаментом прогресса человечества), а то, что под углом зрения постулатов квантовой механики сумел посредством интерпретаций, правда немного слишком дерзких, заново возродить условия возможности любви. В этой связи стоит ещё раз вспомнить Аннабель: сам не познав любви, Джерзински через посредство Аннабель смог создать представление о ней; он получил возможность понять, что любовь в известном смысле, в ещё неведомых формах может иметь место. Весьма вероятно, что это представление владело им в те последние месяцы теоретических разработок, о подробностях которых нам известно так мало.

* * *

По свидетельствам тех немногих лиц, с которыми Джерзински сталкивался в Ирландии в последние недели, на него, казалось, снизошло умиротворение. Его беспокойное, подвижное лицо выглядело безмятежным. Он подолгу без цели бродил по Скай-роуд, и свидетелем этих длительных задумчивых прогулок были только небеса. Извиваясь по холмам, дорога, то обрывистая, то пологая, шла на запад. море сверкало, отбрасывая трепетные блики на скалистые берега дальних островков. Облака, быстро увлекаемые ветром к горизонту, образовывали сияющие диковинные массы, выглядевшие до странности плотными. Он шел и шел, не чувствуя усталости, и легкая туманная дымка влагой оседала на его лице. Его труды завершились, он знал об этом. В комнате, превращенной им в кабинет, с окном, выходящим на мыс Эррисланнен, он привел в порядок свои записи – несколько сотен страниц размышлений на самые разнообразные темы. Результаты его в собственном смысле научных работ заняли восемьдесят машинописных страниц – он не счел нужным приводить подробности своих расчетов.

27 марта 2009 года, на склоне дня, он отправился в Голуэй на центральный почтамт. Отправил сначала первый экземпляр своих трудов в Париж, в Академию наук, затем отослал второй в Великобританию, в журнал «Природа». Насчет того, что он предпринял потом, нет сколько-нибудь определенных сведений. Тот факт, что его автомобиль был обнаружен в непосредственной близости от Огрус-Пойнта, разумеется, наталкивает на мысль о самоубийстве – тем паче что ни Уолкотт, ни кто-либо из технического персонала Центра, по сути, не выказали удивления подобным исходом. «В нем было что-то неимоверно печальное, – нехотя объяснил Уолкотт, – по-моему, это был самый грустный человек, какого я встречал в своей жизни, к тому же слово «печаль» кажется мне слабоватым: тут бы скорее следовало сказать, что он создавал впечатление человека разрушенного, опустошенного вконец. Мне всегда казалось, что жизнь ему в тягость, что он успел утратить всякую связь с чем бы то ни было живым. Думаю, что он продержался точь-в-точь столько времени, сколько требовалось для завершения его трудов, и никому из нас не дано представить, каких усилий это ему стоило».

* * *

Как бы то ни было, вокруг исчезновения Джерзински сгустилась тайна, и то обстоятельство, что тело его так и не было обнаружено, породило стойкую легенду, согласно которой он отправился в Азию, а именно в Тибет, дабы поверить результаты своей работы сопоставлением с некоторыми положениями традиционного буддизма. Ныне эта гипотеза единодушно отвергается. С одной стороны, не удалось найти никаких следов его предполагаемого авиаперелета из Ирландии; с другой стороны, рисунки, оставленные на последних страницах его записной книжки, которые одно время трактовались как мандалы, в конце концов были идентифицированы как комбинации кельтских символов, близких к тем, что использованы в «Книге кельтов».

* * *

Ныне мы считаем, что Мишель Джерзински нашел свою смерть в Ирландии, там же, где он по собственному выбору прожил свои последние годы. Мы также полагаем, что, как только его работы подошли к концу, он, лишенный всех человеческих привязанностей, предпочел умереть. Многочисленные свидетельства удостоверяют, что он пребывал во власти очарования этой крайней точки западного мира, вечно омываемой нежным, трепетным светом, где он так любил бродить, или, как он пишет в одной из своих последних заметок, «где перемешаны небо, вода и солнечный свет». Мы думаем теперь, что Мишель Джерзински исчез в море.

Эпилог

Нам известно множество подробностей касательно жизни, внешнего вида и характера персонажей данного повествования; но тем не менее эту книгу надлежит рассматривать скорее как вымысел, правдоподобную реконструкцию на основе отрывочных воспоминаний, нежели как достоверное и однозначное отражение действительности. Даже если увидевшим свет «Клифденским заметкам», этой сложной смеси личных впечатлений, воспоминаний и теоретических построений, запечатленных на бумаге рукой Джерзински между 2000 и 2009 годами, в тот самый период, когда он работал над своей обобщенной теорией, если «Клифденским заметкам» дано поведать нам многое о событиях его жизни, бифуркациях, конфронтациях и драмах, предопределивших его особое мировидение и способ существования, тем не менее как в его биографии, так и в личности остается немало темных пятен. То же, что случилось потом, напротив, принадлежит Истории, и события, ставшие следствием публикации работ Джерзински, столько раз описаны, прокомментированы и проанализированы, что можно ограничиться их кратким резюме.

Июньской публикации 2009 года в специальном выпуске журнала «Природа», под названием «Пролегомены к идеальной репликации», на восьмидесяти страницах обобщающей последние работы Джерзински, суждено было стать потрясением для всего мирового научного сообщества. Во всех концах мира исследователи–микробиологи пытались повторить предлагаемые эксперименты, проверить подробности расчетов. Через несколько месяцев подоспели первые результаты, а уж потом неделю за неделей они без конца накапливались, с безупречной точностью подтверждая справедливость исходных гипотез. К концу 2009 года не могло оставаться уже никакого сомнения: выводы Джерзински соответствуют действительности, их надлежит признать научно обоснованными. Было очевидно, что их практические следствия головокружительны: любой генетический код, сколь угодно сложный, может быть перезаписан в стандартной, структурно стабилизированной форме, недоступной для нарушений и мутаций. Таким образом, любая клетка может быть наделена способностью бесконечного последовательного репродуцирования. Всякое живое существо, как бы ни было оно развито, может быть трансформировано в похожее, но размножаемое посредством клонирования и бессмертное.

Когда Фредерик Хюбчяк одновременно с несколькими сотнями ученых в разных концах планеты открыл для себя труды Джерзински, ему было двадцать семь лет, он заканчивал докторскую диссертацию по биохимии в Кембридже. Беспокойный ум, путаник, непоседа, он за несколько лет исколесил всю Европу – в архивах университетов Праги, Геттингена, Монпелье и Вены остался след его пребывания, он поочередно зачислялся студентом во все эти учебные заведения, ища, по собственному выражению, «новой парадигмы, но не только: помимо иного способа смотреть на мир, ещё и устанавливать другие связи с ним». Как бы то ни было, он стал первым и на многие годы единственным, кто, исходя из трудов Джерзински, отстаивал следующее радикальное предложение: человечество должно исчезнуть, дать жизнь новому роду, бесполому и бессмертному, тем самым преодолев индивидуальность, разобщенность и понятие будущего. Бесплезно описывать негодование, которое подобный проект должен был

вызвать в среде поборников религий откровения – иудаизма, христианства и ислама, которые, разом объединившись, единодушно обрушили анафему на эти труды, объявив их «серьезным покушением на достоинство человека, состоящее в единичности его взаимоотношений с Творцом»; только буддисты высказали замечание, что, как бы то ни было, отправной точкой размышлений Будды было осознание трех помех: старости, болезни и смерти, а также того, что венец творения, будучи призван посвятить себя прежде всего размышлению, не должен отвергать с порога техническое решение этих проблем. Так или иначе, совершенно очевидно, что Хюбчяку не стоило рассчитывать на большую поддержку со стороны официальных религиозных конфессий. Надобно заметить, что гораздо удивительнее был категорический отпор, который он получил от приверженцев традиционных гуманистических ценностей. Как ни трудно нам сегодня постичь смысл таких понятий, как «свобода личности», «человеческое достоинство» и «прогресс», надлежит вспомнить, какое главенствующее место они занимали в сознании людей материалистической эпохи (то есть тех нескольких столетий, что отделяют крах средневекового христианства от момента публикации работ Джерзински). Туманный и произвольный характер названных понятий, разумеется, помешал им оказать мало-мальски эффективное воздействие на реальную общественную ситуацию – таким образом, историю человечества от XV до XX столетия можно в общем и целом охарактеризовать как период прогрессирующего разложения и распада; тем не менее представители образованных и полуобразованных кругов, которые худо-бедно сумели внести свой вклад в утверждение этих понятий, с такой яростью за них цеплялись, что Фредерику Хюбчяку в первые годы пришлось приложить невероятные усилия, чтобы быть услышанным.

В истории этих нескольких лет, потраченных Хюбчяком на то, чтобы добиться единодушного одобрения проекта (поначалу встреченного с единодушным брезгливым неприятием мировым общественным мнением, пока в конце концов дело не дошло до финансирования его из фондов ЮНЕСКО), – перед нами вырисовывается портрет блестящего, чрезвычайно боевитого деятеля, наделенного умом одновременно живым и практическим, короче говоря, портрет непревзойденного популяризатора идей. Сам по себе он, разумеется, был создан не из того теста, из какого получаются великие ученые; зато он сумел использовать то единодушное почтение, какое в межнациональной научной среде вызывали имя и работы Мишеля Джерзински. Еще того меньше оснований приписывать Хюбчяку склад ума глубокого, оригинального философа; но он смог в своих предисловиях и комментариях к «Раздумьям о переплетениях» и «Клифденским заметкам» придать мыслям Джерзински форму одновременно впечатляющую и четкую, доступную широкой публике. Первая статья Хюбчяка «Мишель Джерзински и копенгагенские интерпретации» вопреки своему названию представляет собой обстоятельные размышления по поводу фразы Парменида: «Акт и объект мышления совпадают». В своей следующей работе «Трактат о конкретном ограничении», равно как и в другой, более просто названной «Реальность», он делает любопытную попытку свести воедино логический позитивизм Венского кружка и религиозный позитивизм Конта, временами не отказывая себе в праве на лирические отступления, о чем может свидетельствовать следующий часто цитируемый пассаж: «Не существует никакого так называемого вечного безмолвия и бесконечного пространства, ибо в действительности не существует ни безмолвия, ни пространства, ни пустоты. Мир, что нам известен, – это мир, который творим мы сами, мир человеческий округл, гладок, однороден и тепел, как женская грудь». Так или иначе, он сумел внушить все более возрастающей части публики, что на той стадии развития, которой оно достигло, человечество может и должно поставить под свой контроль всемирную эволюцию в целом, а в особенности собственную биологическую эволюцию. В своей борьбе он получил бесценную поддержку со стороны некоторой части неокантианцев, которые, используя накативший прилив ницшеанского влияния на общественную мысль, взяли в свои руки многие важные командные рычаги в интеллектуальных, университетских и издательских кругах.

И все же, по общему мнению, истинным гением Хюбчечак показал себя, когда сумел, проявив невероятную прозорливость в оценке смысла происходящего, обернуть в пользу своей программы странное, незаконнорожденное идеологическое течение, появившееся в конце XX столетия под названием New Age. Он первым в свою эпоху смог разглядеть за массой обветшалых, противоречивых и смешных суеверий, к которым при поверхностном взгляде сводится это течение, тот факт, что по сути New Age есть реакция на то реальное страдание, источником которого является психологическая, онтологическая и социальная раздробленность. За отвратительной смесью фундаментальной экологии, тяготения к традиционалистскому мышлению и «святыням», унаследованной от родственного движения хиппи и Изаленских идей, New Age проявлял реальную жажду разрыва с XX веком, его имморализмом, его индивидуализмом, его анархистскими, антисоциальными пристрастиями; он свидетельствовал о тревожном понимании, что ни одно общество не может быть жизнеспособным без объединяющей оси какой-либо религии; на деле он являл собой мощный призыв к смене парадигмы.

Более чем кто-либо другой, сознавая, что компромисс бывает необходим, Хюбчечак в лоне Движения человеческого потенциала, созданного им в 2011 году, без колебаний принял на вооружение несколько тем, откровенно принадлежавших New Age, от «Строения кортикальной области Гайо» до знаменитого уподобления «10 миллиардов людей на поверхности планеты – 10 миллиардов нейронов в мозгу человека», от призыва к созданию всемирного правительства на основе «нового альянса» до почти рекламного девиза: ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ БУДЕТ ЖЕНСКИМ. Он проделал это с ловкостью, вызывающей единодушный восторг всех комментаторов, притом тщательно избегал любых отклонений в область иррационализма или сектантства и, напротив, умел снискать себе могущественную поддержку в ученых кругах.

Для исследований в области истории человечества характерна несколько циничная тенденция выпячивать «ловкость» как основное условие успеха, в то время как она сама по себе, при отсутствии страстной убежденности, не способна привести к поистине решающим изменениям. Все, кто имел случай встречаться с Хюбчечком или противостоять ему в дискуссиях, единодушно подчеркивают, что источником его притягательной силы, его обаяния, его неподражаемой харизмы была глубокая простота и подлинная личная убежденность. При любых обстоятельствах он говорил примерно то же, что и думал, и в рядах его оппонентов, скованных помехами и ограничениями, порожденными устаревшей идеологией, такая простота производила уничтожающее действие. Один из первых упреков, обращенных к его проекту, был упрек в том, что его воплощение ведет к упразднению сексуальных различий, столь основополагающего признака человеческой самотождественности. На это Хюбчечак отвечал, что речь не о том, чтобы лишить род человеческий части его свойств, а чтобы создать новый род разумных существ, и что конец пола как условия размножения ни в коей мере не означает прощания с сексуальными наслаждениями. Скорее напротив. Не так давно были выделены кодирующие сегменты ДНК, ответственные за формирование корпускул Краузе во время эмбриогенеза; при нынешнем состоянии рода людского эти корпускулы в малом количестве рассыпаны по поверхности клитора и головки мужского полового члена. В грядущем же ничто не помешает приумножить их количество, распространить их по всей поверхности кожи в целом, обогатив таким образом структуру наслаждений новыми и почти неслыханными эротическими переживаниями,

Другие критики – вероятно, эти смотрели глубже – сосредоточились на том факте, что в лоне нового рода, сотворенного исходя из трудов Джерзински, все индивиды станут носителями одинакового генетического кода; таким образом, исчезнет один из основных элементов, определяющих своеобразие человеческой личности. На это Хюбчечак запальчиво возражал, что врожденная индивидуальность, которой мы в силу трагического заблуждения так гордимся, как раз и служила источником наибольшего процента наших бед. Идее, что человеческой личности грозит исчезновение, он противопоставлял

конкретный и наглядный пример однойцовых близнецов, которые несмотря на свой абсолютно идентичный генотип впоследствии развивают собственную личность в зависимости от индивидуальных жизненных обстоятельств, сохраняя при том узы таинственного братства – братства, каковое, по Хюбчечку, как раз и является самым необходимым элементом возрождения примиренного человечества.

Нет никакого сомнения, что Хюбчечек не лукавил, объявляя себя простым продолжателем Джерзински, всего лишь исполнителем, единственным стремлением которого является практическое осуществление замыслов учителя. Поручкой тому, например, его верность странной идее, высказанной на странице 342 «Клифденских заметок»: численность нового рода должна всегда оставаться равной численности рода предшествующего; стало быть, нужно сотворить индивида, затем двух, потом трех, пятерых... короче, вплоть до того, как снова доберешься до первоначального числа. Целью же являлось поддержание количества индивидов, составляющего цифру, делящуюся только на самое себя и на единицу, и, вероятно, призванного символически привлечь внимание к той опасности, какую в недрах любого социума представляет допущение возможности дробить его на отдельные части. Однако следует заметить, что Хюбчечек поместил это условие в опубликованный список глобальных задач, никак не озаботившись прояснением его смысла. Если же рассматривать проблему в более общем виде, становится ясно, что чисто позитивистское прочтение трудов Джерзински должно было привести Хюбчечка к постоянной недооценке масштабов метафизического переворота, который неизбежно должен был сопровождать столь глубокую биологическую мутацию – мутацию, по существу, не имевшую прецедентов в истории человечества.

Такое грубое непризнание философского смысла проекта и даже самого понятия философского смысла вообще, однако же, ни в коей мере не могло воспрепятствовать его реализации или даже затормозить её. Это говорит о том, как широко во всей совокупности западных обществ, равно как и в наиболее продвинутой её части, представленной движением New Age, распространилась идея, что фундаментальная мутация становится необходимой для выживания человеческого сообщества – такая мутация, которая убедительным образом возродит смысл понятий коллективности, постоянства и святости. Это говорит также о том, насколько философские вопросы в глазах публики утратили какую-либо основательность. Вселенское осмеяние, которому после десятилетий бессмысленного почитания внезапно подверглись труды Фуко, Лакана, Деррида и Делёза, не только не оставило в тот момент места для какой-либо новой философской доктрины, а, напротив, вконец дискредитировало все то сообщество интеллектуалов, что объявляло себя «гуманитариями»; с этого времени во всех областях мысли необратимо вошли в силу деятели науки. Даже тот случайный, противоречивый и шаткий интерес, который сторонники New Age время от времени проявляли к верованиям, берущим начало в «традициях старинной духовности», свидетельствовал всего лишь об их мучительной растерянности, доходящей до пределов шизофрении. На самом деле они, как и прочие члены общества, а может быть, и того больше, не могли верить ничему, кроме науки, наука была для них единственным и неопровержимым критерием истинности. В глубине души они, как и другие члены общества, считали, что разрешение всех проблем – включая психологические, социологические и, в более общем смысле слова, человеческие – лежит в сфере технической мысли. Так что Хюбчечек, по существу, не рисковал столкнуться с сопротивлением, когда в 2013 году провозгласил свой знаменитый девиз, которому было суждено воистину стать началом переворота в общественном мнении, планетарного по своим масштабам: ПЕРЕМЕНА СОВЕРШИТСЯ НЕ В УМАХ, А В ГЕНАХ.

* * *

Первые кредиты были на основе голосования выделены постановлением ЮНЕСКО в 2021 году; команда ученых под управлением Хюбчечка тотчас взялась за работу. Сказать по правде, в научном плане от его руководства было не много толку; зато он был сногшибательно эффективен в той области, которую можно определить как «связи с общественностью». Чрезвычайная быстрота, с которой подоспели первые результаты, не могла не поражать; лишь гораздо позже стало известно, что на самом деле многие исследователи из числа ближайших приверженцев или просто сторонников Движения человеческого потенциала в своих лабораториях в Австралии, Бразилии, Канаде или Японии приступили к этой работе уже давно, не ожидая, когда ЮНЕСКО даст им зеленую улицу.

Создание первого существа, первого представителя новой мыслящей расы, созданного человеком «по своему образу и подобию», имело место 27 марта 2029 года, ровно – день в день – через двадцать лет после исчезновения Мишеля Джерзински, и хотя в составе группы не было ни одного француза, синтез произошел в лаборатории Института молекулярной биологии в Палезо. Естественно, что телевизионная ретрансляция с места события имела огромный резонанс, он оставил далеко позади даже тот ажиотаж, что около шестидесяти лет назад, июльской ночью 1969 года, вызвала прямая трансляция первых шагов человека на Луне. Предваряя репортаж, Хюбчечек произнес очень краткую речь, где со свойственной ему жестокой искренностью объявил, что человечество должно гордиться тем, что оно стало «первым в пределах известной нам Вселенной родом животных, самостоятельно подготовившим условия для собственного вытеснения».

* * *

Ныне, спустя почти столетия, действительность в достаточной мере подтвердила пророческое значение слов Хюбчечка – подтвердила с таким избытком, что он и сам, вероятно, такого не предполагал. Кое-какие особи прежней расы ещё существуют, главным образом в регионах, долгое время подвергавшихся влиянию традиционных религиозных доктрин. Однако процент их размножения год от года уменьшается, и в настоящее время их вымирание представляется неотвратимым. Вопреки всем пессимистическим прогнозам, это угасание рода происходит мирно, несмотря на отдельные акты насилия, число которых постоянно уменьшается. Даже странно видеть, как кротко, с какой покорностью и, может статься, с тайным облегчением люди приняли неизбежность своего исчезновения.

* * *

Мы живем, разорвав последние узы, связывавшие нас с человечеством. По человеческим меркам, мы живем счастливо; мы и вправду укротили силы, непобедимые в глазах людей: эгоизм, гнев, жестокость; мы живем во всех смыслах другой жизнью. Наука и искусство по-прежнему существуют в нашем обществе; но погоня за Истиной и Красотой, не подстегиваемая, как раньше, кнутом личного тщеславия, в сущности, уже не носит столь животрепещущего характера. На людей стародавней расы наш мир производит впечатление рая. Впрочем, нам и самим порой случается – правда, в несколько юмористическом духе – называть себя «богами», о чем люди когда-то так мечтали.

История не исчезла, она настоятельно необходима, она властвует, и её власть неоспорима. Но, помимо неукоснительной приверженности фактам истории, это сочинение стремится напоследок выразить почтение к тому злополучному и отважному роду, который создал нас. Этот многострадальный и подлый род, не слишком отличный от обезьян, тем не менее нес в себе благородные чаяния. Болезненный, обремененный противоречиями, ревнитель индивидуализма, драчливый, безмерно эгоистичный, порой

способный на чудовищные взрывы насилия, род этот все же никогда не переставал верить в добро и любовь. И сверх того он впервые в истории нашел в себе мужество воспринять идею возможности собственного исчезновения путем самопреодоления, а несколько лет спустя сумел осуществить эту идею на практике. Ныне, когда утасуют его последние представители, мы считаем уместным воздать человечеству последнюю дань уважения; последнюю дань, воспоминание о которой в свой черед тоже исчезнет, поглощенное зыбучими песками времен; и все–таки необходимо, чтобы такое уважение, по меньшей мере однажды, было высказано. Эта книга посвящается человеку.

Вопросы и задания:

- 1) В чем смысл жизни современного западного человека по Уэльбеку?
- 2) Какой вариант избежания страдания предлагает автор? В чем он заключается?
- 3) Насколько, по Вашему мнению, приведенная в романе модификация человека может способствовать его счастью (можно попытаться уточнить поля аргументации М. Уэльбека и известные Вам из истории практической философии (этики))?
- 4) Не путает ли автор счастье и наслаждение, цель и средство?
- 5) В чем вы можете согласиться с Мишелем Уэльбеком, а в чем – нет (можно попытаться уточнить поля аргументации М. Уэльбека и свои)?



Джон Фаулз (31 марта 1926 года – 5 ноября 2005 года) – английский писатель, романист и эссеист.

В нашумевшем романе «Коллекционер» с обеих сторон представлена ситуация похищения человека. В приведенном фрагменте вы увидите «смысложизненную» мотивацию похитителя и узнаете предпосылки случившегося преступления.

2. Фаулз Дж. Коллекционер: Роман / Фаулз Джон; Пер. с англ. И. Бессмертной; Ред. А. Николаевская; Предисл. Т. Красавченко. – М.: Известия, 1991. – 288 с.

Когда она приезжала из частной школы домой на каникулы, я мог видеть ее чуть не каждый день: дом их стоял через дорогу, прямо против того крыла Ратуши, где я работал. Она то и дело мчалась куда–то, одна или вместе с сестренкой, а то и с какими–нибудь молодыми людьми. Вот это мне было вовсе не по вкусу. Иногда выдавалась минутка, я отрывался от своих грессбухов и папок, подходил к окну и смотрел туда, на их дом, поверх матовых стекол, ну, бывало, и увижу ее. А вечером занесу это в дневник наблюдений. Сперва обозначал ее индексом «Х», а после, когда узнал, как ее звать, «М». Несколько раз встречал на улице, а как–то стоял прямо за ней в очереди в библиотеке на Кроссфилд–стрит. Она и не обернулась ни разу, а я долго смотрел на ее затылок, на волосы, заплетенные в длинную косу, очень светлые, шелковистые, словно кокон

тутового шелкопряда. И собраны в одну косу, длинную, до пояса. То она ее на грудь перекидывала, то снова на спину. А то вокруг головы укладывала. И пока она не стала гостьей здесь, в моем доме, мне только раз посчастливилось увидеть эти волосы свободно рассыпавшимися по плечам. У меня прямо горло перехватило, так это было красиво. Ну точно русалка.

А в другой раз, в субботу, я поехал в Музей естественной истории, в Лондон, и мы возвращались в одном вагоне. Она сидела на третьей от меня скамейке, ко мне боком, и читала, а я целых полчаса на нее смотрел. Смотреть на нее было для меня ну все равно как за бабочкой охотиться, как редкий экземпляр ловить. Крадешься остороженько, душа в пятки ушла, как говорится... Будто перламутровку ловишь. Я хочу сказать, я о ней думал всегда такими словами, как «неуловимая», «ускользающая», «редкостная»... В ней была какая-то утонченность, не то что в других, даже очень хороших. Она была – для знатока. Для тех, кто понимает.

В тот год, когда она еще в школу уезжала, я не знал, кто она и что. Только фамилию отца – доктор Грей, да еще как-то слышал, говорили на встрече секции жесткокрылых, что вроде мать у нее попивает. И правда, раз встретил ее мамашу в магазине, слышал, как она с продавцом разговаривает – голосок жеманный, фу-ты ну-ты, тон барский, и видно сразу, из тех, кто не дурак выпить: штукатурка с лица чуть не валится и всякое такое.

Ну а потом в нашей городской газете напечатали, что она получила стипендию в Лондонском художественном училище и какая она умная и способная. И я узнал ее имя, красивое, как она сама, – Миранда. И узнал, что изучает искусство. После этой статьи все сразу пошло по-другому. Вроде мы как-то сблизились, хотя, конечно, не знали друг друга в том смысле, как это обычно бывает.

Не могу объяснить, отчего да почему... только как я ее впервые увидел, сразу понял: она – единственная. Конечно, я не окончательно свихнулся, понимал, что это всего лишь мечта, сновидение, и так оно и осталось бы, если бы не эти деньги. Я прямо грезил среди бела дня, придумывал всякие истории, вроде я ее встречаю, совершаю подвиги, она восхищается, мы женимся и всякое такое. Ничего дурного и в голове не держал. Потом только. Но это я еще объясню.

В грезах этих она рисовала картины, а я занимался своей коллекцией. Представлял себе, как она меня любит, как ей коллекция моя нравится, как она рисует и раскрашивает свои картины. Как мы с ней вместе работаем в красивом современном доме, в большущей комнате с таким огромным окном из цельного стекла, и вроде собрания секции жесткокрылых в этой комнате проходят. И я не молчу, как обычно, чтоб ненароком не сморозить чего, и мы с ней – хозяин и хозяйка, и все к нам с уважением. И она такая красивая – светлые волосы, серые глаза, – что от зависти все мужики зеленеют, прямо на глазах.

Ну конечно, эти все приятные мечты таяли, когда я видел ее с одним парнем, самоуверенным, наглым, из тех, кто позаканчивал частные школы и теперь раскатывают в спортивных автомобилях. Я раз на тотализаторе встретил его, он стоял у соседнего окошечка. Я вносил, а он получал. И говорит, дайте-ка мне полусотенными. А вся шутка в том и заключалась, что выигрыш у него был всего-то десять фунтов. Все они так. Ну, я видел иногда, как она в его машину садится, встречал их вместе или видел, как они в этой машине по городу катаются. Ну, тогда я очень бывал резок со всеми на работе и не вписывал «X» в дневник энтомологических наблюдений. (Это все до того, как она в Лондон уехала. Тогда уж она его бросила.) В такие дни я позволял себе дурные мысли. Тут уж она рыдала и валялась у меня в ногах. Один раз даже я представил себе, как бью ее по щекам: как-то видел в одной пьесе по телеку, парень дал пощечину своей подружке. Может, тогда-то все и началось.

* * *

Мой отец погиб в автокатастрофе. Мне было два года. Случилось это в 1937-м. Он был пьян вдребезину. Но тетушка Энни утверждала, что запил он из-за матери. Я так и не

узнал, что там было на самом деле, только вскоре после смерти отца мать уехала, оставила меня тетке, ей–то самой лишь бы жить полегче да повеселей. Мейбл, моя двоюродная сестрица, как–то раз сообщила мне в пылу ссоры (мы совсем еще были детишками), что мать моя – уличная и сбежала с иностранцем. У меня хватило глупости прямо отправиться к тетушке и задать ей этот вопрос. Ну, конечно, если уж она когда хотела от меня что утаить, это ей прекрасно удавалось. Теперь–то мне безразлично, и если даже мать жива, у меня видеть ее нет охоты. Даже из любопытства. А тетушка Энни всегда повторяет, мол, еще легко отделались. Думаю, она права.

Ну вот, значит, я рос у тетушки Энни и дядюшки Дика, вместе с их дочкой Мейбл. Тетушка – старшая сестра моего отца.

Дядя Дик умер, когда мне было пятнадцать лет, в 1950–м. Мы отправились на водохранилище рыбу ловить и, как всегда, разделились: я взял сачок и еще что там было нужно и ушел. А когда проголодался, вернулся к тому месту, где его оставил, там уже собралась целая толпа. Я подумал, ого, дядюшка, похоже, какую–то громадину на крючок подцепил. А оказалось – с ним случился удар. Его отвезли домой, только он уже не мог говорить и никого больше не узнавал.

Те дни, что мы провели с ним вместе – не так уж все время вместе, я ведь уходил бабочек ловить, а он сидел со своими удочками на берегу, но только ели мы всегда вместе и поездки к водохранилищу и домой тоже, – вот те дни с ним, пожалуй, самые счастливые в моей жизни (кроме, конечно, тех, о которых я потом расскажу). Тетушка и Мейбл насмеялись надо мной из–за бабочек, во всяком случае, когда я был мальчишкой. А дядюшка – он всегда за меня стоял. И всегда восхищался, как я их умею накалывать, говорил, прекрасная аранжировка и всякое такое. И еще со мной радовался, когда удавалось вывести новый экземпляр имаго. Всегда сидел и смотрел, как из кокона выбирается бабочка, расправляет и сушит крылышки, как осторожно их пробует. Для банок с гусеницами он мне выделил местечко в своей кладовке, а когда на конкурсе «Мир твоих увлечений» я получил приз за коллекцию фритилларий, он мне подарил деньги, целую кучу – фунт стерлингов, только не велел тетке говорить. Да что там, он мне был как отец. Когда мне мои деньги вручали, чек этот, я его в пальцах зажал, а сам первым делом о дядюшке подумал, после Миранды, конечно. Я бы ему самые лучшие удочки купил... и снасть всякую... и все, чего бы он только ни захотел. Ну, это уж было невозможно.

* * *

На скачках я стал играть, как только мне стукнуло двадцать один. Каждую неделю ставил пять шиллингов. Старина Том и Крачли из нашего отдела и еще несколько девчонок скидывались и играли по крупной и вечно приставали, чтоб я к ним присоединился. Только я всегда отказывался, мол, я сам по себе, волк–одиночка. Да мне ни Том, ни Крачли никогда не были особенно по душе. Старина Том какой–то противный, скользкий, вечно распространяется про наш Городской совет, а сам лижет главного бухгалтера во все места. А Крачли – грязный тип, садист, никогда не упустит случая высмеять меня за бабочек, особенно при девчонках: «Что–то Фред усталым выглядит после воскресенья, видно, провел бурную ночь с какой–нибудь бабочкой...» Или: «Что это за нимфа была с тобой вчера? Может – нимфа Лида из Виргинии?» И старина Том ухмыльнется, а Джейн, подружка Крачли (она из отдела канализации, но вечно торчит у нас, в налоговом) – хихикнет. Вот уж кто на Миранду не похож. Ну небо и земля. Терпеть не могу вульгарных женщин, особенно молодых. Так что, повторяю, играл я всегда один.

Чек был на 73 091 фунт и еще сколько–то шиллингов и пенсов. Я позвонил мистеру Уильямсу, как только эти люди с тотализатора подтвердили, что все в порядке. Ну и обозлился же он, что я так вот сразу увольняюсь, хоть и сказал, что очень даже за меня рад и что – он, мол, уверен – все за меня рады. Я–то знал, что это все вранье. Он даже предложил мне вложить эти деньги в пятипроцентные облигации Городского совета. О Господи. У нас в Ратуше некоторые совсем утратили чувство меры.

А мне, когда чек вручали, посоветовали уехать в Лондон вместе с тетушкой и Мейбл, пока вся эта шумиха не утихнет. Ну, я так и сделал. Старине Тому я отправил чек на 500 фунтов и написал, чтоб он поделился с Крачли и всеми другими. На их письма с благодарностями я и отвечать не стал, ясно было, они сочли, что я скупердяй.

Ну, ложка дегтя в эту бочку меда все же попала. Из-за Миранды. Когда я выиграл все эти деньги, она как раз приехала домой на каникулы. Я ее увидел в субботу утром, в тот самый мой счастливый день. И уехал. И все время в Лондоне, пока мы только и знали, что тратили мои денежки, я боялся, что больше никогда ее не увижу. Думал, вот ведь теперь, разбогатев, я вполне гожусь ей в мужья; потом думал, это же смех – надеяться, теперь выходят замуж по любви, особенно такие, как Миранда. Были минуты, я верил, что забуду о ней. Но забыть – это ведь от тебя не зависит, это выходит само собой. Только у меня не вышло.

* * *

Если ты – человек корыстный и беспринципный, а у нас теперь таких пруд пруди, я думаю, на свои-то кровные, если ты уж их заполучил, здорово можно время провести. Но по чести могу сказать, я не из таких, меня даже в школе никогда не наказывали. Тетушка Энни – она из секты нонконформистов – никогда меня силком в церковь не тащила, ничего такого не заставляла делать, но атмосфера в доме, где я воспитывался, была соответствующая, хотя дядюшка Дик иногда малость перебирал в пивнушке. А тетка даже курить мне разрешила, когда я из армии пришел, правда, со скандалами, я их чуть не каждый день ей закатывал. Что там говорить, я со своим курением у нее в печенках сидел. И подумать только, она ведь знала, сколько я получил, а все равно не переставала твердить, мол, не в ее правилах швыряться деньгами. Ох и влетело же ей за это от Мейбл: сестрица полагала, что я не слышу; ну да все равно, я сказал, деньги мои, совесть тоже моя, и вся ответственность на мне, пусть только скажет, чего ей хочется, а не хочет – так на нет и суда нет, а в уставе нонконформистов ничего не сказано про подарки.

К чему я все это рассказываю, дело в том, что, когда я в армии служил, в финчасти корпуса, мы в Западной Германии стояли, я пару раз напился, но с женщинами дела никакого не имел. Да и не больно-то о них думал до Миранды. Я ведь знаю, нет во мне того, что нужно девчонкам; парни вроде Крачли мне кажутся грубыми до невозможности, а девчонки к таким липнут как мухи. Посмотреть на некоторых у нас в Ратуше, как они этому Крачли глазки строят, так и рвотных таблеток глотать не надо. А во мне этого грубого, скотского, что их так влечет, нет. И не было от рождения. (И прекрасно, если бы на свете побольше было таких, как я, уверен, мир стал бы лучше.) Если денег нет, всегда кажется, что с деньгами все пойдет совсем по-другому. Я никогда не требовал ничего лишнего, только то, что мне причиталось, но в гостинице сразу же ясно стало, что вся их почтительность – вид один, на самом-то деле все они нас презирают, денег у нас куча, а что с ними делать, толком не знаем. Мол, из грязи – да в князи. И за спиной они так обо мне и судили, мол, мелкая сошка – она мелкая сошка и есть, как ни швыряйся деньгами. Стоило нам сказать или сделать что-нибудь, как все вылезало наружу. Сразу видно было, что у них на уме: нас не проведешь, мы тебя насквозь видим, отправляйся-ка подобру-поздорову откуда пришел.

Помню, как-то вечером мы отправились в шикарный ресторан, поужинать. Ресторан значился в том списке, что мне дали эти люди с тотализатора. Готовили там отлично, и мы все съели, только я вкуса почти и не чувствовал, так на нас там смотрели – и посетители, и противные скользкие официанты-иностранцы; и мне казалось, что сам зал, все предметы в нем смотрят на нас сверху вниз, потому что мы не так воспитаны и выросли не там, где надо. Тут как-то мне попала статья о школьном обучении, о разных там классах. Меня бы спросили, я бы им порассказал. На мой взгляд, весь Лондон рассчитан только на тех, кто окончил частную школу или умеет делать вид, что там учился, а если у тебя ни пижонских манер, ни барского тона нет, то и рассчитывать не на что. Я, конечно, про богатый Лондон говорю, про Уэст-Энд.

* * *

Как-то вечером – это было как раз после того ресторана – я сказал тетушке Энни, что хочу прогуляться. И ушел. Ходил, ходил, и вдруг подумал, что мне, пожалуй, нужна женщина, ну чтобы знать, что у меня была женщина. Ну и набрал номер телефона, мне его один парень дал на церемонии, когда чек вручали. Если захочется сам знаешь чего, сказал.

Женский голос ответил: «Я занята». Я спросил, может, она знает еще чей телефон, и она дала мне целых два. Ну, взял такси, поехал по второму адресу. Не буду рассказывать, как все было, только у меня ничего не вышло. Слишком нервничал. Дело в том, что я повел себя так, что вроде все про все знаю, все умею, а она поняла: она старая была, старая, страшная... ужасно. И вела себя ужасно, и выглядела не лучше. Потасканная, вульгарная. Ну, вроде как экземпляр для коллекции совсем негодный, на который и глядеть не станешь, не то что накалывать. Я еще подумал, вдруг бы Миранда застала меня в этом виде. Ну, я уже сказал, я было попробовал, но не вышло, да я и не очень-то старался.

Я не из быстрых молодых людей, никогда локтями никого не расталкивал, у меня, как говорится, более высокие устремления. Крачли часто говорил, в наше время если локтями не поработаешь, ничего не добьешься, и еще он говорил, взгляни на старину Тома, многого он добился лизаньем вышестоящих задов? Крачли, на мой взгляд, слишком много себе позволял, я уж говорил и могу еще повторить, слишком со мной фамильярничал. Но и он знал, когда и кого надо облизать, лишь бы ему от этого что-нибудь обломилось. Подлизывался к мистеру Уильямсу, например. «Ну-ка, побольше жизни, поактивнее, Клегг, – как-то сказал мне мистер Уильямс, когда я еще работал в отделе справок. – Люди любят, когда наши служащие улыбаются: неплохо и пошутить время от времени; не всякий рождается с этим даром, как Крачли, но почему не попробовать, может, и у нас получится, верно?» Ну уж это меня просто возмутило. Должен сказать, Ратуша эта мне до смерти надоела, я все равно собирался оттуда увольняться.

* * *

Я не изменился, нет, могу это доказать. Только была одна причина, почему тетушка Энни стала меня раздражать: я заинтересовался книгами, которые можно купить в этих магазинчиках в Сохо, ну там голые женщины и всякое такое. Журналы с такими картинками удавалось от нее прятать, а вот книги мне хотелось купить, а нельзя было – вдруг бы она стала рыться. Я всегда мечтал научиться фотографировать и, конечно, сразу же купил фотоаппарат, «лейку», самой лучшей марки, с телеобъективом и всеми принадлежностями. Главная идея была – снимать бабочек в жизни, как знаменитый С. Бофуа; но еще раньше, когда, бывало, собираешь коллекцию, на такое наткнешься, в лесу ли, в поле, – не поверите, чего только парочки не выделывают, и места себе выбирают, постеснялись бы; так что эта мысль тоже была.

Конечно, случай с той женщиной меня все-таки расстроил, правда, были и еще всякие обстоятельства. Вот, к примеру, тетушке Энни вздумалось отправиться морем в Австралию, повидаться с сыном и навестить своего другого, младшего брата, Стива, с семьей. Ей взбрело в голову, что и я должен поехать. Но я ведь уже говорил, они с Мейбл надоели мне до смерти. Нет, я их не возненавидел, ничего подобного, но видеть их больше не хотел. Да и всюду всем сразу ясно было, что они такое, яснее даже, чем мне самому. Мелкие людишки, которые никогда до тех пор из дому носа не высовывали. Ну, к примеру, они требовали, чтобы мы всегда все делали вместе и чтоб я докладывал им, где был и чем занимался, если вдруг часок проводил без них.

Ну, после того, о чем я уже рассказывал, я им заявил, что не еду в Австралию. Ну, они не слишком возмутились, наверно, дошло наконец, что денежки-то мои.

* * *

В первый раз я отправился искать Миранду после того, как съездил в Саутгемптон, проводить тетушку Энни. Если точно, то это было десятого мая. Конкретных планов у

меня не было. Правда, тетушке и Мейбл я сказал, что, может, уеду за границу, но на самом деле ничего еще для себя не решил. Тетушка Энни перепугалась, устроила мне перед отъездом серьезный разговор, что, мол, она надеется, я тут не женюсь, то есть пока она не познакомится с невестой. Распространялась про то, что деньги, разумеется, мои и жизнь тоже моя, и какой я щедрый и великодушный, и всякое такое, только сразу было видно, она до смерти боится, что я женюсь на ком–нибудь и они потеряют все эти деньги, которых они, видите ли, так стыдятся. Я ее не осуждаю, это естественно, особенно когда у тебя дочь–калека. Я вообще–то считаю, таких, как Мейбл, надо безболезненно умерщвлять, впрочем, это к делу не относится.

Я думал что сделать (я уже подготовил все заранее, купил самое лучшее в Лондоне оборудование), я думал отправиться в какую–нибудь местность, известную редкими видами и мутациями, и подобрать соответствующие серии для коллекции. Ну то есть поехать и пожить там сколько вздумается. Мне нужно было много чего собрать: несколько парусников, например махаона, большую синюю голубянку, редкие фритиллярии, вересковую и селену, и всякое такое. Многие коллекционеры у нас могут позволить себе роскошь заняться всем этим только раз в жизни. Ну, еще я хотел заняться разными видами молей. Подумал, теперь–то могу себе это позволить. Еще до того, как мои родичи уехали, я стал учиться водить машину (брал уроки) и купил себе фургон, специально оборудованный для поездок.

Что я хочу сказать, я не планировал везти ее сюда, ко мне в гости, когда получил эти деньги, это случилось совершенно неожиданно.

Ну, конечно, избавившись от тетушки Энни и Мейбл, я купил все те книжки; некоторые из них... ну, я просто не подозревал, что такое может быть, и между прочим, все это было мне отвратительно, я подумал, вот сижу взаперти в гостинице с этой гадостью, и все это так не похоже на мои мечты о нас с Мирандой. И вдруг я понял, что в своих мыслях о ней вроде совсем исключил ее из своей жизни, вроде мы не живем всего в нескольких милях друг от друга (я тогда переехал в гостиницу в Пэджингтоне), а ведь у меня не так уж много времени, чтобы выяснить, где она, не всю ведь жизнь мне ее искать. Ничего такого трудного и не оказалось, нашел в телефонной книге Художественное училище Слейда и отправился туда утром в своем фургоне – ждаль. Фургон, пожалуй, был единственной роскошью, которую я себе позволил. Я купил его, чтобы можно было все оборудование с собой возить в поездках по сельской местности, в заднем отделении было специальное устройство – откидная койка–гармошка, ее в любой момент можно было растянуть и лечь спать, и я еще подумал, если купить такой фургон, можно будет не таскать за собой повсюду тетушку и Мейбл, когда они вернутся. Я его не для того купил, для чего использовал. Все это было неожиданно, вдруг, вроде какого–то гениального озарения.

* * *

В первый день я ее так и не встретил, но на следующий наконец–то увидел. Она вышла в толпе студентов, они так и вились вокруг нее. У меня сердце заколотилось так, что чуть дурно не стало. Фотоаппарат я заранее приготовил, но не смог ничего сделать, не решился. Она совсем не изменилась, походка легкая, туфли без каблуков: она всегда такие носила, так что ей не нужно было противно семенить ногами, как другим. Движения свободные, видно, что она и не думала о парнях, которые ее окружали. И все время разговаривала с одним черноволосым, стрижка короткая и на лбу – челка, ну, настоящий художник, прямо артист. Всего их было шестеро, но потом она и черноволосый перешли на другую сторону улицы. Я вышел из машины и отправился за ними. Они недалеко ушли, завернули в кафе.

И я туда же, против собственной воли, не знаю, с чего вдруг, вроде меня на аркане заташили. Там было полно народу, студенты, художники, актеры и всякое такое, битники, в общем. Странные лица, странные картины и маски на стенах, думаю, что–нибудь такое под Африку.

И столько там было народу, такой стоял шум и гам и я так волновался, что сначала не мог разглядеть, где она. Она сидела в дальнем зале, в конце. А я сел на табурет у стойки, так, чтоб ее видеть. Я не решался следить за ней слишком явно, и свет в том зале был притемненный. Вдруг, смотрю, она стоит прямо рядом, у стойки. Я делал вид, что читаю газету, вот и не заметил, как она поднялась из-за столика. У меня щеки загорелись, прячусь за газетой, буквы расплываются, боюсь даже краешком глаза на нее взглянуть, а она стоит вплотную, чуть не касаясь. Платье на ней в синюю и белую клетку, руки голые, золотятся от загара, светлые волосы рассыпались свободно по плечам, по спине, длинные, шелковистые.

Она говорит: «Дженни, мы совсем на мели, дай нам в долг пару сигарет, будь так добра!» – «И не подумаю!» – отвечает та из-за стойки. А она говорит: «Честное слово, только до завтра». И потом: «Ой, спасибо большое!» – это Дженни ей сигареты дала. Пять секунд – и все, она уже снова сидит со своим черноволосым, но только ее голос все изменил, она из мечты превратилась в живую, реальную. Не сумею объяснить, что такое было в ее голосе особенное. Конечно, слышно было, разговаривает человек воспитанный, культурный, но никакого тебе жеманства, барства, фу-ты ну-ты, ничего подобного. Она не выпрашивала сигареты, не требовала, просто спросила, и не было этого противного чувства, что кто-то тут выше, а кто-то – классом ниже. Я бы сказал, речь у нее была такая же легкая, свободная, как походка.

Я поскорей расплатился, чуть не бегом бросился к машине и – в «Креморн», в свой номер. Совсем расстроился. Отчасти потому, что ей приходится в долг брать сигареты – денег нет, а у меня – целых шестьдесят тысяч (десять тысяч я отдал тетушке Энни), и я бы мог все их положить к ее ногам, потому что так мне тогда хотелось, такое было чувство. Я чувствовал, что могу на все пойти, только бы узнать ее поближе, радовать ее и помогать, стать ее другом, чтобы открыто смотреть на нее, не шпионить. Ну вот, чтоб вы знали, как это со мной было, я взял конверт, положил туда деньги – у меня как раз было с собой пять фунтов, – написал: «Художественное училище Слейда, мисс Миранде Грей»... Только, конечно, не отправил. Отправил бы, если б мог увидеть выражение ее лица, когда она это получит.

Тогда вот у меня впервые и зародилась мечта, которую я осуществил. Сначала мне представилось, что вот на нее нападает какой-то человек, а я ее спасаю. Потом как-то так повернулось, что человек этот – я сам, только я не делаю ей больно, никакого вреда не причиняю. Ну вот, вроде я увез ее в уединенный дом и держал ее там, как пленницу, но по-хорошему, без всяких. Постепенно она узнала, какой я, полюбила, дальше уже мечта была про то, как мы поженились – и живем в хорошем современном доме, у нас дети и всякое такое.

Мысли эти стали меня просто преследовать. Я перестал спать по ночам, а днем прямо себя не помнил. Сидел в «Креморне», не выходя из номера. Это уже не было больше мечтой. Я воображал, что так оно все и должно произойти на самом деле (конечно, я думал, все это одно воображение, больше ничего), и вот стал придумывать, каким путем все это осуществить, как это все устроить, что надо для этого сделать и всякое такое. Думал, ведь я с ней так и не познакомлюсь никогда, если по-обыкновенному, но если она будет со мной и увидит все мои хорошие качества, она поймет. Всегда была эта мысль, что она поймет.

* * *

Что я еще стал делать, так это читать самые классные газеты. Еще – по той же причине – стал ходить в Национальную галерею и к Тейту. Мне там не больно нравилось, все равно как разглядывать витрины с иностранными экземплярами в энтомологическом зале Музея естественной истории: видно, что красивые, но ведь ты с ними незнаком, то есть, я хочу сказать, я ведь их не знаю так, как своих, английских. Но я все равно ходил, чтоб было о чем с ней говорить, чтоб не выглядеть невеждой.

В одной воскресной газете увидел объявление крупным шрифтом, в разделе «Продаются дома». Я не искал ничего такого, просто перелистывал страницы и наткнулся. Объявление было необыкновенное: «ВДАЛИ ОТ ШУМНОЙ ТОЛПЫ?», всего-навсего. А следом шло: «Старый сельский дом, очаровательное уединенное место, большой сад. 1 ч. езды от Лнд, 2 мили от ближ. поселка...» и т. д. В понедельник утром я уже катил туда посмотреть. Позвонил агенту по продаже недвижимости в Луисе и договорился, чтобы меня встретили. Купил карту Суссекса. С деньгами все можно, никаких проблем.

Я ожидал увидеть какую-нибудь развалюху. Дом и точно выглядел очень старым, белый с черными балками, крыша – старинная черепица. Стоял он совсем на отшибе. Я подъехал, и агент по недвижимости вышел меня встретить. Я-то думал, он будет постарше, а он был вроде меня, только из этих, из пижонов, весь набитый глупыми шутками, вовсе не смешными. Из кожи вон лез, чтоб показать, ему, мол, зазорно заниматься куплей-продажей, но дома продавать – не за прилавком торговать. Он меня своими расспросами сразу оттолкнул. Но я все-таки решил, раз уж я сюда добрался, лучше все как следует посмотреть. Комнаты мне показались не очень-то, но в доме были все современные удобства, электричество, телефон и всякое такое. Он раньше принадлежал какому-то отставному адмиралу или вроде того, а хозяин умер, и следующий владелец тоже неожиданно скончался, так что дом приходилось продавать по второму разу.

Повторяю, я поехал не за тем, чтобы выяснить, а не подойдет ли этот дом для того, чтоб там кто-то тайно жил. Я даже не могу сказать, о чем в самом деле думал, когда поехал его смотреть, какие намерения были.

Не знаю. То, что потом делаешь как-то заслоняет то, что раньше было.

А парень этот пристал ко мне, надо ему было знать, дом мне одному нужен или как. Я сказал – для тетки. Я правду сказал, сказал, будет ей сюрприз, когда из Австралии вернется, и всякое такое.

– А как насчет цены? – говорит.

А я как раз получил кучу денег, говорю, чтоб его добить.

Мы уже шли вниз по лестнице, когда он вдруг сказал самое главное. Я уж собирался отказаться, сказать, мол, маловат мне дом этот, не устраивает, ну, чтоб совсем его в порошок. Тут он и говорит:

– Ну вот, это все, еще только подвалы.

Чтоб спуститься в подвалы, надо было выйти из дома через черный ход. Парень этот достал из-под цветочного горшка ключ и открыл дверь – прямо рядом с черным ходом. Конечно, электричество было отключено, но у него нашелся фонарик. Вошли с солнца – так показалось мерзко, сыро, холодно. Каменные ступени вниз. Спустились, он стал водить лучом фонарика по стенам, полу, потолку. Когда-то стены белили, только очень давно. Побелка местами облупилась, стены казались пестрыми от грязных пятен.

– Под всем домом проходит, – сказал парень, – и еще вот это.

Повел фонариком, и я увидел в углу дверь, прямо против входа в подвал. За дверью – еще один подвал, четыре ступени вниз, глубже того, где мы стояли, и потолок пониже, и вроде сводчатый, такие бывают в подвальных помещениях церквей. Ступеньки шли как-то вбок, не прямо, так что это помещение вроде отходило куда-то в сторону от главного.

– Хоть оргии тут устраивай, прямо то, что надо, – говорит.

– А это для чего? – спрашиваю, мимо ушей пропускаю его дурацкую шутку.

Он объясняет, мол, видимо, из-за того, что дом на отшибе, надо было где-то хранить большие запасы продуктов. А может быть, здесь когда-то была тайная католическая молельня. Потом-то один электрик сказал, тут было убежище контрабандистов, когда они пробирались в Лондон из Нью-Хэйвена.

Ну, мы пошли наверх, вышли снова на солнце. Когда он запер дверь и спрятал ключ под цветочным горшком, показалось, вроде ничего этого не было и нет. Как в ином мире

побывал. И после все время было так. Проснусь – и будто все это мне приснилось, пока туда не спущусь.

Он взглянул на часы.

А я говорю, меня это заинтересовало. Очень. И так заволновался, что он удивленно на меня посмотрел, а я говорю, беру этот дом. Вот так вот, запросто. Сам себе удивляюсь. Потому что раньше я всегда мечтал о чем–нибудь очень современном, как теперь говорят, модерновом. Не о какой–нибудь древней развалюхе на отшибе.

Парень этот стоял как остолбенелый, так поражен был и что я дом хочу купить, и что так разволновался, а главное, думаю, тем, что у меня денег на это хватает. Все они так.

Он отправился назад в Луис, сказал, еще есть покупатели, он, мол, должен их привезти. А я сказал, останусь здесь, подожду в саду, подумаю, прежде чем окончательно решить.

Сад был очень неплохой, доходил до самого поля – тогда оно было засеяно люцерной, отличная вещь для бабочек. Поле это тянется прямо до подножия холма (это на севере). На востоке, по обеим сторонам дороги – лес, а дорога идет через долину вверх, к Луису. На западе – поля. Фермерский дом примерно в миле за холмом, это самое ближайшее жилье. На юг прекрасный вид открывается, если не принимать в расчет живую изгородь и деревья. Впрочем, их всего там несколько штук. И гараж хороший.

Вернулся к дому, достал из–под горшка ключ и снова спустился в подвал. Дальний, должно быть, уходит на три или четыре метра под землю. Сыро, стены влажные, холодные, ну, вроде как отсыревшее дерево зимой. Я не мог хорошо все рассмотреть, фонаря не было, только зажигалка. Мороз продирает по коже, и чувство такое, будто в склепе замурован, но я не суеверен.

* * *

Кто–нибудь скажет, мне крупно повезло, раз я с первого захода нашел то, что надо. Только я все равно нашел бы, рано или поздно. У меня же были деньги. И желание. Я бы даже сказал, воля. И, смешно сказать, то, что Крачли назвал бы «предприимчивость». Когда я работал в Ратуше, никакой предприимчивости у меня и в помине не было, просто все там было не по мне. А вот здорово бы посмотреть, как Крачли провернул бы то, что провернул я прошлым летом. Не собираюсь в фанфары трубить по этому поводу, только все было не так–то просто сделать.

Тут на днях мне попался в газете «Афоризм дня»: «Цель для ума – что вода для тела». По моему скромному разумению, это очень верно. Когда целью моей жизни стала Миранда, то и я оказался не хуже других.

* * *

Пришлось заплатить на пятьсот фунтов больше, нашлись конкуренты. Меня обдирали как липку все кому не лень. Землемер, строитель, декораторы, мебельщики из Луиса. А мне было все равно, чего там, не в деньгах счастье. Я получал длиннющие письма от тетушки Энни и отвечал, указывая суммы вполтину меньше, чем приходилось платить.

Договорился с электриками, что подведут кабель в подвал, с сантехниками – про воду и канализацию. Представил дело так, что хочу заняться фотографией и плотницким делом и там будут мои мастерские. И не врал, плотничать и правда надо было много. И я уже сделал несколько снимков, которые нельзя было проявлять у фотографа. Ничего такого, просто парочки.

В конце августа рабочие ушли, и я въехал. Ну, поначалу жил как во сне, правда, это скоро прошло. Во–первых, меня не оставляли в покое, а я этого никак не ожидал. Явился садовник – работать в саду, мол, он тут всегда работал. Отвратительно повел себя, когда я его выставил. Потом зашел деревенский священник, и мне пришлось ему нагрубить. Хочу, чтобы меня оставили в покое, заявил я, я нонконформист и не желаю иметь ничего общего с деревней и вашим приходом. Ну, он задрал нос, фу–ты ну–ты, мол, его оскорбили, и

отправился восвояси. Еще приезжали всякие люди с лавками на колесах, пришлось и их отвадить. Сказал, закупаю все сам в Луисе.

И телефонную линию отсоединил.

Потом завел обычай запираить ворота. Они были решетчатые, но с замком. Пару раз замечал, как торговцы заглядывают за решетку, но вскоре, видно, до всех дошло. Меня оставили в покое, и я мог заняться делом.

* * *

Пришлось потрудиться, не меньше месяца заняла у меня подготовка. Я же был совсем один, только сразу скажу, мне повезло, что нет настоящих друзей (не скажешь ведь, что те, в налоговом отделе, мне друзья. Я без них не скучал, они без меня и подавно).

Когда-то я всякую работу делал для тетушки Энни, дядя Дик меня научил. Неплохо плотничал и всякое такое. И комнату я здорово оборудовал, хоть вроде и получается, что хвастаюсь. Когда там все как следует просохло, я уложил на пол несколько слоев войлока с водонепроницаемой пропиткой, а сверху – очень красивый, яркий, апельсинового цвета (очень веселенький) ковер от стены до стены, стены были заново побелены. Поставил кровать, комод. Стол, стулья и всякое такое. Установил ширму, за ней – умывальник и походный туалет и все такое, получилось вроде как маленькая отдельная квартирка. Еще купил книжные полки, книги всякие по искусству, даже несколько романов, чтоб выглядело все уютно, по-домашнему. Так оно и получилось в конце концов. Я не рискнул покупать картины, понимал, у нее может быть более передовой вкус.

Главная проблема, конечно, была с дверьми и шумом. Дверная рама в ее комнату – прочная, дубовая, но без двери, пришлось самому дверь делать, так, чтоб без зазора, без щелочки. Ну и работка, скажу я вам, самая трудная из всего. Одну дверь сделал – она не подошла, зато вторая получилась неплохо. Даже здоровому мужчине выломать ее было бы не под силу, а уж ей, маленькой, и подавно. Хорошо выдержанное дерево, доски двухдюймовые, изнутри обил металлическим листом, чтоб до дерева не добраться. Дверь получилась чуть не в тонну, навесить ее тоже была проблема, но я и это смог. Снаружи приделал десятидюймовые засовы. И еще придумал очень умную вещь. Из старых досок соорудил вроде книжный шкаф, только для инструментов и всякого такого, и вставил его в нишу двери. Если мимоходом взглянуть, так и кажется, просто ниша в стене, в нише – деревянные полки, старые, а уберешь этот шкаф, и вот тебе, пожалуйста, – дверь. И еще: шкаф этот никакого шума из-за двери не пропускал. Сделал еще засов с внутренней стороны двери, ведущей в подвал из сада, замок там уже был, но я хотел, чтобы меня совсем никто не мог побеспокоить. И сигнализацию поставил от воров, простой ревул.

Ну а в первом подвале я что сделал, я там поставил электроплиту и всякое такое для кухни, я ведь не знал, вдруг кто будет подглядывать, не таскать же мне подносы с едой туда-сюда, это могло бы показаться странным. Ну, все же дверь эта была позади дома, и я не очень волновался, кругом-то поля да леса. Да еще забор высокий по обе стороны сада, а в других местах – живая изгородь, густая, тоже не больно много из-за нее углядишь. Все почти идеально. Я подумывал провести лестницу в подвал прямо изнутри, но оказалось очень дорого, и я не рискнул, чтоб не вызвать подозрений. Рабочим очень доверять тоже нельзя, все им надо знать, зачем да почему.

И все это время я не думал, что готовлюсь всерьез. Понимаю, это может показаться странным, но правда, так оно и было. В уме повторял: никогда такого не сделаю, только воображаю себе. И воображать бы не стал, если б не деньги и свободное время. Уверен, очень многие из тех, кто спокойненько живет себе да поживает, поступили бы так же, если б им, как мне, привалило. Я хочу сказать, дали бы себе волю, перестали бы притворяться и делали бы что хотят. Один учитель в школе любил повторять: «Власть развращает». А деньги – это власть.

Еще что сделал, купил кучу одежек для нее в Лондоне. Увидел в магазине продавщицу, как раз такого же размера, и назвал цвета, какие, я знал, Миранда всегда носила, да и купил все, что надо для девушки, все, что мне в магазине посоветовали.

Придумал, что, мол, моя подружка едет с Севера, а у нее по дороге все вещички украли, и я хочу сделать ей сюрприз, и всякое такое. Не думаю, что продавщица так уж и поверила, но ей было выгодно, покупка большая, почти на девяносто фунтов.

* * *

Про всякие предосторожности я сутками мог бы рассказывать. Например, отправлюсь в ее комнату и сижу там, представляю себе, что бы ей могло в голову прийти, как побег устроить. Думал, может, она понимает в электричестве – теперешние девчонки бог знает в чем разбираются, так что я всегда надевал ботинки на резине, старался приучить себя внимательно осматривать выключатели прежде, чем дотронуться до них. Установил специальный мусоросжигатель, чтобы сор из ее комнаты никуда не выносить. А если надо, и грязные вещи сжигать, чтоб никакой стирки, ничего. Всякое ведь могло случиться.

* * *

Ну, наконец я мог снова отправиться в Лондон, в «Креморн», где раньше останавливался. Несколько дней ее высматривал, но так и не встретил. Волновался ужасно, а все равно не собирался бросать это дело. Фотоаппарат я с собой не брал, понимал, риск очень большой, охота шла на крупную дичь, не просто за случайным снимком. Раза два заходил в то кафе. Как-то провел там чуть не два часа, делал вид, что книгу читаю. Она не появлялась. В голову стали лезть самые дикие мысли, мол, может, она умерла или бросила своим искусством заниматься. И вот однажды выхожу из вагона метро на Уоррен-стрит (я не хотел, чтоб мой фургон примелькался), смотрю – она, на другой платформе из поезда выходит. Все получилось очень просто. Пошел за ней следом, вышли на улицу, она направилась к училищу. Потом я стал поджидать ее у станции метро. Она, видно, не всегда возвращалась домой на метро, два дня я ее не видел. Но на третий, смотрю, переходит дорогу и – в метро. Так и выяснил, откуда она ездит. Из Хэмпстеда. На следующий день я ждал ее уже там, у метро в Хэмпстеде. Она вышла, я – за ней, минут десять шли маленькими улочками до ее дома, я прошел мимо, а она зашла в калитку. Ну, я посмотрел какой номер, а на углу – название улицы.

Хорошо в тот день потрудились, с результатом.

За три дня до того я выехал из «Креморна» и теперь каждый день переезжал в другую гостиницу, чтоб не наследить. В фургоне я приготовил кровать и ремни и несколько длинных шарфов. Собирался использовать хлороформ – я раньше уже пользовался им, чтобы усыплять бабочек. Знакомый парень из городской лаборатории, где анализы делают, мне когда-то дал. Знаю, хлороформ не стареет, не теряет силу, но решил добавить малость четыреххлористого углерода, чтоб наверняка. Его везде запросто можно купить. Я хорошо поездил по Хэмпстеду на своем фургоне, знал уже весь район как свои пять пальцев, где въехать, где свернуть, куда выехать, чтоб по-быстрому. Все подготовил. Так что теперь надо было только выследить, выждать момент и делать дело. Надо сказать, я в эти дни сам себя не узнавал: все рассчитал, все предусмотрел, будто этим всю жизнь занимался. Как какой-нибудь тайный агент или детектив.

* * *

Прошло дней десять, и наконец все и случилось, знаете, как бывает, когда охотишься за бабочками. Отправляешься в определенное место, знаешь, там водятся редкие экземпляры, ждешь, а их нет и нет, а потом – ты и искать уже перестал – смотришь: да вот она, на цветке прямо перед тобой, как говорится, подали на блюдечке с золотой каемочкой.

В тот вечер я стоял у станции метро в Хэмпстеде, фургон отвел подальше, в переулок. День был ясный, но душновато, а потом затянуло и стало погромыхать, пошел дождь. Я укрылся в дверях магазина против выхода и увидел: поднимается по ступенькам из тоннеля, а тут как хлынет. А на ней ни плаща, ни куртки, только свитерок. Забежала за угол, к главному входу, я туда, народу полно. Смотрю – она в телефонной будке. Потом вышла и вместо того, чтобы вверх, на холм пойти, как всегда, свернула

совсем на другую улицу. Я за ней, сам думаю – ну, все, ничего не выйдет, не могу понять, что у нее на уме. А она вдруг бегом в проулок и – в кино. Я сразу сообразил, в чем дело. Она, видно, позвонила хозяйке, что, мол, дождь сильный, переждет в кино, пока прояснится. Ну, и понял – вот тот самый момент, если только ее никто не будет встречать. Когда она в кино вошла, я пошел посмотреть, сколько сеанс продолжается, – два часа. Ну, тут я пошел на риск, видно надеялся, судьба вмешается и меня остановит: отправился в кафе и поужинал. Потом вернулся к машине и припарковался так, чтоб видеть выход из кино. Не знал, как будет и что, может, у нее свидание с приятелем или встреча с подругой. Знаете, меня вроде несло, как в бурном потоке, мог налететь на камни и разбиться, а мог и выплыть.

Она вышла точно через два часа, совершенно одна. Дождь почти перестал, стемнело, тем более небо было затянуто тучами. Вижу, пошла к своей улице, вверх по холму. Тогда я тронулся, обогнал ее и встал в одном месте, знал, она обязательно там пройдет. Там как раз ответвление, где ее улица начинается, везде кусты и деревья, а на противоположной стороне – огромный дом на заросшем участке. Кажется, нежилой. Выше по холму еще дома, довольно большие. Сначала–то она шла по ярко освещенным улицам. Так что это было единственное удобное место.

Я что сделал, вшил в карман плаща специальный мешочек из пластика, с клапаном, и там хранил тампон, пропитанный смесью хлороформа и четыреххлористого углерода. Клапан плотно закрывался, так что запаха не чувствовалось и тампон оставался все время влажным, а когда надо, я мог его вытащить в один момент.

Вдруг появились две старухи с зонтиками (снова начал капать дождь), пошли вроде прямо ко мне. Вот незадача, только этого мне не хватало, она–то вот–вот подойдет. Я уж было решил все бросить. Нагнулся низко к сиденью, и они прошли, языками трещали как трещотки, думаю, ни меня не видели, ни фургона. Да там везде машины припаркованы, так что ничего такого, из ряда вон. Прошла минута. Я вылез, открыл заднюю дверь. Все по плану. Смотрю, она уже близко. Чуть было не проглядел, идет быстро, всего в нескольких шагах от машины. Если бы вечер был посветлее, не знаю, что бы я сделал. А тут – темно, ветрено, деревья шумят. Кругом ни души. И она идет прямо ко мне. Забавно. Еще и напевает про себя.

Говорю, простите, пожалуйста, вы случайно не разбираетесь в собаках?

Останавливается, и так удивленно:

– А в чем дело?

Ужасно, говорю, только что сбил собаку. Выскочила прямо под колеса. Не знаю, как быть. Не сдохла, нет. А сам заглядываю в фургон сзади, вроде ужасно волнуюсь.

– Ой, бедняжка, – говорит. Подходит ко мне, точно как я рассчитывал, хочет поглядеть.

Крови нет, говорю, только не шевелится.

Ну, она обходит открытую дверцу, а я отстраняюсь, вроде чтобы ей видней. Она наклонилась вперед, вглядывается. Я окинул взглядом улицу – ни души, достал тампон, обхватил ее руками. Она – ни звука, так, видно, была поражена. Прижал тампон ей к лицу, закрыл рот и нос. Сам даже почувствовал запах. Прижимаю ее к себе, она бьется, как чертенок какой–нибудь. Только силенок маловато, она оказалась еще меньше, чем я думал, совсем худышка. Вдруг она как–то застонала, забулькала, ну, думаю, вот оно, начнет сопротивляться, придется сделать ей больно или бросить все и бежать. Готов был пуститься наутек. Оглянулся – никого. Тут вдруг она как–то обмякла. То я должен был ее держать, чтоб не билась, а тут пришлось поддерживать, чтобы не упала. Затолкал ее наполовину в фургон, рывком открыл переднюю дверцу и уже изнутри затащил ее в машину. Тихонько закрыл обе дверцы. Перекатил ее поближе и уложил на кровать. Моя. Я вдруг ужасно взволновался: смог, добился, чего хотел. Такое дело.

Перво–наперво заклеил ей пластырем рот, затем привязал ее ремнями к койке, без спешки, без паники, все по плану. Перебрался на водительское место. И минуты не

потратил. Поехал вверх по улице, медленно, не спеша, очень спокойно, завернул в лесопарк, я еще раньше там местечко наметил. Там опять перешел назад и привязал ее по-настоящему, не только ремни, но и шарфы пустил в ход и всякое такое, чтоб ей не больно было и чтоб не кричала, не билась в борта или еще что. Она еще не очнулась, но мне впереди было слышно, как она дышит, с хрипом, тяжело, как от простуды, так что я понимал – с ней все нормально.

* * *

У Редхилла я съехал с основного шоссе на боковую, все по плану, и перебрался назад, посмотреть, как она там. Включил фонарик, на самый слабый, чтоб только чуть видно ее лицо. Она уже проснулась. Глаза огромные, только страха в них нет, вроде даже гордость какая-то, вроде она решила, не стану бояться, ни за что.

Говорю ей, не бойтесь, ничего дурного я вам не сделаю. А она все смотрит.

Получалось как-то неловко. Я не знал, что сказать. Говорю, с вами все в порядке, ничего не нужно? Но это прозвучало смешно. На самом деле я хотел спросить, может, ей на двор нужно.

Она затрясла головой. Я понял, что ей пластырь мешает, причиняет боль или что.

Говорю ей, мы уже далеко за городом, нет смысла кричать, если закричите, заклею рот снова, понятно?

Она кивнула, я принялся распутывать шарф, отклеил пластырь. Только успел это сделать, она подняла голову, наклонила вбок и ее вырвало. Это было отвратительно, запах хлороформа и рвоты... ужасно. Она ничего не сказала. Только застонала. Я потерял голову, не знал, как быть, чувствовал, надо домой, скорее. Снова наклеил пластырь, замотал шарф. Она сопротивлялась. Я слышал, как под моей ладонью, под пластырем, она говорит «нет, нет», это было ужасно, но я пересилил себя, довел дело до конца, знал, это все к лучшему. Потом перебрался на переднее сиденье, и мы поехали.

Добрались до дома около половины одиннадцатого. Я заехал в гараж, вышел, огляделся, убедился, что тут ничего за время моего отсутствия не произошло; не то чтоб я в самом деле чего опасался, да только лучше лишний раз все проверить: каши маслом не испортишь – так дядя Дик всегда говорил. Спустился в ее комнату, все было нормально, не очень душно, я дверь оставлял открытой. Я как-то раз там даже ночевал, проверял, хватает ли воздуха. Хватает. Еще раньше все приготовил, чтоб чай можно было пить и всякое такое. В общем, было вполне уютно, по-домашнему.

Ну, наконец настал тот великий момент. Я вернулся в гараж, открыл заднюю дверцу фургона. Как и с начала операции, все шло по плану. Отвязал ремни, помог ей сесть на кровати. Ноги, конечно, не стал развязывать. Она опять стала биться, так что мне пришлось объяснить, мол, если так, опять пушу в ход хлороформ (показал ей пузырек), а если будет вести себя тихо, ничего плохого не сделаю. И все пошло как по маслу. Взял ее на руки, она совсем легонькая была, легче, чем я думал; снес ее вниз – без всяких; правда, в дверях своей комнаты она вдруг опять забилась, только что уж тут она могла – ничего. Положил ее на кровать. План был осуществлен.

Она была бледная, прямо белая совсем, синий свитерок запачкался (когда ее вырвало в машине), вид кошмарный, а страха в глазах нет. Странно. Просто смотрит на меня, глаза огромные. Ждет.

Я говорю, вот ваша комната. Если будете слушаться, никто вам ничего дурного не сделает. Кричать нет смысла, снаружи никто не услышит, да и нет никого вокруг. Я вас теперь оставляю; если захотите чаю или какао – там в буфете сэндвичи и печенье (я их в Хэмпстеде купил, когда она в кино пошла). Вернусь завтра утром, говорю.

Я видел, она хочет, чтоб я пластырь ей со рта отклеил, но делать этого не стал. Что я сделал, руки ей развязал и сейчас же вышел, дверь закрыл и засов успел задвинуть, пока она пыталась пластырь отодрать. Услышал, она кричит: «Вернитесь!» Потом еще раз, только потише. Потом дверь подергала, не очень сильно. Потом стала колотить в дверь чем-то твердым. Думаю, щеткой для волос. Не очень слышно было, но я все-таки вставил

в дверной проем тот шкаф фальшивый и убедился, что снаружи ничего не слышно. Около часа еще пробыл в наружном подвале. Нужды не было, просто на всякий случай. Ей нечем было дверь ломать, даже если б силенок хватало, чашки пластмассовые, чайник – из алюминия, даже ложки и те алюминиевые и всякое такое.

Потом пошел наверх и улегся. Наконец–то она у меня в гостях, а больше мне ничего не нужно. Долго лежал без сна, думал. Не вполне был уверен, что фургон не выследят, но таких на улицах сотни, а видели его только те две тетki с зонтиками.

Ну, лежал так и думал, она там внизу тоже не спит. Стал мечтать, как спущусь утром к ней, утешу, успокою. Я был возбужден и, может быть, даже кое–чего лишнего позволил в мечтах, но не стал волноваться из–за этого, я знал, что моя любовь к ней вполне ее достойна. С этой мыслью и заснул.

* * *

После она всегда твердила, как я плохо поступил и как я все это должен глубже осознать. А я могу только повторить: в тот вечер я был ужасно счастлив, вроде сделал великое дело, забрался на Эверест или подвиг совершил в тылу врага. У меня было такое счастливое чувство и намерения самые лучшие. Этого она так и не сумела понять никогда.

Короче говоря, тот вечер – самый счастливый в моей жизни (не считая, конечно, когда выиграл на скачках – с того ведь все и началось).

Вроде поймал большую синюю или адмирала. Знаете, вроде такое сделал, что раз в жизни бывает, а то и не бывает никогда; о чем только мечтаешь и не ждешь, что сбудется.

* * *

Зря заводил будильник, проснулся гораздо раньше. Спустился вниз, дверь подвала за собой запер. Все по плану. Постучал в ее дверь, крикнул, вставать пора, подождал десять минут, засов отодвинул и вошел. Сумочку ее принес. Содержимое, конечно, проверил. Ничего такого там не было, только пилочка для ногтей и точилка с бритвенным лезвием, это все я вынул.

Горел свет, она стояла у кресла. Одетая. И опять смотрит во все глаза, ни признака страха, прямо храбрый портняжка. Странно, она выглядела совсем не так, как я ее представлял себе. Ну, правда, я ее вблизи толком не видал.

Говорю, надеюсь, вы хорошо спали.

– Где я, кто вы, зачем меня сюда привезли? – произносит, холодно так, но без злости, без крика.

Этого я сказать вам не могу.

Она говорит:

– Я требую, чтобы меня выпустили. Это чудовищно.

Стоим и смотрим друг на друга.

– Отойдите, – говорит, – вы мне мешаете. Я ухожу. – И идет прямо ко мне, прямо к двери. Стою, не двигаюсь с места. На мгновение подумал, сейчас бросится на меня, но она, видно, поняла, это будет глупо. Я твердо решил не поддаваться, знал, ей со мной не сладить. Она остановилась прямо передо мной, вплотную.

– С дороги, – говорит.

Вам пока нельзя уйти, говорю, пожалуйста, не заставляйте меня снова применить силу.

Она так холодно, презрительно на меня посмотрела, отвернулась и говорит:

– Не знаю, за кого вы меня принимаете. Если вы полагаете, что я – дочь богатых родителей и они дадут за меня огромный выкуп, вы будете неприятно поражены.

Я знаю, кто вы, говорю, дело не в деньгах.

И больше ничего сказать не могу, волнуюсь ужасно, это же она, она тут, во плоти. Прямо дрожу весь. Хочу глядеть на нее, на ее лицо, волосы, фигурку, такую тоненькую, нежную, и не могу – так она на меня смотрит. И странная какая–то тишина.

Вдруг она говорит, и тон вроде обвиняющий:

– Вы думаете, я вас не узнала?

Чувствую, начинаю краснеть, и ничего с этим поделать не могу. Такое в мои планы не входило, и мысли не было, что она меня может узнать.

А она, медленно так:

– Вы – делопроизводитель из Городского совета.

Не понял, о чем вы, отвечаю.

– Вы только отрастили усы, – говорит.

Не могу понять, как она меня узнала. Может, думаю, видела где–нибудь в городе или из окон своего дома, я об этом и не подумал, в голове у меня все перемешалось, а она говорит:

– Ваш портрет был в местной газете.

Терпеть не могу, когда меня выводят на чистую воду, сам не знаю почему, и в таких случаях всегда пытаюсь оправдаться. То есть сочиняю какую–нибудь байку, чтоб все объяснить. Говорю, я только выполняю приказ.

– Приказ, – говорит, – чей?

Не могу сказать.

Она глаз с меня не сводит и держится подальше. Думаю, все–таки боится, что я на нее наброшусь.

– Чей приказ? – спрашивает снова.

А мне, как назло, ни одно имя в голову не приходит. И не знаю почему, вдруг вспоминаю – из тех, кого она могла знать, – имя управляющего отделением банка, где ее отец деньги держит. Я когда в банк заходил, несколько раз видел, как ее отец с управляющим разговаривает.

Приказ Синглтона, говорю.

Ее прямо как громом поразило, а я быстро–быстро продолжаю, что, мол, не должен был ей сообщать, он меня убьет, если узнает, и всякое такое.

– Мистера Синглтона? – переспрашивает, вроде не расслышала.

Он совсем не тот, за кого его принимают, говорю.

Она вдруг опускается на ручку кресла, вроде ноги подкосились, вроде это уже последняя капля.

– Вы хотите сказать, это мистер Синглтон приказал вам меня похитить?

Я кивнул.

– Но я дружу с его дочерью. Он – наш... Ох, просто безумие какое–то, – говорит.

Разве вы не помните девушку с Пенхэрст–Роуд?

– Какую девушку с Пенхэрст–Роуд?

Ту, что исчезла три года назад.

Это я придумал. В то утро мозги у меня шевелились как надо, по–быстрому. Так мне казалось.

– Может быть, я тогда уезжала в школу. А что с ней случилось?

Не знаю. Только это его рук дело.

– Что – его рук дело?

Не знаю. Не знаю, что с ней случилось. Но что бы это ни было, это его рук дело. О ней больше никто никогда не слышал.

Вдруг она говорит:

– У вас нет сигареты?

Ужасно все нескладно вышло. Я неловко вытащил из кармана пачку сигарет, зажигалку, подошел, отдал ей. Может, надо было предложить ей огня, но в тот момент это выглядело бы глупо.

Говорю ей, вы совсем ничего не ели.

Сигарету она держала очень аристократично, двумя пальцами, между указательным и средним. Свитер вычистила. Очень было душно.

Никакого внимания на мои слова. Странно. Я понял, она догадалась, что все вранье.

– Вы хотите сказать, что мистер Синглтон – сексуальный маньяк и похищает девушек, а вы ему помогаете?

Говорю, а что мне остается делать? Знаете, я стащил из банка деньги, должен сесть в тюрьму, если станет известно. Так что он меня как в петле держит.

А она смотрит во все глаза. Глаза огромные, ясные, интерес в них так и светится, вроде ей очень хочется выяснить все до конца. (Но не было в них такого, знаете, нахального любопытства.) – Вы ведь выиграли очень много денег, правда?

Тут я понял, что запутался. Опять почувствовал себя неловко, даже в жар бросило.

– Почему же вы не выплатили те деньги? Сколько выиграли – семьдесят тысяч? Неужели украли больше? А может, вам просто интересно ему помогать?

Я вам еще многого не могу сказать. Я целиком в его власти.

Она встала, руки в карманах юбки. Взглянула на себя в зеркало (конечно, металлическое, никакого стекла) – на этот раз на себя посмотрела, для разнообразия.

– Что он собирается со мной сделать?

Не знаю.

– А где он сам?

– Думаю, скоро приедет.

Помолчала немного. Потом вдруг выражение лица стало такое, вроде она о чем-то плохом подумала. Поверила вроде, что, может, я правду сказал.

– Ну конечно, – говорит, – видимо, это его дом в Суффолке.

Ну да, говорю, полагая, что умно ответил.

– Нет у него дома в Суффолке, – говорит она, да так это презрительно.

Вы можете и не знать, отвечаю. Не очень убедительно.

Она бы еще говорила, только я почувствовал, надо это прекратить, я и не подозревал, какая она сообразительная. Не как все нормальные люди.

Я пришел спросить, что вы хотите на завтрак, есть каша, яйца и всякое такое.

– Не хочу никакого завтрака, комната тесная, здесь ужасно. И что за наркоз вы мне дали?

Я не знал, что вас от него будет тошнить. Честное слово.

– Мистер Синглтон должен был вас предупредить.

Ясно было, она не поверила этой истории. Издевалась.

Я заторопился, говорю, чай или кофе, и она сказала, кофе, только если вы при мне первый выпьете. С этим я и ушел, вышел в наружный подвал. Прежде чем закрыл дверь, она мне:

– Вы зажигалку забыли.

У меня другая есть (на самом деле – нет).

– Спасибо, – говорит. Странно, она вроде готова была улыбнуться.

* * *

Я приготовил растворимый кофе и принес ей. Она внимательно следила, как я отпил из чашки, потом сама сделала несколько глотков. И все время задавала всякие вопросы... Нет, все время я чувствовал, что она может задать мне вопрос, неожиданно спросить что-нибудь и застать врасплох, поймать. Например, долго ли ей придется тут быть, почему я с ней хорошо обращаюсь и всякое такое. Я заготовил ответы, но знал, что они не очень-то убедительные, с ней было не так-то просто изображать и придумывать, чтоб поверила. Наконец говорю, сейчас пойду по магазинам, пусть подумает, что ей нужно. Сказал, куплю все, что ей нужно.

– Все? – спрашивает.

В пределах разумного, говорю.

– Это вам мистер Синглтон так приказал?

Нет, это будет все от меня лично.

– Мне нужно только, чтобы меня выпустили отсюда, – говорит. И все.

Больше не мог вытянуть из нее ни словечка. Ужасно. Вдруг замолчала, не желала говорить, так что мне пришлось оставить ее в покое.

* * *

И за обедом не желала разговаривать. Я приготовил все в наружном подвале и принес ей в комнату. Только она почти ничего не съела. Опять попыталась взять меня на пушку, и так это холодно со мной, прямо ледышка, ну да я и ухом не повел.

В тот вечер, после ужина, правда, она и тут почти не притронулась к еде, я пошел, сел у двери. Она курила, закрыв глаза, будто у нее от одного моего вида глаза устали.

– Я все время думаю... Про мистера Синглтона вы, конечно, сочинили. Я этому не верю. Во-первых, он просто не способен на такое, не тот человек. А если бы и был способен, то вам не стал бы поручать. И все эти фантастические приготовления... Нет, это не он.

Я молчал, глаз не мог поднять.

– Вам пришлось потрудиться, чтоб все это приготовить, вы о многом позаботились. Все эти одежды в шкафу. Книги по искусству. Я подсчитала, только одни книги обошлись вам в сорок три фунта. – Она словно говорила сама с собой. – Я – ваша пленница, но вам хочется, чтобы пленнице было хорошо. Так что здесь возможны два предположения: вы похитили меня ради выкупа, может быть, вы – гангстер.

Да нет, я же говорил вам.

– Вы знаете, кто я. И должны знать, что мой отец не богач, ничего похожего. Так что дело не в выкупе.

Жутко было слушать. Прямо сверхъестественно, как она все сообразила.

– Второе предположение – секс. Вы хотите со мной что-то сделать. – И внимательно так на меня смотрит.

Ясно было – это вопрос. Он мне прямо всю душу вывернул.

Вовсе нет. Я к вам со всем уважением. Я не из таких. Сказал это очень резко.

– Тогда вы сумасшедший. Хороший и добрый, но сумасшедший. – И отвернулась.

Потом:

– Вы ведь не станете отрицать, что сочинили все про мистера Синглтона?

Я хотел вам помягче все объяснить.

– Объяснить что? – спрашивает. – Насилие? Убийство?

Я этого не говорил, отвечаю. Как-то в разговорах с ней мне все время надо было защищаться. Раньше, в мечтах, все было наоборот.

– Зачем я здесь?

Вы – моя гостья.

– Ваша гостья?

Она поднялась с кресла, встала за спинкой, оперлась на нее, глаз с меня не сводит. Синий свитер она сняла, стоит, темное шерстяное платье, как школьная форма, и белая блузка под ним, пуговка у горла расстегнута. Волосы стянуты в косу. Лицо такое нежное. И храброе. И вот, сам не знаю отчего, вдруг представил, как она сидит у меня на коленях, тихо-тихо, и я так ласково провожу рукой по ее светлым шелковистым волосам, волосы рассыпались свободно, потом уже я видел, как она их распускала.

И вдруг я сказал, я люблю вас. С ума схожу.

Она говорит, таким странным, очень серьезным тоном:

– Я вижу. – И отвернулась.

Я знаю, это старомодно – признаваться в любви, я вовсе не собирался этого делать, во всяком случае не в этот момент. В мечтах всегда было так, что вот наступает такой день, мы смотрим друг другу в глаза, целуемся и ничего не говорим, только уж после всего. Один парень в армии, Нобби его звали, он все про женщин знал, так вот он говорил, нельзя никогда им говорить, что любишь. Даже если в самом деле любишь. Если уж надо сказать: «Я тебя люблю», то шутливым тоном, он говорил, вот тогда они будут за тобой бегать. Чтоб своего добиться, надо быть твердым. Глупо получилось. Я сто раз говорил

себе, что нельзя так, пусть это получится естественно, и у нее, и у меня – у обоих. Но когда она уже была тут, у меня голова кругом пошла, я и потом часто говорил не то, что хотел.

Конечно, я не все ей рассказал. Рассказал, как работал в Ратуше и смотрел на нее в окно, мечтал о ней; как она себя вела, какая у нее походка и как много она значила в моей жизни, и как выиграл деньги, и что знал, она и не взглянет никогда в мою сторону, хоть еще сто раз выиграй, и какой я одинокий. Когда я замолк, она сидела на кровати, разглядывала ковер на полу. Мы молчали довольно долго. Слышно было только, как бурчит вентилятор в наружном подвале.

Мне было неловко. Сидел весь красный.

– Вы полагаете, что, если станете держать меня здесь, как пленницу, я смогу полюбить вас?

Я хочу, чтобы вы меня получше узнали.

– Но ведь пока я здесь, вы останетесь для меня всего лишь похитителем. Это вы понимаете?

Я встал. Не хотел больше с ней оставаться.

– Постойте, – говорит и идет ко мне. – Я обещаю вам. Я понимаю. Честное слово. Отпустите меня. Я никому ничего не скажу, и ничего не случится.

Тут она впервые взглянула на меня по-доброму. Ее глаза говорили, доверься мне, поверь, – ну прямо как словами. Смотрит на меня снизу вверх, глаза вроде улыбаются, сама волнуется, чуть не дрожит.

– Вы же можете. Мы могли бы стать друзьями. Я бы помогла вам. – И смотрит снизу вверх, мне в глаза.

– Еще не поздно, – говорит.

Не могу передать, что я тогда чувствовал, просто больше не мог, должен был уйти; она причиняла мне такую боль. Закрыл дверь и ушел. Даже «спокойной ночи» не сказал.

* * *

Никто не поймет, все подумают, я просто добивался, чего все добиваются. Бывало, когда я смотрел на картинки в тех книгах, до ее появления в моем доме, я и сам так думал, а бывало, и сам не знал, чего хочу. Только когда она появилась, все стало по-другому, я уже не думал про те книги или как она будет позировать для снимков, такие вещи стали казаться мне отвратительными, я ведь знал, что они и ей отвратительны. В ней было что-то такое хорошее, что я и сам становился, не мог не стать, таким же хорошим, видно было, она ничего другого от меня и не ждет. Я хочу сказать, когда она в самом деле появилась, была тут, рядом, все остальное казалось таким дурным, противным. Она была другая, не такая, как те женщины, которых совсем не уважаешь и тебе все равно, что бы ты ни делал. Ее нельзя было не уважать. И надо было вести себя осторожно.

* * *

В ту ночь я почти не спал: меня просто поразило, как все вышло, что я ей рассказал так много всего в первый же день, и как ей удалось выставить меня дураком. Были минуты – мне хотелось сбежать вниз и отвезти ее назад в Лондон, как она просила. А потом уехать за границу. Но представил ее лицо и косичку, заплетенную неровно и как-то криво лежавшую на спине, и как она стоит, как движется по комнате, ее огромные ясные глаза и понял – не смогу ее отпустить.

После завтрака – на этот раз она съела немножко овсянки и выпила кофе – мы совсем ни о чем не говорили. Когда я пришел, она уже встала и оделась, и постель была застелена не так, как раньше, должно быть, в эту ночь она все-таки спала. Ну, когда я уже уходил, она говорит:

– Мне хотелось бы поговорить с вами.

Я остановился.

– Сядьте, – говорит.

Я сел на стул у ступеней.

– Послушайте, это же безумие. Если вы действительно любите меня, если вкладываете в слово «любить» его истинный смысл, вы просто не можете хотеть, чтобы я оставалась здесь пленницей. Вы же видите, мне здесь плохо. Воздух... ночью я не могу дышать, я просыпаюсь с головной болью. Я умру, если останусь здесь надолго.

Она была в самом деле огорчена и встревожена.

Обещаю, это будет не очень долго.

Она встала, подошла к комоду, смотрит на меня пристально.

– Как вас зовут? – спрашивает.

Клегг, говорю.

– Нет, как ваше имя?

Фердинанд.

Она быстро взглянула на меня, глаза такие умные.

– Это не правда, – говорит.

А у меня в пиджаке, в кармане, лежал бумажник с инициалами, тисненными золотом, я себе еще в Лондоне купил, показываю ей. Она же не знает, что «Ф» означает Фредерик. А мне всегда нравилось имя Фердинанд, даже еще до того, как увидел Миранду.

В нем слышится что-то благородное, заграничное. Дядюшка Дик меня иногда называл «лорд Фердинанд Клегг». В шутку. Маркиз де Жук, такой титул мне придумал.

Такое имя мне дали, говорю.

– Вас, видимо, называют Ферди, сокращенно, или Ферд?

Нет, всегда только Фердинанд.

– Послушайте, Фердинанд, я не знаю, что вы нашли во мне, почему полюбили. Может быть, и я могла бы полюбить вас. Но не здесь же. Я... – Кажется, она не знает, что сказать, это было совсем для нее необычно. – Я люблю мягких, добрых людей. Но я никак не смогла бы полюбить вас в этом подвале. Не только вас, никого другого. Никогда.

Я говорю, я ведь просто хочу узнать вас получше.

Она присела на край комода, внимательно следила, какое впечатление производят ее слова. В мою душу закралось подозрение. Я понял – это проверка.

– Кто же похищает людей, чтобы узнать их получше?

Я очень хочу узнать вас получше. В Лондоне у меня не было бы такой возможности. Я ведь не очень умный и всякое такое. Не вашего уровня. В гробу вы видали таких, как я, там, в вашем Лондоне.

– Это несправедливо. Я ведь не сноб. Я сама снобов терпеть не могу. Никогда не сужу по первому впечатлению.

Это я не про вас, говорю.

– Ненавижу снобизм, – говорит, прямо с яростью какой-то. У нее была манера некоторые слова с силой выговаривать, с нажимом.

– У меня в Лондоне есть друзья из – ну, как это говорится – из рабочих, то есть из семей рабочих. Мы просто не придаем этому значения.

Ну да, вроде Питера Кэйтсби, говорю. (Это тот парень со спортивной машиной.) – Питер? Да я его не видела уже целую вечность. Он просто богатый балбес и мещанин к тому же.

А я прямо как сейчас вижу: шикарный спортивный автомобиль и она туда садится. Не мог ей поверить.

– Наверное, про меня уже есть в газетах.

Не читал.

– Вас могут посадить надолго.

Стоит того, отвечаю, даже если пожизненно.

– Я обещаю, я клянусь вам, если вы меня отпустите, я никому не скажу. Я придумаю что-нибудь, как-нибудь всем объясню. Устрою так, что мы будем часто видеться, сколько вы захотите, в любое время, когда нет занятий, никто ничего не будет знать, только вы и я.

Не могу, отвечаю. Не теперь. Чувствовал себя, вроде я – какой-то жестокий деспот, так она умоляла.

– Если вы меня теперь отпустите, я смогу восхищаться вами. Думать, ведь я была целиком в его власти, но он великодушен и повел себя как истинный джентльмен.

Не могу, говорю. И не просите. Пожалуйста, не просите об этом.

– Я думаю, такого человека, как вы, интересно узнать поближе. – И сидит очень прямо на краю комода, смотрит пристально.

Мне надо идти, говорю. И бросился прочь, так заторопился, что запнулся о верхнюю ступеньку. Она спрыгнула с комода и стоит, смотрит вверх на меня, лицо такое странное.

– Ну, пожалуйста, – говорит. Мягко так, по-хорошему. Трудно было устоять.

Знаете, на что это все было похоже, вроде охотишься за бабочкой, за нужным экземпляром, а сачка у тебя нет, и приходится брать двумя пальцами, указательным и средним (а у меня это всегда здорово получалось), подходишь медленно-медленно сзади, и вот она у тебя в пальцах, и тут нужно зажать торакс, перекрыть дыхание, и она забьется, забьется... Это не так просто, как бывает, когда усыпляешь их в морилке с эфиром или еще чем. А с ней было в сто раз трудней – ее-то я не собирался убивать, вовсе этого не хотел.

Она часто распространялась о том, как презирает классовые барьеры, но меня так просто не проведешь. Людей выдает не то, что они говорят, а как говорят. Посмотреть только, как она себя ведет, и сразу видно, как воспитана, где выросла. Никакого жеманства, фу-ты ну-ты, как у других, в ней не было, но все равно все вылезало наружу. Стоило только мне сделать что не так или не так сказать, сразу саркастический тон, нетерпимость. Да перестаньте вы думать о классовых барьерах, скажет. Как богач советует бедняку перестать думать о деньгах.

Я на нее зла не держу, наверно, она говорила и делала то, что меня так возмущало, чтобы доказать – она вовсе не такая уж рафинированная. Только куда же денешься, от себя не уйдешь. Бывало, рассердится, вскинется и выдаст мне по первое число в самом их лучшем стиле.

Между нами всегда стоял классовый барьер.

<...>

Вопросы и задания:

- 1) Почему Фердинанд похитил Миранду? Укажите основные мотивы этого похищения, учитывая те конфликты интерпретаций (различные точки зрения на похищение), которые существуют в романе.
- 2) Становится ли жаль Фердинанда, когда мы узнаем его нелегкую биографию? Попробуйте осмыслить основания, по которым возможна жалость по отношению к Фердинанду, или ее отсутствие, учитывая известный Вам опыт этического знания и Ваш личный нравственный опыт.
- 3) В чем, как Вы полагаете, причина непонимания между Фердинандом и Мирандой? Почему не срабатывает план похитителя?



Джон Кутзее (9 февраля 1940 года) – южноафриканский писатель, критик, лингвист. Первый писатель, дважды удостоившийся Букеровской премии (в 1983 году за роман «Жизнь и время Михаэла К.» и в 1999 году за роман «Бесчестье»). Лауреат Нобелевской премии по литературе 2003 года.

В своем романе «Бесчестье» Джон Кутзее повествует о преподавателе университета, потерявшем работу и

репутацию из-за интрижки со студенткой. Автор подробно описывает жизнь главного героя после наступления бесчестия, касаясь проблемы расового неравенства в ЮАР и прав защиты животных. В финале романа высвечивается парадокс «нового милосердия» по отношению к животным, не распространяющегося на людей.

3. Кутзее Дж.М. Бесчестье. М: Эксмо–Пресс, 2009. 272 с.

<...>

В клинике он появляется как раз в тот миг, когда Бев Шоу покидает ее. Они обнимаются, неуверенно, точно чужие. И не скажешь, что не так давно они лежали нагие в объятиях друг дружки.

– Ты просто с визитом или вернулся, чтобы пожить здесь какое-то время? – спрашивает она.

– Вернулся, чтобы прожить здесь столько, сколько потребуется. Но не у Люси. У нас с ней что-то вроде несовместимости. Придется подыскивать комнату в городе.

– Мне очень жаль. Но что случилось?

– Между мной и Люси? Ничего, надеюсь. Ничего непоправимого. Проблема в людях, которые ее окружают. Когда к ним добавляюсь еще и я, нас становится слишком много. Слишком много людей в слишком малом пространстве. Вроде пауков в банке.

Его посещает образ из «Inferno»: гигантское Стигийское болото, в котором души варятся, точно грибы. «Vedi l'anime di color cui vinse l'ira» (О чем говорит это огромное одиночество? А я – кто я?). Души, одолеваемые гневом, вгрызающиеся одна в другую. Наказание, достойное преступления.

– Это ты о мальчике, который перебрался на жительство к Петрасу? Должна сказать, что мне он тоже не нравится. Но пока там Петрас, Люси ничего не грозит. Вероятно, настало время, Дэвид, когда тебе следует отступить и позволить Люси самой принимать решения. Женщины уживчивы. А она еще и молода. Да и к земле она живет ближе, чем ты. Чем любой из нас.

Люси уживчива? Что-то не заметил.

– Ты все повторяешь мне, чтобы я отступился, – говорит он. – Если бы я отступился в самом начале, что бы сейчас было с Люси?

Бев Шоу молчит. Возможно, в нем есть нечто такое, что способна, в отличие от него самого, разглядеть Бев Шоу. Животные доверяются ей – должен ли и он довериться тоже, позволить ей преподавать ему урок? Да, животные доверяются ей, и она пользуется этим доверием, чтобы их убивать. Какой урок преподает это нам?

– Если бы я отступился, – запинаясь, продолжает он, – и на ферме произошел бы еще какой-нибудь кошмар, как бы я смог жить дальше?

Бев пожимает плечами.

– Разве вопрос в этом, Дэвид? – тихо спрашивает она.

– Не знаю. Я больше не знаю, в чем вопрос. У меня такое впечатление, что между поколением Люси и моим пал некий занавес. А я даже не заметил, как это произошло.

Наступает долгое молчание.

– Как бы там ни было, – продолжает он, – у Люси я оставаться не могу и потому ищу комнату. Если услышишь, что кто-то в Грейамстауне сдает жилье, дай мне знать. А вообще-то я зашел сказать, что снова могу помогать в клинике.

– Это замечательно, – говорит Бев.

Он покупает у знакомого Бев пикап грузоподъемностью в полтонны, за который расплачивается чеком на тысячу рандов и еще одним, на семь тысяч рандов, датированным концом нынешнего месяца.

– Кого вы на нем возить-то будете? – спрашивает продавец.

– Животных. Собак.

– Тогда вам надо поставить сзади решетку, чтобы они не выпрыгивали. Я знаю человека, который ставит такие.

– Мои не повыпрыгивают.

Согласно документам, грузовичку уже двенадцать лет, однако звук у двигателя ровный. И к тому же, говорит он себе, от пикапа вовсе не требуется, чтобы он протянул целую вечность. Целую вечность никто тянуть не обязан.

Поместив объявление в «Грокоттс мэйл», он снимает комнату невдалеке от больницы. Отдает плату за месяц вперед, сообщает хозяйке, что его зовут Лоури и что он приехал в Грейамстаун для амбулаторного лечения. От чего ему предстоит лечиться, он не говорит, но знает – хозяйка думает, что от рака.

Деньги текут как вода. Ну и пусть их.

В туристском магазине он покупает кипяtilьник, маленькую газовую плитку, алюминиевый котелок. Поднимаясь с ними к себе, он сталкивается на лестнице с хозяйкой.

– Мы не разрешаем готовить в комнатах, мистер Лоури, – говорит хозяйка. – Упаси бог, пожар приключится.

Комната темная, душная, в ней слишком много мебели, матрас комковат. Ничего, привыкнется и с этим, как свыкся со всем остальным.

Кроме него, в доме только один жилец, школьный учитель в отставке. За завтраком они обмениваются приветствиями, но в остальное время не разговаривают. После завтрака он отправляется в клинику и проводит там весь день, каждый день, включая и воскресенья.

Клиника становится его домом в большей мере, чем пансион. Он устраивает себе на голом заднем дворе подобие гнездышка: стол, полученное от супругов Шоу старое кресло и пляжный зонт – на случай, если солнце чересчур разгуляется. Сюда же он притаскивает и газовую плитку, чтобы заваривать чай и разогревать консервы: спагетти с тефтелями, макрель с луком. Дважды в день он кормит животных, чистит их клетки, а иногда и разговаривает с ними; прочее время читает, или дремлет, или, когда остается совсем один, наигрывает на банджо музыку, сочиненную им для Терезы Гвиччиоли.

Такой и будет теперь его жизнь – пока не родится ребенок. Как-то утром он поднимает взгляд и видит лица трех мальчишек, разглядывающих его поверх бетонного забора. Он вылезает из кресла; собаки раздражаются лаем; мальчишки ссыпаются с забора и с восторженным гиканьем удирают. Будет им что порассказать дома о сумасшедшем пожилом мужике, который сидит в окружении собак и поет!

Да уж, мужик, ничего не скажешь. Как сможет он объяснить – им, их родителям, жителям района Д, – чем заслужили Тереза с ее любовником возвращение в этот мир?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В белой ночной сорочке стоит у окна спальни Тереза. Глаза ее закрыты. Самый темный час ночи. Она глубоко дышит, впивая шуршание ветра, взревы гигантских лягушек.

«*Che vuol dir*, – поет она голосом, ненамного более громким, чем шепот. – *Che vuol dir questa solitudine immensa? Ed io*, – поет она, – *che sono?*»

Молчание. *Solitudine immensa* не дает ответа. Даже трио в углу сидит тише мыши.

«Приди! – шепчет она. – Приди, молю тебя, Байрон!»

Она раскидывает руки, обнимая мрак, обнимая то, что несет ей мрак.

Тереза жаждет, чтобы он пришел вместе с ветром, чтобы он обволок ее, зарылся лицом в ложбинку между ее грудей. Или же чтобы он явился ей на заре, богом-солнцем восстав над горизонтом, облив ее теплом своего сиянья. Пусть придет когда захочет, но только придет. Сидя за столом на собачьем дворе, он вслушивается в спадающую по долгой дуге мольбу противостоящей мраку Терезы. Для нее это худшее время месяца, она изболелась, не способна сомкнуть глаз, вожделение изнурило ее. Она жаждет избавления – от боли, от летнего зноя, от виллы Гамба, от дурного нрава отца, от всего.

Тереза берет лежащую в кресле мандолину. Нянча ее, как дитя, она снова подходит к окну. Трень–брень, – произносит в ее руках инструмент, тихо, чтобы не разбудить отца. Брень–трень, – громко клекочет банджо – в Африке, на пустынном дворе.

«Чтоб было чем голову занять», – так он сказал Розалинде. Ложь. Опера больше не хобби, теперь уже нет. Она владеет им днем и ночью.

И все–таки, несмотря на несколько удачных мест, «Байрон в Италии», если сказать правду, топчется на месте. В опере нет действия, нет развития, это лишь растянутая, спотыкающаяся кантилена, изливаемая Терезой в пустынный воздух и время от времени перемежающаяся стонами и вздохами скрытого кулисами Байрона. Муж и соперница забыты, словно их и не было никогда. Лирический порыв в нем, быть может, и не угас, но после десятилетий, проведенных на голодном пайке, порыв этот способен выползть из своего укрытия лишь изможденным, чахлым, обезображенным. Ему не хватает музыкальных средств, не хватает запасов энергии, чтобы свести «Байрона в Италии» с унылого пути, по которому тот потащился с самого начала. Опера обратилась в нечто такое, что мог бы сочинить лунатик.

Он вздыхает. Как хорошо было бы с триумфом вернуться в общество автором небольшой эксцентричной камерной оперы. Но этого не случится. Ему надлежит держаться надежды более скромной: что из сумбура звуков внезапно взвьется единственная точная нота, равновеликая бессмертному вожделению. А что касается ее опознания, им пусть займутся ученые будущего, если в будущем еще сохранятся ученые. Ибо сам он, когда эта нота прозвучит, если она вообще прозвучит, ее не расслышит – он слишком много знает об искусстве и о приемах искусства, чтобы на это рассчитывать. Хотя неплохо было бы, если б Люси еще успела услышать пробное исполнение и стала бы думать о нем чуть лучше.

Бедная Тереза! Бедная измученная девочка! Он выманил ее из могилы, пообещав ей новую жизнь, – и подвел. Он надеется, что ей достанет сердечной доброты, чтобы простить его.

Среди сидящих по клеткам собак есть одна, к которой он особенно привязался. Это молодой кобелек с парализованной левой задней лапой, которую песик приволакивает. От рождения ли она такова, он не знает. Никто из посетителей не изъявляет желания взять его. Пробный срок песика почти уж истек, скоро ему предстоит свести знакомство с иглой.

По временам, усаживаясь читать или писать, он выпускает кобелька из клетки, позволяя бедолаге поскакать, смешно ковыляя, по двору или вздремнуть у его ног. Пес не «его» в каком бы то ни было смысле; он осмотрительно не стал давать ему кличку (впрочем, Бев зовет его Дрипут), тем не менее он ощущает исходящую от пса великодушную преданность. Он оказался избранным – без спросу, безо всяких условий; он знает – пес готов умереть за него.

Звуки банджо завораживают кобелька. Когда он перебирает струны, тот садится, наклоняет голову, слушает. Когда же он напевает тему Терезы и голос его от прилива чувств возвышается (гортань словно бы сдавливается, он ощущает биение крови в горле), пес причмокивает и, кажется, тоже вот–вот запоет – или завоет.

Осмелится ли он сделать это: вставить пса в оперу, позволить ему вознести между строфами брошенной Терезы собственные жалобы к небесам? Почему бы и нет? Разве в творении, которое никогда не будет исполнено, не дозволено все?

Субботними утрами он по договоренности с Люси приходит на Донкин–сквер, чтобы помочь ей в торговле. Потом они завтракают вдвоем.

Люси теперь движется медленно. Беременность ее не бросается в глаза, однако если *он* замечает признаки таковой, много ль пройдет времени, прежде чем остроглазые дочери Грейамстауна также заметят их?

– Как там дела у Петраса? – спрашивает он.

- Дом достроен, остались лишь потолки и водопровод. Они сейчас переезжают.
- А их отпрыск? Он ведь должен вот–вот появиться.
- На той неделе. Все рассчитано точно.
- Петрас больше не подкатывался к тебе ни с какими намеками?
- Намеками?
- Ну, насчет тебя. Насчет твоего места в его планах.
- Нет.

– Возможно, когда ребенок... – он делает еле приметный жест в сторону дочери, в сторону ее живота, – когда появится ребенок, все переменится. В конце концов, он будет здешним уроженцем. Уж этого–то никто отрицать не станет. Долгое молчание.

- Ты его уже любишь?

Хотя эти слова слетают с его собственных губ, они его удивляют.

– Ребенка? Нет. Да и как я могу? Но полюблю. Любовь подрастает – в этом на матушку–природу положиться можно. Я намереваюсь стать хорошей матерью, Дэвид. Хорошей матерью и хорошим человеком. Тебе тоже стоило бы попробовать стать им.

– Боюсь, для меня поздно. Я всего–навсего рецидивист, отбывающий срок. Но ты не сдавайся, двигайся к цели. Ты уже основательно приблизилась к ней.

«Хорошим человеком». Не худшее из решений, в смутные–то времена.

По безмолвному их уговору он на какое–то время перестал приезжать на ферму. И все же в один из будних дней он выезжает на кентонскую дорогу, оставляет грузовичок у поворота и проходит остаток пути пешком, не по дороге, но по вельду, срезая путь.

С вершины последнего холма открывается вид на ферму: изначальный, еще сохранивший внушительность облика дом, конюшни, новое жилище Петраса, старая насыпь, на которой различаются пятнышки – скорее всего, утки, а пятнышки покрупнее – это дикие гуси, навещающие Люси гости издалека.

На таком расстоянии цветники выглядят прямоугольниками слитных цветов: пурпура, сердолика, пепельной голубизны. Пора цветения. Пчелы, должно быть, на седьмом небе от счастья.

Петраса не видно, как и жены его, и живущего у них шакаленка. Зато видна Люси, которая возится с цветами, а начав спускаться по склону холма, он различает и бульдожиху – желтовато–коричневую заплатку на дорожке позади дочери.

Он доходит до изгороди, останавливается. Люси, к которой он подошел со спины, его пока не заметила. На ней выцветшее летнее платье, сапоги, широкая соломенная шляпа. Когда она наклоняется, что–то там подрезая, выдергивая или подвязывая, становится видна млечная в голубоватых прожилочках кожа и широкие, беззащитные сухожилия подколенных впадин – самой некрасивой части женского тела, наименее выразительной и потому, возможно, наиболее милой.

Люси распрямляется, потягивается, наклоняется снова. Полевые труды, крестьянские хлопоты, все это бессмертно. Его дочь понемногу становится крестьянкой.

Она все еще не замечает его присутствия. Что касается ее сторожевой собаки, та, по всему судя, дрыхнет.

Итак: некогда Люси была не более чем головастиком в теле матери, теперь же – вот она, женщина, основательно вросшая в жизнь, куда основательнее, чем это когда–либо удавалось ему. Если ей улыбнется удача, она проживет долго, гораздо дольше, чем он. Когда он умрет, дочь, если ей улыбнется удача, будет все еще здесь, среди цветов, будет предаваться привычным трудам. И из нее явится на свет новое существо, которое, если ему улыбнется удача, вырастет таким же основательным, таким же долголетним. Так она и станет длиться, линия жизни, в которой его доля, его вклад будет с неотвратимостью все уменьшаться и уменьшаться, пока о нем не забудут.

Дедушка. Иосиф. Ну кто бы подумал! Можно ли ожидать, что найдется смазливая девушка, которую удастся склонить к тому, чтобы она легла с дедушкой в постель?

Он негромко произносит имя дочери:

– Люси!

Люси не слышит.

Что оно влечет за собой, положение деда? Отец из него получился не самый удачный, даром что он старался поболее многих. Скорее всего, и дедом он окажется ниже среднего. Нет у него стариковских достоинств: невозмутимости, доброты, терпения. Но, возможно, эти достоинства приобретаются, как и другие: достоинство страсти, к примеру. Надо будет еще разок заглянуть в Виктора Гюго, поэта дедовства. Быть может, у него найдется чему поучиться.

Ветер стихает. Наступает мгновение полной тишины, хорошо бы оно продлилось навек: нежное солнце, послеполуденная безмятежность, пчелы, снующие среди цветов, а в центре картины – молодая женщина, *das ewig Weibliche* (Вечная женственность), в первой поре беременности, в соломенной шляпе. Сцена, будто созданная для Сарджента или Боннара. Ребята они городские, как и он, но даже горожанин способен распознать красоту, когда видит ее, даже у него может перехватить дыхание.

Правда состоит в том, что сколько он ни читал Вордсворта, особого вкуса к сельской жизни так и не приобрел. Да, собственно, и ни к чему иному, за вычетом смазливых девушек – и куда они его завели? Быть может, ему еще не поздно образовать свой вкус?

Он откашливается.

– Люси, – зовет он, на этот раз погромче. Чары разрушены. Люси выпрямляется, полуоборачивается, улыбается.

– Привет, – говорит она. – А я и не слыхала, как ты подошел.

Кэти, подняв голову, близоруко щурится в его сторону.

Он перелезает через изгородь. Кэти ковыляет к нему, обнюхивает туфли.

– А где грузовичок? – спрашивает Люси. Она разругалась от работы и, может быть, слегка загорела. Удивительно, но Люси снова пышет здоровьем.

– Оставил при дороге, решил пройтись.

– Зайдешь, выпьешь чаю?

Она предлагает ему чаю, как обычному гостю. И хорошо. Гостевание, гощение – новая отправная точка, новое начало.

Опять воскресенье. Он и Бев заняты очередным *Losung* (Развязка; высвобождение). Одну за другой он приносит кошек, потом собак: дряхлых, ослепших, охромелых, увечных, искалеченных, но также и молодых, здоровых – всех тех, кому приспели сроки. Одну за другой Бев гладит их, разговаривает с ними, утешает – и усыпляет их, а после стоит и смотрит, как он запечатывает останки в черный пластиковый саван.

Они с Бев молчат. Он уже научился – от нее – сосредоточивать все внимание на животном, которое они убивают, давая несчастному то, что он, не испытывая теперь неловкости, называет так, как и должно называть: любовь.

Завязав последний мешок, он оттаскивает его к двери. Двадцать три. Остался лишь молодой кобелек, любитель музыки, тот, который, дай ему хоть полшанса, уже приковылял бы вслед за товарищами в здание клиники, в хирургическую с ее цинковым столом, с еще стоящей в воздухе смесью густых запахов, включая и тот, с которым псу пока сталкиваться не приходилось, – запах конца, легкий, нестойкий запах отлетающей души.

Чего пес не сможет уразуметь («Даже за месяц, состоящий из одних воскресений!» – думает он), чего его нюх ему не расскажет, так это того, как можно войти в обычную с виду комнату и никогда из нее не выйти. Что-то в ней происходит, что-то несказуемое: здесь душу выдирают из тела, и на краткое время она повисает в воздухе, скручиваясь, искажаясь, а после ее затягивает в трубу – и все. Это выше его понимания – комната, являющаяся вовсе не комнатой, но дырой, сквозь которую ты вытекаешь вон из бытия.

«С каждым разом становится все тяжелее», – сказала однажды Бев. Тяжелее, да, но и легче тоже. Человеку свойственно привыкать к тому, что какие-то вещи становятся все

тяжелее; когда бывшее таким уж тяжелым, что дальше вроде и некуда, обретает еще большую тягость. Это его уже не дивит. Он может, если захочет, даровать молодому псу еще неделю жизни. Но все равно настанет время, никуда от него не денешься, когда придется привести пса к Бев Шоу в хирургическую (возможно, он принесет его на руках, возможно, сделает для него это) и гладить его, раздвигая волосы, чтобы игле было легче найти вену, и шептать ему на ухо, поддерживая пса в миг, в который тот, так ничего и не поняв, вытянет лапы; а после, когда отлетит душа, сложить эти лапы, и запихать пса в мешок, и на следующий день вкатить мешок в огонь и присмотреть, чтобы тот загорелся, сгорел. Он сделает все это для пса, когда настанет срок. Не так уж и много – меньше, чем немного: совсем ничего. Он пересекает хирургическую.

– Это был последний? – спрашивает Бев.

– Остался еще один.

Он открывает дверцу клетки.

– Пойдем, – говорит он, и наклоняется, и раскрывает объятия. Пес, виляя увечным задом, обнюхивает его лицо, облизывает щеки, губы, угли. Он не отстраняется. – Пойдем.

Неся кобелька на руках, как ягненка, он входит в хирургическую.

– Я думала, ты позволишь ему пожить еще неделю, – говорит Бев. – Решил поставить на нем крест?

– Да, решил поставить крест.

Вопросы и задания:

- 1) В чем заключаются смыслы бесчестия, о которых идет речь в романе?
- 2) Как главный герой переживает ситуацию бесчестья?
- 3) В чем главный герой романа находит смысл жизни?



Дэниел Киз (9 августа 1927 года – 15 июня 2014 года) – американский писатель и филолог.

В своем фантастическом романе «Цветы для Элджернона» Дэниел Киз повествует об умственно отсталом человеке по имени Чарли, которому выпадает возможность поучаствовать научном эксперименте по повышению уровня интеллекта.

В приведенном фрагменте Вы ознакомитесь с началом этой истории, узнаете, кто же такой Элджернон и какое он имеет отношение к главному герою, а так же сможете проследить начало эксперимента по повышению уровня интеллекта и его первые результаты.

4. Киз Д. Цветы для Элджернона / Дэниел Киз; [пер. с англ. С. Шарова]. – М.: Издательство «Э», 2016. – 384 с.

1 атчет 3 марта

Док Штраус сказал што я должен писать все што я думаю и помню и все што случаеца со мной с севодня. Я не знаю пачему но он гаварит што это важно штобы они могли увидеть што я падхажу им. Я надеюсь што падхажу им потому што мис Кинниан сказала они могут сделать меня умным. Я хочю быть умным. Меня завут Чярли Гордон я работаю в пикарне Доннера где мистер Доннер плотит мне 11 долларов в ниделю и дает хлеб или перожок когда я захочю. Мне 32 года и через месец у меня день рождения. Я

сказал доку Штраусу и профу Немуру што я не могу харашо писать но он сказал што это ничево и што я должен писать как гаварю и как пишу сачинения на уроках у мис Кинниан в колеже Бекмана для умствено атсталых куда я хажу 3 раза в ниделю по вечерам. Док Штраус гаварит пишы все што думаеш и што случаета с тобой но я уже не могу думать и по этому мне нечево писать так што я закончу на севодня... Искрине ваш Чярли Гордон.

2 атчет 4 марта

Севодня меня правиряли. Мне кажеца я не падайду им. У меня был перерыв и как они сказали я пошел к профу Немуру и ево секретарша сказала здравствуй и привела меня где на двери было на писано отдел психологии и был большой зал и много маленьких комнаток с только столом и стульями. И очень приятный челаовек был в одной ис комнаток и у него были белые листки на которых были пролиты чирнила. Он сказал садись Чярли устраивайся паудобней и успокойся. На нем был белый халат как у доктора но мне кажеца што он был не доктор потомушто он не сказал мне аткрой рот и скажы а. У него были только эти белые листки. Ево завут Барт. Я не помню ево фамилии потомушто плохо запаминаю. Я не знал што он будет делать и я крепко держался за стул как у зубново врача только Барт и не зубной врач но он сказал мне штоб я успокоился и я испугался потомушто когда так гаварят всегда бывает больно.

Барт сказал Чярли што ты видиш на этом листке. Я видел пролитые чирнила и очень испугался хотя заечья лапка была у меня в кармане потомушто когда я был маленький я всегда плохо учился и проливал чирнила. Я сказал Барту я вижу чирнила пролитые на белый листок. Барт сказал да и улыбнулся и мне стало харашо. Он переварачевал все листки и я гаварил ему кто то разлил на них черные и красные чирнила. Я думал это лехко но когда я встал штобы итти Барт сказал садись Чярли мы ещо не кончили. Мы ещо не все сделали с листками. Я не понел но я помнил што док Штраус сказал делай все што тебе скажут даже если не понемаеш потомушто это тест.

Я не очень харашо помню што гаварил Барт но помню што он хотел штобы я сказал што было в чирнилах. Я там ничево не видел но Барт сказал там картинки. Я не видел ни каких картинок. Я очень старался. Я держал листок блиско а патом далеко. Патом я сказал если я надену ачки я наверно увижу лутше я надеваю ачки в кино и когда сматрю тиливизир но я сказал можетбыть они дадут мне увидеть картинки в чирнилах. Я надел их и сказал дай пасматреть спорим я сичас их найду. Я очень старался но не нашол картинок а видел только чирнила. Я сказал Барту может мне нужны новые ачки. Он штото записал на бумаге и я испугался што не пройду тест. Я сказал ему это очень красивая картинка с прилесными точичками по краям но он пакачял галавой и я понел што это апять не то. Я спросил другие люди видют штонибуть в чирнилах и он сказал они вображают картинки в чирнильном петне. Он сказал што чирнила на картинках называюца чирнильное петно.

Барт очень приятный и гаварит медлено как мис Кинниан на уроке в класе куда я хажу учица читать для медлительных взрослых. Он обьеснил мне што это за тест. Он сказал люди видют разные штуки в чирнилах. Я сказал пакажы мне. Он не паказал а сказал ВОБРАЖАЙ што тут штото есть. Што это напаменает тебе и придумай штонибуть. Я закрыл глаза и придумал и сказал как пузырек с чирнилами выливаеца на белый лист. Тут у него сломался карандаш он встал и вышел.

Мне кажеца я не прошел этот тест.

3 атчет 5 марта

Док Штраус и проф Немур гаварят это ничево нащот чирнил на листках. Я сказал што это не я разлил чирнила и от куда я могу знать што там под ними. Они сказали можетбыть я им падайду. Я сказал доку Штраусу мис Кинниан ни когда не давала мне тестов а только чтение и письмо. Он сказал мис Кинниан сказала ему што я был ее лутший

ученик в коллеже Бекмана для умственно атсталых и я старался больше всех потомушто я хотел научица даже больше тех кто умнее меня.

Док Штраус спросил как случилось што ты сам пришел в школу Бекмана Чярли. Как ты узнал про нее. Я сказал я не помню. Проф Немур спросил пачему ты хотел учица читать и писать. Я сказал ему потомушто всю жизнь я хотел быть умным а не глупым и моя мама всегда гаварила старайся и учишь и мис Кинниан гаварит это но очень тяжело быть умным и даже когда я штонибудь выгучю в класе я много забываю.

Док Штраус штото записал на бумаге а проф Немур гаварил со мной очень сирьезно. Он сказал ты знаеш Чярли мы не уверены как этот кспиримент падействует на людей потомушто мы делали ево только на животных. Я сказал мис Кинниан сказала мне но мне все равно если будет больно потомушто я сильный и буду стараца.

Я хочю быть умным если они разрешат мне. Они сказали им нужно взять разрешение у моей семьи но мой дядя Герман каторый заботился об мене помер и я не помню про свою семью. Я не видел мою маму и моево папу и мою маленькую сестру Норму очень очень давно. Может они тоже померли. Док Штраус спросил где они жыли. Мне кажеца в бруклине. Он сказал может они найдут их.

Харашобы писать паменьше этих атчетов потомушто это занимает много времени и я ложусь спать позно и утром усталый. Джимпи наарал на меня потомушто я уронил полный поднос булочек каторый я нес к печи. Они испачкались и ему пришлось вытирать их а патом ставить в печ. Джимпи арет на меня все время но я ему панастающему нравлюсь потому што он мой друг. Если я стану умным вот будет ему серприс.

атчет 4

Севодня у меня был другой дурацкий тест на случай если я им падайду. Этоже самое место но другая маленькая комнатка. Леди каторая там была сказала мне ево название и я спросил как оно пишеца штобы записать в атчет. Тематический апперцептический тест. Я не знаю двух первых слов но я знаю што такое тест. Ево нужно сделать ато палучиш плохую атметку.

С начала я думал этот тест лехкий потомушто я видел картинки. Только на этот рас она не хотела штобы я гаварил што вижу я со всем запутался. Я сказал ей вчера Барт сказал што я должен сказать што я вижу в чирнилах. Она сказала этот тест другой. Ты должен придумать истории про людей в картинках.

Я сказал как я могу рассказывать про людей каторых не знаю. Она сказала а ты претворись а я сказал это будет вранье. Я ни когда больше не вру потомушто когда я был маленький я врал и меня за это били. У меня в бумажнике есть картинка меня и Нормы и дяди Германа каторый устроил меня в пикарню прежде чем помер.

Я сказал што могу расказат истории про них патамушто долго жыл с ними но леди и слышать про них не хотела. Она сказала што этот тест и другой для тово штобы палучить мою личность. Я смиялся. Я сказал как можно палучить эту штуку из листов на каторые пролили чирнила и фатографий людей каторых я не знаю. Она расердилась и забрала картинки. Мне напливать.

Мне кажеца я и этот тест не сделал.

Патом я рисовал ей картинки но я плохо рисую. Патом пришел Барт в белом халате ево зовут Барт Селдон. Он атвел меня в другое место на томже 4 итаже уневерсетета Бекмана каторое называеца лабалатория психалогии. Барт сказал психалогия азначает мозги а лабалатория азначает где они делают кспирименты. Я думал это жвачка но теперь мне кажеца это игры и загатки потомушто мы это делали.

Я не мог сделать галаваломку патамушто она была вся сломана и кусочки не лезли в дырки. Одна игра была бумага с разными линиими на одной старане было СТАРТ а на другой ФИНИШ. Барт сказал што эта игра называеца ЛАБЕРИНТ и я должен взять карандаш и итти от туда где СТАРТ туда где ФИНИШ и не пересекать линий.

Я не понел и мы испортили кучно бумаги. Тогда Барт сказал я покажу тебе коешто идем в кспириментальную лабалаторию может ты поймеш. Мы паднялись на 5 итаж в другую комнату где было много клеток и животных. Там были абизьяны и мышы. Там был чюдной запах как на старой памойке и много людей в белых халатах каторые играли с ними и я падумал што это магазин но они не были пахожы на пакупатилей. Барт вынул из клетки белую мыш и паказал мне. Барт сказал это Эджернон и он здорово разбираеца в лаберинте. Я сказал покажы мне как.

Он пустил Эджернона в большой ящик со стенками где было много изгибов и паваротов и СТАРТ и ФИНИШ как на бумаге и закрыл ево стеклом. Барт вынул часы и поднял дверь и сказал ну пашли Эджернон и мыш нюхнула 2 или 3 раза и пабежала. С начала она бежала прямо а когда увидила што не может бежать дальше вернулась от куда начала пасидела там шевила усами а патом пабежала в другую сторону. Это было пахоже на то што Барт хотел штобы я сделал с линиemi на бумаге. Я засмиялся потомушто я думал мыш не сделает этово. Но Эджернон бежал как надо потомушто прибежал где написано ФИНИШ и запищял. Барт сказал што это он радуеца што сделал все как надо.

Ну и хитрущя мыш сказал я.

Барт сказал хочеш пабегать на перегонки с Эджерноном. Я сказал конешно и он сказал што у нево есть другой лаберинт нарисованный на доске и с иликтрической палочкой как карандаш а лаберинт Эджернона он переделает и он будет как мой и мы будем делать одно и тоже.

Он переставил все стенки на столе у Эджернона они были разборные и приделал их подругому. Патом он поклял обратно стекло штобы он не мог прыгать через стенки прямо к ФИНИШУ. Патом он дал мне иликтрическую палочку и паказал как водить ей между линиemi и мне нельзя поднимать ее от доски пока мне не куда будет ее двигать или меня чютьчють не трехнет. Я старался не гледеть на нево и очень валнавался.

Когда он сказал пошел я не пошел патамушто не знал куда итти. Патом я услышел как Эджернон запищял из ящика и затопал как бутто уже бежал. Я двинул палочку но пошел не так потомушто застрял и меня трехнуло и я вернулся к СТАРТУ но каждый раз когда я шол другим путем я застревал и меня тресло. Это не больно я только чютьчють подпрыгивал а Барт сказал это паказывает што я пошел не верно. Я прошол половину доски и услышел как Эджернон пищит как бутто радуеца што выграл у меня.

Он выграл у меня еще 10 раз потомушто я не мог найти правельный путь к ФИНИШУ. Я не чувствовал себя плохо патамушто смотрел на Эджернона и понел как притти к ФИНИШУ даже если это очень долго.

Не знал я што мышы такие умные.

атчет 5. 6 марта

Они отыскали мою сестру Норму каторая живет с моей мамой в бруклине и она дала разрешение на апирацыю. Я так валнуюсь што едва могу записать все это. Но с начала проф Немур и док Штраус не много паспорили. Я сидел в кабинете у профа Немура когда вошли док Штраус и Барт Селдон. Проф Немур почемуто биспакоился нащот меня но док Штраус сказал я выглежу лутше всех ково они видели. Барт сказал мис Кинниан рикамендавала меня ис всех ково она учит в школе для умствено атсталых. Куда я хожу.

Док Штраус сказал што у меня есть то што очень харашо. Он сказал у меня есть мативацыя. Ни когда в жызни не знал што она у меня есть. Мне стало прятно когда он сказал што не у каждово у каво ки 68 есть такая штука. Я не знаю што это такое и от куда она взелась но он сказал што у Эджернона она тоже есть. У нево мативацыя от сыра каторый ложут ему в ящик. Но она не может быть только от этово патамушто я на этой неделе не ел сыра.

Проф Немур биспакоился што мой ки станет очень высоким а у меня он очень niskий и я от этово заболею. А док Штраус сказал профу Немуру штото чево я не понел пока они разгаваривали и я записал кое–какие слова в книшку а патом в атчет.

Он сказал Гарольд так зовут профа Немура я знаю што Чярли это не совсем то што вам хочеца для первово сверхинтелекта. Но многие люди с таким niskим развитием враждебны и не желают сатрудничать они тупые и апатитные и с ними трудно иметь дело. У Чярли харошый характер он заинтирисован и всегда рад услужить.

Тогда проф Немур сказал не забывайте он будет первым челавеком разум каторово будет улутшен хирурно. Док Штраус сказал вотимено. Где мы ещо найдем слабо умново с такой агромной мативацьею учица. Пасматрите как харашо он на учился читать и писать для своево уровня развития.

Я не понел всех слов они гаварали так быстро но кажеца док Штраус был за меня а проф Немур против. Барт сказал Алиса Кинниан сказала у нево желание учица. Он умалял нас. И это правда потому што я хочу стать умным. Док Штраус встал пахадил и сказал нам нужен имено Чярли. Барт кивнул. Проф Немур пачисал затылок потер нос и сказал может вы правы. Но нужно дать ему панять што не все может пройти гладко.

Когда он сказал это я так абрадавался и развалнавался што вскачил и пожал ему руку зато што он так добр ко мне. Кажеца он не много испугался когда я сделал это.

Он сказал Чярли мы работали над этим очень долго но только с животными на пример с Элджерноном. Мы уверены што для твоево здоровья нет апасности но про другое ничево пока сказать нельзя. Я хочу штобы ты понел што может ни чево не палучица и тогда вообще ни чево не случица. Или палучица только на время а патом будет ещо хуже. Ты панимаеш што это значит. Может нам придеца атаслать тебя в дом Уоррена.

Я сказал мне всеравно потомушто я ни чево не боюсь. Я очень сильный и всегда делаю только харошее и кроме тово у меня на щастье есть заечья лапка и я ни когда не разбил ни одново зеркала. Один раз я уранил тарелку но это не щитаеца.

Док Штраус сказал Чярли даже если ни чево не палучица ты всеравно делаеш агромный вклат в науку. Этот кспиримент много раз ставился на животных но ты будеш первым челавеком. Я сказал ему спасибо док вы не пажалеете што дали мне 2ой шанс как гаварит мис Кинниан. Чесное слово. После апирацьи я пастараюсь стать умным. Я очень пастараюсь.

атчет 6. март 8

Я боюсь. Много народу кто работает в колеже и в медшколе пришли пажелать мне щастья, Барт принес мне цветы он сказал што это от психическаво отдела. Он пажелал мне удачи. Надеюсь мне павезет. У меня есть заечья лапка щасливое пенни и подкова. Док Штраус сказал не быть таким суеверным Чярли. Это наука. Я не знаю што такое наука но они все гаварят это. Так што может она принесет мне удачу. Но я всеравно держу заечью лапку в одной руке и щасливое пенни в другой с дыркой в нем. В пенни. Я хотел взять с собой подкову но она очень тежолая и я аставил ее в куртке.

Джо Карп из пикарни принес мне шакаладный пирог от мистера Доннера и они надеюца што я скоро паправлюсь. В пикарне думают што я болею потомушто проф Немур сказал штобы я так гаварил и ничево про апирацью. Это секрет на случай если апирацья не получица. Потом ко мне пришла мис Кинниан и принесла мне журналы и она была нервная и испуганая. Она поправила цветы на столе и положила все ровно и акуратно. И она поправила мне подушку под головой. Я нравлюсь ей потомушто я очень стараюсь научица всему не как асталные в центре для взрослых которым на все плевать. Она хочет штобы я стал умным. Я знаю.

Потом проф Немур сказал што посетителей больше не будет и мне надо атдахнуть. Я спросил я побью Элджернона после апирацьи и он сказал можетбыть. Если апирацья пройдет как надо я пакажу этой мышы што я могу быть такимже умным и даже умнее.

Тогда я буду лутше читать и выгаваривать правельно слова и буду знать много много и буду пахожим на асталных. Вот все удивяца. Если апирацыя пройдет как надо и я стану умным можетбыть я найду своих папу маму и сестру и пакажу им. Как они удивяца когда увидят што я такойже умный как они и моя сестра.

Проф Немур гаварит што если все будет харашо то они будут делать умными и других людей. Может и во всем мире. И он сказал значит я сделаю штото великое для науки и буду знаменитым и мое имя напишут в книгах. Мне всеравно буду я знаменитым или нет. Я только хочю быть умным как другие и штобы у меня было много друзей которые будут меня любить. Севодня мне не дали ничево поесть.

Я не знаю нужноли это што бы стать умным и я хочю есть. Проф Немур отнял мой шакаладный пирог. Это не харашо. Док Штраус сказал он отдаст ево после апирацыи. Перед апирацией ничево нельзя есть. Даже сыра.

атчет 7. март 11

На апирации савсем не было больно. Док Штраус сделал ее пока я спал. Я не знаю как потомушто я не видел на моих глазах и галаве 3 дня была павяска и до севодня я не мог писать атчетов. Тощя сестра каторая следила как я пишу сказала што я пишу ОТЧЕТ не правельно и паказала мне как он пишеца. Нужно запомнить это. Я очень плохо помню как надо писать. Севодня с глаз сняли павяску и я смог написать отчет. Но на галаве еще астались павяски.

Я очень испугался когда они пришли и сказали што пора итти на апирацию. Меня заставили вылести из кровати и леч на другую кровать каторая на калесах и выкатили меня ис комнаты и по каридору до двери на каторой написано апирацыоная. Я был удевлен это была агромная комната с зелеными стенками и вокруг сидело много других докторов они слидили за апирацией. Не думал я што это будет как цырк.

Человек подошел к столу весь в белом и с белой тряпкой на лице как в картинах по телику и в резиновых перчатках и сказал спакойно Чярли это я док Штраус. Я сказал привет док я боюсь. Он сказал не надо бояца Чярли ты сичас уснеш. Я сказал што этово я и боюсь. Он пагладил меня по галаве и потом 2 человека в белых масках подошли и привезали мне руки и ноги так што я не мог двигаца и тут я савсем испугался и хотел заплакать но они надели мне на лицо резиновую штуку дышать и она страно пахла. Все время я слышал как док Штраус гаварит всем про апирацию и што он собираеца делать. Но я ничево не понел и думал можетбыть потом я стану умным и пойму о чом он гаварит. Я всдохнул и очень устал и с разу уснул.

Когда я проснулся я был с нова в своей кровати и было темно. Я ничево не видел но слышал как гаварят. Это были сестра и Барт и я сказал в чом дело включите свет и когда они собираюца апирировать. Они засмиялись и Барт сказал Чярли все уже сделано. А темно потомушто у тебя павяска на глазах.

Чюдно. Они сделали это пока я спал.

Барт приходит каждый день записать мою тимпиратуру и другие штуки про меня. Он сказал это научный метод. Нужно записать все все штобы потом сделать это с нова когда захатят. Не мне а другим каторые то же не умные.

По этому я должен писать эти отчеты. Барт сказал это чьясть кспиримента и они сделают фотографии с отчетов и будут их изучать и узнают што праисходит у меня в мозгу. Не знаю как они узнают это патамушто я читал их миллион рас и не знаю што у меня в мозгу а как они узнают.

Ну штош это наука и я пастараюсь стать умным как другие. Тогда они будут разгаваривать со мной и я смогу сидеть с ними и слушать как Джо Карп и Фрэнк и Джимпи когда они апсуждают всякие важные дела. Когда они работают они начинают гаварить про бога или про деньги каторые тратит призидент или про республиканцев и

димакратов. Они шумят будто хотят подраца тогда приходит мистер Доннер и кричит хватит чесать языки и давай работать. Я тоже хачю разгаваривать про это.

Если ты умный то у тебя много друзей с ними можно разгаваривать и ты ни когда не будеш один.

Проф Немур сказал штобы я больше писал в отчетах што случаеца со мной но ещо сказал нужно писать што я чувствую и про свое прошлое. Я сказал я не умею вспомянать и думать а он сказал ты папробуй.

Все время пока у меня были завязаны глаза я думал и вспомянал но ничево не случилось. Я не знаю про што думать. Можетбыть я спрашу ево и он скажет мне как думать когда я стал умным. Про што думают умные и што помнят. Интиресно.

12 марта

Оказываеца я не должен писать слово ОТЧЕТ на каждом новом листе после тово как проф Немур забирает старый. Нужно писать только число. Это атличная идея и эканомит время. Я могу вставать в кровати и сматреть в окно на траву и деревья. Тощюю сестру зовут Хильда и она очень добрая. Она приносит мне еду паправляет постель и гаварит што я очень храбрый што разрешил им делать апирацыю на галаве. Она сказала што не разрешила бы это за весь чай в китае. Я сказал што это не за чай а штобы стать умным. А она сказала может они не имели права делать тебя умным потомушто если бы господь хотел штобы я был умным он бы сделал так штобы я радился умным. А што гаварить про Адама и Еву про грех с деревом познания и про яблоко и про их изгнание. И может проф Немур и док Штраус играют с вещами которые лутше аставить в пакое.

Она очень тощая и когда разгаваривает ее лицо все краснеет. Она сказала мне нужно молица богу и просить у него прощения за то што со мной сделали. Но я не ел яблоков и не грешил а теперь я боюсь. Может я зря разрешил им апирировать мои мозги если она гаварит што это против бога. Не хочю гневать господа.

13 марта

Севодня у меня другая сестра. Она очень красивая ее зовут Люсиль и она показала мне как писать ее имя в отчетах и у нее желтые волосы и голубые глаза. Я спросил где Хильда и она сказала в радильном атделении где она может трепать языком сколько угодно. Когда я спросил ее што такое радильное атделение она сказала што там раждаюца маленькие детки а когда я спросил ее как они палучяюца она па краснела как Хильда и сказала мне нужно померить у когото тимпиратуру. Никто не рассказывал мне про маленьких деток. Может если я стану умным то узнаю. Севодня приходила мис Кинниан и сказала Чярли ты чюдесно выглядиш. Я сказал што чувствую себя здорово но ещо не стал умным. Я думал мне после апирацыи снимут павяску с глаз и я стану умным и буду знать много всево и смогу читать и разгаваривать про разные вещи как другие.

Она сказала это не так Чярли. Это приходит не с разу и нужно потрудица штобы стать умным. Я не знал этово. Если нужно трудица то зачем тогда апирацыя. Она сказала она не уверена но апирацыя должна сделать мне так што если я буду трудица штобы стать умным я буду все помнить а раньше я ничево не помнил.

Я сказал ей што это не очень харашо потомушто я думал я стану умным с разу и смогу вернуца и показать парням какой я умный и пагаварить с ними и может я стану памошником пекаря. Патом я хочю найти маму и папу. Они удивяца какой я умный мама всегда хотела штобы я был умный. Может они не прагонят меня если увидют какой я умный. Я сказал мис Кинниан я очень очень пастараюсь. Она пагладила меня по галаве и сказала я верю в тебя Чярли.

отчет 8

15 марта

Меня выписали из госпиталя но на работу я еще не хожу. Ничего не случается. Я прошел кучу тестов и миллион гонок с Эджерноном. Не ненавижу этого мыша он всегда выигрывает. Проф Немур сказал я должен править и саривнаваца с нова и с нова. Эти лабиринты дурацкие. И картинки тоже дурацкие. Мне нравится смотреть на картинки на которых мужчины и женщины но я не буду выдумывать не правду про людей.

У меня болит голова потому что я стараюсь много думать и запоминать. Док Штраус обещал помочь но не помогает. Он не говорит про что мне думать и когда я стану умным. Он только заставляет меня ложиться на кушетку и говорить.

Мис Кинниан тоже приходит навестить меня в коллеже. Я сказал ей что ничего не случается. Когда я стану умным. Она сказала Чарли ты должен быть тирпиливым для этого нужно время. Это случится так медленно ты и не заметишь. Она сказала мне что Барт сказал ей что мои дела идут хорошо. Я все равно думаю эти тесты и гонки дурацкие и думаю отчеты тоже дурацкие.

16 марта

Я съел ланч в месте с Бартом в столовой коллежа. У них есть всякая хорошая еда и я не плачу за нее ни цента. Мне нравится сидеть и смотреть на студентов и студенток. Иногда они смеются но в основном разговаривают о том о чем и в пикарне Доннера. Барт сказал это про искусство политику и религию. Я не знаю что это такое но знаю что религия это бог. Мама рассказала мне про него и про то как он сделал мир. Она говорила я должен всегда любить бога и молиться ему. Я не помню молитв но думаю когда я был маленьким мама часто заставляла меня молиться ему чтобы он сделал меня здоровым а небольшим. Я думаю что это как раз что я не был умный.

Барт сказал если эксперимент пройдет как надо я смогу понять все про что разговаривают студенты я спросил думаешь я буду такой же умный он засмеялся и сказал что эти ребята не такие уж умники ты обойдешь их как будто они стоят на месте.

Он познакомил меня с некоторыми из них и они глядели на меня как то странно будто я чужой. Я почти забыл и стал рассказывать им что я буду скоро такой же умный как они но Барт прервал меня и сказал им что я уборщик в лаборатории. Потом он объяснил что моя апирация секрет. Я не совсем понимаю почему это секрет. Барт сказал это на случай если ничего не получится то проф Немур не хочет чтобы над ним смеялись особенно люди из фонда Уэлберга которые дали ему деньги для проекта. Я сказал мне все равно если люди будут смеяться надо мной. Много людей смеется надо мной но они мои друзья и нам весело. Барт похлопал мне руку на плечо и сказал Немур не о тебе беспокоиться.

Мне кажется что люди не будут смеяться над профом Немуром потому что он ученый в коллеже но Барт сказал что для других ученых и дипломников ученые тоже люди. Барт сам дипломник и его специальность ПСИХОЛОГИЯ как на двери в лабораторию.

Скоро бы стать умным потому что я хочу узнать все что есть в мире как эти ребята из коллежа. Про искусство политику и бога.

17 марта

Утром когда я проснулся мне показалось что я уже умный но я ошибся. Каждое утро я так думаю и все время ошибаюсь. Может эксперимент не получился. Может я совсем не стану умным и буду жить в доме Уоррена. Ненавижу тесты ненавижу лабиринты и ненавижу Эджернона. Ни когда не знал что я глупее мыша. Я не хочу больше писать отчеты. Я все забываю и даже когда я записываю что-то в книжку то потом не всегда

могу прочитать и мне очень плохо. Мис Кинниан сказала Чярли будь тирпиливым но я устал и мне плохо. У меня все время болит галава. Я хочу абратно в пикарню и не хочу писать ни каких отчетов.

20 марта

Я вазвращаюсь работать в пикарню. Док Штраус сказал профу Немуру так будет лутше но все равно мне ни кому нельзя гаварить про апирацыю зачем она была и я должен приходиться каждый вечер после работы на 2 часа в лабалаторию делать тесты и писать дурацкие отчеты. Они будут каждую неделю платить мне как за работу потомушто так сказали люди из фонда Уэлберга когда давали им деньги. Я досих пор не знаю што такое Уэлберг. Мис Кинниан объясняла мне но я не понел. Если я не стал умным то почиму мне плотют деньги. Но если они б удут платить то я буду ходить. Очень трудно писать.

Я рад што вазвращаюсь на зад потомушто я люблю свою работу в пикарне и своих друзей и как нам бывает весело. Док Штраус сказал я должен носить в кармане записную книшку на случай если я штонибудь вспомню. И я не должен песать отчеты каждый день а только когда я думаю про штонибудь или случяеца штото не обычное. Я сказал со мной не случяеца ничево не обычново и кспиримент то же не случился. Он сказал не падай духом Чярли для этово нужно время и ты сам не срразу заметиш. Он обьеснил как это занело много времени у Элджернона пока он стал в 3 раза умнее.

Значит Элджернон все время абганяет меня в лаберинте потомушто ему сделали такуюже апирацыю. Он спицыальная мыш и первое животное которое так долго астаеца умным после апирацыи. Не знал што он спицыальный мыш. Это другое дело. На верно я смогу абганять в лаберинте простого мыша. Может потом я абганю и Элджернона. Вот это будет да. Док Штраус сказал пахоже Элджернон астанеца умным на всегда и это хароший признак потомушто нам обоим сделали одну и ту же апирацыю.

21 марта

Севодня нам в пикарне было очень весело. Джо Карп сказал эй пасматрите где Чярли делали апирацыю што они сделали Чярли влажили тебе мозги в заднее место. Я хотел сказать што буду умным но вспомнил што проф Немур сказал што не надо. Потом Фрэнк Рэйли сказал Чярли ты открыл дверь не тем местом. Я засмиялся. Они все мои друзья и любят меня по настоящиму.

Работы много. Без меня не кому было убираца в пикарне потомушто это моя работа но у них новый парень Эрни который разносит хлеб а я это всегда делал. Мистер Доннер сказал он решыл пока не выганяет ево штобы дать мне атдахнуть и не работать слишком много. Я сказал ему со мной все в порятке и я могу и разносить и убирать как всегда но мистер Доннер сказал парень остаеца.

Я сказал а што мне делать. А мистер Доннер пахлопал меня по плечю и спросил Чярли сколько тебе лет. Я сказал 32 а в день рождения будет 33. А давно ты здесь спросил он. Я сказал не знаю. Он сказал ты пришол сюда 17 лет на зад. Твой дядя Герман боже упакой ево душу был мой лутший друг. Он привел тебя сюда и папрасил меня разрешить тебе работать здесь и присмотреть за тобой. А когда он через 2 года помер и твоя мать атдала тебя в дом Уоррена я заставил их разрешить тебе работать у меня. 17 лет Чярли и я хочу штобы ты знал што хотя пикарное дело и не приносит большого дахода я всегда гаварил у тебя будет здесь работа до конца твоей жызни.

Такшто не беспакойся што кто то займет твое место. Тебе ни когда не придеца вазвращаца в дом Уоррена.

Я и не беспакуюсь только за чем ему нужен Эрни если я могу и разносить и убирать. Я всегда делал это харашо. Он сказал парню нужны деньги Чярли и он будет учеником а потом станет пекарем. Ты будеш ево памошником и памагать ему когда надо.

Ни когда я не был памошником. Эрни умный но другие почему то не очень любят ево. Они любят меня они мои друзья и мы шутим и смиемся в месте.

Иногда ктото гаварит эй сматри Фрэнк или Джо или даже Джимпи он пахож на Чярли Гордона. Я не знаю почему они так гаварят но они всегда смуюца и я тоже смуюсь. Утром Джимпи он старый и он храмой назвал мое имя когда он арал на Эрни потомушто Эрни потирял праздничный пирог. Он сказал Эрни чортвозьми ты притваряешся Чярли Гордоном. Не знаю за чем он так сказал. Я ни когда не терял пасылок.

Я спросил мистера Доннера могули я научица штобы быть учиником как Эрни. Я сказал што смогу научица если он даст мне шанс.

Мистер Доннер долго и чюдно сматрел на меня я думаю потомушто я всегда молчу. Фрэнк услышал это и хахатал пока мистер Доннер не сказал заткнись и ступай к печи. Патом он сказал для этово нужно много времени Чярли. Работа пекаря очень важная и трудная и не нужно пока думать про это Чярли. Я очень хочю расказат ему и другим про настоящую апирацыю. Я хочю штобы все палучилось и я стал умным как другие.

24 марта

Проф Немур и док Штраус прихадили ко мне в комнату штобы узнать почиму я не пришол в лабалаторию. Я сказал я не хочю бегать на перегонки с Элджерноном. Проф Немур сказал не хочеш не надо но притти нужно. Он принес мне подарок только это не подарок а на время. Он сказал это обучающяя машина и работает как теливизор. Она гаварит и паказывает картинки и я должен включать ее как ложусь спать. Я сказал ты шутиш за чем включать теливизор когда я ложусь спать. Но проф Немур сказал што если я хочю стать умным то нужно делать как он гаварит. А я сказал ему я думаю я ни когда не стану умным.

Тогда док Штраус подошол положил мне руку на плече и сказал Чярли ты сам этово не знаеш но ты становися все умнее и умнее. Ты не замечаеш этово как не замечаеш как движеца часовая стрелка на часах. В тебе идут изминения. Они идут очень медлено. Но мы замечаем их по твоим тестам и как ты гавариш и по твоим отчетам. Мы не уверены на савсем ли это но мы уверены што скоро ты станеш в полне интилигентным молодым человеком.

Я сказал ладно и проф Немур паказал мне как включать этот не теливизор. Я спросил а што он делает. Он с нова нахмурился потомушто я прошу обьеснить. Но док Штраус сказал што нужно расказат мне потому што я уже перестал верить всему што мне скажут. У профа Немура был такой вид бутго он хочет аткусить себе язык. Потом он медлено обьеснил мне што эта машына изминяет мой мозг. Она будет учить меня когда я хочю спать и не много когда я почти усну. Я буду слышать реч но не буду видить картинок. По ночам она будет снить мне сны и заставлять вспомянать как я был совсем маленьким.

Страшно.

Вот што я забыл. Я спросил профа Немура когда я смогу пойти к мис Кинниан в школу для взрослых и он сказал скоро мис Кинниан сама придет в колеж штобы учить меня спицыально. Это хорошо. Я ретко видел ее после апирацыи а она очень добрая.

Этот дурацкий теливизер всю ноч не давал мне спать. Как можно уснуть когда ктото арет всякие глупости прямо в ухо всю ноч. А эти сумашедшие картинки. Ох. Я не панимаю што он гаварит когда я не сплю так от куда я могу знать што он гаварит когда я сплю.

Я спросил про это Барта а он сказал все идет нармально. Он сказал мои мозги учяца когда я сплю и это поможет мне когда мис Кинниан начнет со мной занимаца в лабалатории. Это не больница для жывотных как я думал. Это лабалатория для науки. Я не знаю што такое наука но я знаю што памагаю ей этим кспириментом.

Всеравно мне кажеца этот теливизер дурацкий. Если можно стать умным когда спиш то за чем люди ходют в школу. В ряд ли эта штука мне паможет. Я чясто смотрел позние передачи по настоящему теливизеру и не стал от этово умным. Может не от всех передач умнееш.

26 марта

Как я буду работать днем если эта штука не давала мне спать всю ноч. Я проснулся по среди ночи и не мог уснуть потомушто он все время твердил вспаминай вспаминай. Мне кажеца я штото вспомнил. Не помню точно но это нашот мис Кинниан и школы где я учился читать. И как я попал туда.

Давно давно я спросил Джо Карпа как он научился читать и нельзя ли мне тоже научица. Он захахатал как он всегда делает когда я скажу штонибудь виселое и сказал Чярли за чем зря терять время нельзя вставить мозги туда где их нет. Но Фанни Бирден услышыла меня и спросила своево брата каторый студент в колеже и сказала мне про школу для атсталых взрослых при колеже Бекмана. Она написала мне это на бумашке а Фрэнк смиялся и сказал смотри не стань таким абразованным што не захочеш видить старых друзей. Я сказал не бойся я не брошу старых друзей даже если научюсь читать и писать. Он засмиялся и Джо Карп тоже но пришол Джимпи и сказал пора ставить булочки. Они все любят меня.

После работы я прошол 6 кварталов до школы и мне было не много страшно. Я очень хотел научица читать и купил газету штобы прочитат ее с разу как научюсь.

Когда я пришол туда это был большой зал и там было много народу. Я испугался што скажу кому ни будь што ни быть не то и хотел уйти но потом астался. Я ждал пока почти все ушли кроме не которых и я спросил у одной леди можно мне научица читать потомушто я хочю прочитат все в газете и паказал ее ей. Это была мис Кинниан но тогда я этово не знал. Она сказала если ты придеши завтра и запишешся я начну учить тебя как читать. Но ты должен понять што на это нужно много времени может годы научица читать. Я сказал я не знал этово но всеравно хочю потомушто я чясто притваряюсь што умею читать но это не правда и хочю научица. Она пожала мне руку и сказала рада пазнакомица с вами мистер Гордон. Я буду вашей учительницей. Меня завут мис Кинниан. Вот так я пошол в школу и вот так я встретил мис Кинниан.

Думать и вспомянать очень трудно и я плохо сплю. Теливизер арет с лишком громко.

27 марта

Теперь когда мне сняца сны и я вспомянаю всякие случаи проф Немур сказал мне нужно ходить на тирапивтические сиансы с доком Штраусом. Он сказал тирапивтические сиансы это когда тебе плохо и ты разгавариваеш и тебе становица лутше. Я сказал ему мне не плохо я и так болтаю целый день так за чем ходить на тирапию но он расирдился и сказал всеравно ходи. На тирапии я лег на кушетку док Штраус сел рядом и сказал Чярли гавари што хочеш. Я долго молчал потомушто ни чево не мог придумать. Потом я рассказал ему про пикарню и што там делают. Мне кажеца глупо ходить в ево кабинет и ложица ведь я пишу отчеты и он может их читать. Так што севодня я принес ему отчет и сказал может ты пачитаеш ево а я не много посплю на кушетке.

Я был сильно уставшы этот прахлятый теливизер не давал мне спать но он сказал нет так не пойдет. Нужно гаварить. Я начал но всеравно уснул прям по середине.

28 марта

У меня болит галава. На этот раз не от телевизера. Док Штраус показал как уменьшить в нем звук штобы я мог спать. Не сколько раз я слушал все это утром штобы узнать чему я научился пока спал. Я даже не понял все слова. Может это другой язык или еще што. Хотя больше это похоже на амириканский. Но он гаварит очень быстро.

Я спросил дока Штрауса чево харошево если я буду умным во сне ведь я хочю быть умным днем. Он сказал это одно и то же и у меня два мозга. Есть СОЗНАНИЕ и ПОДСОЗНАНИЕ так они пишуца и одно не гаварит другому што оно делает. Они не разгаваривают друг с другом. Поэтому мне сняца сны. И боже какие же мне сняца сумашетшие сны. Ох. Все от этово телевизера.

Забыл спросить у дока Штрауса это только я или у всех два мозга. (Я только што посмотрел это слово в словаре который док Штраус дал мне. ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЙ – *относящийся к деятельности мозга, но не присутствующий в сознании, например подсознательный конфликт стремлений.*) Там было еще но я не знаю што оно означает. Это не очень хороший словарь для глупых людей как я.

А галава болит от вечеринки. Джо Карп и Фрэнк Рейли пригласили меня после работы зайти в бар Халлоранса и выпить. Я не люблю пить виски но они сказали мы здорово повеселимся. Мне было хорошо. Мы играли в игру и я плесал на стойке бара на галаве у меня был абажур от лампы и все смиялись. Потом Джо Карп сказал покажи девочкам как ты моешь сортир в пикарне и дал мне тряпку. Я показал им и все хахатали когда я сказал што мистер Доннер сказал што я лутший уборщик который у него был потомушто я люблю свою работу и ни когда не апаздал и не прогуливал кроме апирации. Я сказал мис Кинниан сказала Чярли гордись потомушто ты работаеш хорошо. Все смиялись. А Фрэнк сказал эта мис Кинниан должно быть рехнулась если крутит с Чярли. А Джо сказал Чярли ты тискал ее. Я сказал не знаю про што он гаварит. Мне дали выпить еще а Джо сказал Чярли просто умора когда переберет. Мне кажеца это значит што я им нравлюсь. Когда я стану таким же умным как мои лутшие друзья Джо Карп и Фрэнк Рейли.

Я не помню как кончилась вечеринка но они папрасили меня сбегать за угол и посмотреть идет-ли дож. Когда я вернулся ни ково не было. На верно ушли искать меня. Я искал их пока не стемнело. Я заблудился и злился на себя за это потомушто спорю Эджернон прошел бы здесь сто раз и не заблудился как я.

Дальше я не помню но мис Флинн сказала меня привел вежлевый полицейский. Ночью мне снились мама и папа только я не видел ее лица оно было белое и расплывчетое. Я плакал потомушто я был в большом магазине и не мог найти их и бегал в доль полок. Потом подошел челавек и привел меня в большую комнату со скамейками у стен дал мне леденец и скаазал такому большому мальчику нельзя плакать потомушто мама и папа скоро придут и найдут меня. Такой был сон и у меня болела галава и на ней была шишка и везде синяки. Джо сказал может я кувырнулся или полицейский вложил мне но мне так не кажеца. Виски я больше пить не буду. Ни когда.

29 марта

Я победил Эджернона. Я не знал этово пока Барт не сказал мне. Потом второй раз я проиграл потомушто развалнавался. Потом я побил ево еще 8 раз. На верно я умнею если выигрываю у такой умной мыши но я этово не чувствую. Я хотел еще пасаривнаваца но Барт сказал хватит на севодня. Он дал мне подержать Эджернона. Чюдесный мыш. Мягкий как вата. Он моргает и когда аткрывает глаза они у него черные и розовые по краям. Я спросил можно мне покормить ево потомушто я чувствовал себя виноватым и хотел подружца с ним. Барт сказал нет Эджернон очень спициальный мыш с такойже апирацией как моя. Он первый из всех животных остался умным так долго и он сказал Эджернон такой умный што должен каждый раз аткрывать новый замок штобы покушать такшто он должен каждый раз учица новому. Мне стало грусно потомушто если

он не научица то не сможет поесть и астанеца голодный. По моему это не правильно заставлять проходить тест шtbody просто покушать. Какбы это понрвилось Барту. Мне кажеца мы подружымся с Элджерноном.

Тут я вспомнил. Док Штраус сказал што я должен записывать все свои сны и все што я думаю. Я сказал што ещо не знаю как думать. Он сказал ты написал как пришел в школу к мис Кинниан про маму и папу и што случилось до апирацыи это и называеца думать и ты это уже написал в отчетах. Оказываеца я думаю и вспоминаю. Может это значит што штото происходит со мной. Я не чувствую себя другим но я так развалнавался што не мог спать.

Док Штраус дал мне розовые пилюли шtbody я спал. Он сказал што я должен много спать потомушто в это время происходят изменения в моем мозгу. Может это правда потомушто дядя Герман спал на старой софе в гостиной все время когда не работал. Он был толстый и ему было трудно найти работу потомушто он красил дома и ему трудно было взбраща по леснице. Когда я сказал маме што хочю быть маляром как дядя Герман моя сестра Норма сказала ага Чярли будет в нашей семье художником. А папа ударил ее по лицу и сказал не будь такой стервой он твой брат. Я не знаю што такое художник но если Норме дали за это подщочину на верно это не очень хорошо. Мне всегда было плохо когда Норму били когда она шутила со мной. Вот стану умным и навещю ее.

<...>

Вопросы и задания:

- 1) Почему Чарли согласился участвовать в эксперименте по повышению уровня интеллекта?
- 2) Насколько гуманным было проводить подобный эксперимент над человеком?
- 3) К каким результатам привел эксперимент?

ТЕМА 2. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА И В ПСИХОАНАЛИЗЕ.



Альбер Камю (7 ноября 1913 – 4 января 1960) – французский прозаик, философ, эссеист, публицист, близкий к экзистенциализму. Получил нарицательное имя при жизни «Совесть Запада». Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года.

В своей дебютной повести «Посторонний» Альбер Камю пишет об отстраненном человеке, который эмоционально не вовлечен в свою жизнь, а остается как бы сторонним наблюдателем в критических жизненных точках: смерти матери, совершенном убийстве, на собственном суде. Жизнь главного героя представлена как череда случайных событий, независимых от его воли. Даже убийство он совершает случайно, без умысла или аффекта.

Вашему вниманию представлена вторая часть повести, в которой продемонстрировано поведение главного героя в судебном процессе, его бесстрастность к собственной судьбе.

1. Камю А. Посторонний; Чума; Падение; Миф о Сизифе; Пьесы; Из «Записных книжек»: сборник: пер. с фр. / Камю Альбер (1913–1960); сост. тома и вступ. ст. Е.Д. Гальцовой; примеч.: С.Н. Зенкина, Е.Д. Гальцовой ; оформ. А.А. Кудрявцева . – М. : АСТ : Пушкинская библиотека, 2004. – 816 с.

<...>

Часть II

I

Сразу же после ареста меня несколько раз допрашивали. Но допросы были недолгие – просто выясняли, кто я такой. В первый раз, в полицейском участке, моим делом, кажется, ровно никто не заинтересовался. Неделью спустя, напротив, судебный следователь смотрел на меня с любопытством. Но для начала он только спросил мое имя и адрес, род занятий, время и место рождения. Потом пожелал узнать, выбрал ли я себе адвоката. Я сказал – нет, а разве это так уж необходимо?

– То есть как? – удивился он.

Я сказал – по-моему, дело мое очень простое.

Он улыбнулся и сказал:

– Можно считать и так. Однако существует закон. Если вы не выберете себе защитника сами, мы вам кого-нибудь назначим.

Я подумал: очень удобно, что правосудие само заботится обо всех мелочах. Так я и сказал следователю. Он согласился и заметил, что законы составлены весьма разумно.

Сначала я не принял его всерьез. Он ждал меня в кабинете с завешенными окнами, горела одна только лампа на письменном столе и освещала кресло, в которое он меня усадил, а сам остался в тени. Я уже читал про такие приемы в книгах, и все это показалось мне игрой. Но когда мы поговорили, я посмотрел на него внимательней – он был высокий, тонкие черты лица, глубоко посаженные голубые глаза, длинные седеющие усы и грива почти совсем белых волос. Он показался мне человеком очень разумным и в общем приятным, хотя рот у него как-то нервно подергивался. Уходя, я чуть было не протянул ему руку, да вовремя вспомнил, что ведь я убил человека.

На другой день ко мне в тюрьму пришел адвокат. Он был маленький, кругленький, еще молодой, волосы тщательно прилизаны. Несмотря на жару (я сидел без куртки), на нем был темный костюм, крахмальным воротничок и какой-то необыкновенный галстук в

широкую белую и черную полоску. Он водрузил на мою койку портфель, представился и объявил, что внимательно изучил дело. Случай щекотливый, но он не сомневается в успехе, если только я вполне ему доверюсь. Я поблагодарил, и он сказал:

– Перейдем прямо к сути.

Он сел на койку и сообщил, что уже наведены справки о моей личной жизни. Стало известно, что моя мать недавно умерла в доме призрения. Тогда послали запрос в Маренго. Там следователям сообщили, что в день похорон мамы я «проявил бесчувственность».

– Понимаете, – сказал мой защитник, – мне неловко вас об этом расспрашивать. Но это крайне важно. И обвинение с успехом использует этот довод, если я ничего не сумею возразить.

Он хотел, чтобы я ему помог. Он спросил, горевал ли я в тот день. Я очень удивился, мне кажется, сам я постеснялся бы задать кому–нибудь такой вопрос. Все же я ответил, что несколько отвык разбираться в своих чувствах и затрудняюсь ему что–либо объяснить. Конечно, я любил маму, но какое это имеет значение. Всякий разумный человек так или иначе когда–нибудь желал смерти тем, кого любит. Тут адвокат меня перебил и, кажется, очень разволновался. Он взял с меня слово не говорить так ни на суде, ни у следователя. Все же я ему объяснил, что такой уж я от природы – когда мне физически не по себе, все мои чувства и мысли путаются. В тот день, когда хоронили маму, я очень устал и не выспался. И поэтому плохо соображал, что происходит. Одно могу сказать наверняка: я бы предпочел, чтобы мама была жива. Но защитник, видно, остался недоволен. Он сказал:

– Этого недостаточно.

Он задумался. Потом спросил, может ли он сказать на суде, что в тот день я взял себя в руки и сдержал естественную скорбь. Я сказал:

– Нет, ведь это неправда.

Он странно на меня посмотрел, как будто я был ему немного противен. И сказал почти злобно, что, во всяком случае, директор и служащие дома призрения будут вызваны в качестве свидетелей, «и тогда дело может принять для вас прескверный оборот». Я сказал – это здесь ни при чем, ведь меня судят совсем за другое, но он ответил только – сразу видно, что я никогда не сталкивался с правосудием.

Ушел он сердитый. Мне хотелось его удержать, объяснить, что я был бы рад, если бы он отнесся ко мне по–хорошему – и не потому, что тогда бы он больше старался, защищая меня, а просто так. Главное, я видел: из–за меня ему неспокойно. Он меня не понимал и поэтому немного злился. Мне хотелось растолковать ему, что я такой же, как все люди, в точности такой же. Но все это, в сущности, бесполезно, мне стало лень, и я махнул рукой.

Попозже меня опять отвели к следователю. Было два часа дня, и на этот раз кабинет был залит светом, легкая занавеска его почти не смягчала. Было очень жарко. Следователь предложил мне сесть и весьма любезно сообщил, что мой адвокат не мог прийти – «помешали обстоятельства». Но я имею право не отвечать на вопросы и ждать адвоката. Я сказал, что и один могу отвечать. Он нажал кнопку звонка на столе. Вошел молодой секретарь и сел очень близко позади меня.

Мы со следователем поудобнее устроились в креслах. Начался допрос. Сперва он сказал, что, по общему мнению, я человек молчаливый и замкнутый – а сам я как полагаю? Я ответил:

– Просто мне нечего сказать. Вот я и молчу.

Он, кажется, впервые улыбнулся, согласился, что более веской причины не найдешь, и прибавил:

– Впрочем, это неважно. – Замолчал, посмотрел на меня, вдруг выпрямился и сказал быстро: – Меня интересуют вы сами.

Я не очень понял, о чем это он, и не ответил.

– Есть в вашем поступке что-то для меня неясное, – продолжал он. – Я уверен, вы поможете мне в этом разобраться.

Я сказал – все очень просто. Он попросил, чтобы я еще раз подробно описал ему тот день. Я перебрал заново все то, о чем уже рассказывал ему: Раймон, пляж, купанье, стычка с арабами, опять пляж, родник, солнце и пять выстрелов из револьвера. Он снова и снова приговаривал:

– Так, так.

И когда я дошел до неподвижного тела на песке, он опять одобрил:

– Хорошо.

Мне уже надоело повторять одно и то же, кажется, никогда в жизни я так много не говорил.

Мы помолчали, потом он поднялся и сказал, что хочет мне помочь, что я его заинтересовал и с божьей помощью он постарается что-нибудь для меня сделать. Но сначала хочет задать мне еще несколько вопросов. И без перехода спросил, любил ли я маму. Я сказал:

– Да, как все люди.

Секретарь, который до сих пор без остановки стучал на машинке, тут, наверно, сбился и ударил не по той клавише: он вдруг замешкался, и ему пришлось вернуться назад. Так же некстати, без видимой связи следователь спросил, стрелял ли я пять раз подряд, без перерыва. Я подумал и вспомнил, что сперва выстрелил один раз, а чуть погодя еще четыре.

– Почему вы ждали после первого выстрела? – спросил он.

Я снова увидел багровый пляж и почувствовал, как солнце жжет лоб. Но на этот раз ничего не ответил. Наступило долгое молчание, следователь как будто заволновался. Он опять сел, взъерошил волосы, облокотился на стол и с каким-то странным видом наклонился ко мне.

– Почему, почему вы стреляли в убитого?

Я опять не знал, что ответить. Следователь провел ладонями по лбу и повторил изменившимся голосом:

– Почему? Скажите мне, это необходимо: почему?

Я все молчал.

Он резко поднялся, большими шагами прошел через весь кабинет к картотеке и открыл ящик. Вытащил оттуда серебряное распятие и, размахивая им, вернулся ко мне. И совсем другим тоном, чуть ли не с дрожью в голосе, воскликнул:

– Да знаете ли вы его?

Я сказал:

– Да, конечно.

Тогда он быстро, с жаром заговорил: он верит в бога, он убежден, что нет на свете человека столь виновного, чтобы господь бог его не простил, но для этого виновный должен раскаяться и стать душою как дитя – открыт и доверчив. Следователь перегнулся над столом. Он махал распятием чуть не над самой моей головой. Сказать по правде, я плохо улавливал нить его мыслей, потому что было очень жарко, да еще по кабинету летали огромные мухи и садились мне на лицо, а кроме того, он меня немного пугал. И, однако, я понимал, что бояться смешно, ведь, в конце концов, преступник – то я. А он все говорил и говорил. Насколько я понял, в моем признании ему неясно одно – то обстоятельство, что после первого выстрела я выждал и дальше стрелял не сразу. Все остальное его не смущает, а вот этого он понять не может.

Я хотел сказать, что напрасно он упорствует: сразу ли стрелял, не сразу ли – невелика важность. Но он меня перебил и, выпрямившись во весь рост, в последний раз потребовал ответа: верю ли я в бога. Я сказал – не верю. Он рассердился и сел. И сказал, что этого не может быть, все люди верят в бога, даже те, кто от него отворачивается.

Таково его глубочайшее убеждение, и, если он вынужден будет в этом усомниться, вся его жизнь потеряет смысл.

– Неужели вы хотите, чтобы жизнь моя потеряла смысл? – воскликнул он.

Я рассудил, что меня это не касается, и так ему и сказал. Но он через стол сунул распятие мне чуть не под нос и закричал как одержимый:

– Я христианин! Я молю его отпустить тебе твои грехи! Как ты можешь не верить, что он страдал за тебя?

Конечно, я заметил, что он уже говорит мне, как близкому, «ты», но с меня было довольно. Жара становилась нестерпимой. Как всегда, когда я хочу избавиться от кого-нибудь, кого слушаю через силу, я сделал вид, что со всем согласен. К моему удивлению, следователь возликовал.

– Вот видишь, видишь! – с торжеством заявил он. – Ведь правда, ты веруешь в него и доверишься ему?

Разумеется, я еще раз сказал – нет. Он тяжело опустился в кресло. Лицо у него сделалось очень усталое. Он немного помолчал, а пишущая машинка, которая не переставала трещать во все время нашего разговора, еще достукивала последние слова. Потом следователь посмотрел на меня внимательно и даже печально. И пробормотал:

– Никогда еще я не видел души столь очерствелой, как ваша. Все преступники, сколько их ни проходило через мои руки, плакали перед этим скорбным ликом.

Я хотел ответить – потому и плакали, что они преступники. Но тотчас подумал, что ведь и я такой же. Я никак не мог свыкнуться с этой мыслью. Тут следователь встал, словно в знак того, что допрос окончен. Он только спросил еще, с тем же усталым видом, сожалею ли я о своем поступке. Я подумал и сказал – не то чтобы жалею, но мне неприятно. Кажется, он не понял. Но в тот день на этом все и кончилось.

Потом я еще часто бывал у этого следователя. Но каждый раз со мною приходил мой защитник. И от меня требовалось только уточнять разные подробности прежних показаний. Или же следователь обсуждал с адвокатом пункты обвинения. Но в эти минуты сам я несколько их обоих не занимал. Во всяком случае, тон допросов понемногу изменился. По-видимому, для следователя мое дело прояснилось, и он потерял ко мне интерес. Он больше не заговаривал со мной о боге, и я уже никогда не видал его в таком волнении, как при первой встрече. И поэтому наши разговоры стали более непринужденными. Несколько вопросов, короткая беседа с адвокатом – вот и все. Дело мое, как выражался следователь, двигалось своим чередом. Иногда, если разговор заходил на какую-нибудь общую тему, меня тоже в него втягивали. И я начинал дышать свободнее. В эти часы никто на меня не злился. Все разыгрывалось как по нотам, естественно, размеренно, спокойно, и у меня возникало забавное ощущение, как будто я здесь – член семьи. Следствие длилось одиннадцать месяцев, и под конец мне почти не верилось, что у меня когда-то бывали другие удовольствия, кроме этих редких минут, когда следователь провожал меня до дверей кабинета, похлопывал по плечу и говорил дружески:

– Ну, на сегодня хватит, господин Антихрист!

А затем меня передавали с рук на руки жандармам.

II

Об иных вещах я всегда не любил говорить. И в тюрьме я в первые же дни понял: об этой полосе моей жизни говорить будет неприятно.

Потом я стал думать, что и это чувство ровно ничего не значит. В сущности, на первых порах я еще не был настоящим арестантом, я смутно ждал: вот-вот что-то изменится. Все началось только после первого и единственного посещения Мари. С того дня, как я получил от нее письмо (она писала, что ей больше не разрешают меня навещать, потому что мы не женаты), с того самого дня я почувствовал: теперь камера и есть мой дом и на этом жизнь моя остановилась. Сначала после ареста меня заперли в помещении, где уже сидели несколько заключенных, почти все – арабы. Увидев меня, они стали

смеяться. Потом спросили, что я сделал. Я сказал, что убил араба, и они замолчали. Но очень скоро стемнело, и они объяснили мне, как разложить циновку, на которой предстояло спать. Один конец надо скатать валиком вместо подушки. Всю ночь у меня по лицу бегали клопы. Через несколько дней меня перевели в одиночку, там я спал на деревянных нарах. У меня была параша и жестяной таз для умывания. Тюрьма стояла высоко над городом, и в узкое оконце видно было море. Однажды, когда я, ухватясь за прутья решетки, тянулся к свету, вошел надзиратель и сказал, что ко мне пришли. Я подумал – наверно, Мари. И правда, это была она.

В комнату свиданий меня вели длинным коридором, потом по лестнице и наконец еще одним коридором. Я вошел в просторный зал с огромными окнами по одной стене. Две решетчатые перегородки рассекали зал во всю длину на три части. Пустое пространство между решетками, метров восемь или десять, отделяло посетителей от арестантов. Напротив меня стояла Мари, я увидел платье в полоску и загорелое лицо. По ту же сторону, что и я, было еще с десятков заключенных, почти все – арабы. Посетительницы, кроме Мари, тоже были больше мавританки; справа от нее, плотно сжав губы, стояла маленькая старушка в черном, слева – простоволосая толстуха, эта кричала во все горло и размахивала руками. Да и всем заключенным и посетителям приходилось кричать, расстояние между решетками было слишком велико. Гул голосов и резкий свет, лившийся в окна, еще усиливались, отражаясь от голых стен, и, когда я вошел, у меня даже голова закружилась. В камере моей было куда тише и темнее. Не вдруг я освоился. Но потом в ярком свете начал ясно различать лица. В конце прохода между решетками сидел надзиратель. Многие арестанты–арабы и их родичи присели друг против друга на корточки. Эти не кричали. Несмотря на шум и гам вокруг, они говорили совсем тихо и умудрялись понимать друг друга. Они глухо бормотали внизу, будто гудела басовая струна, сопровождая вопросы и ответы, перелетавшие у них над головой. Все это я заметил очень быстро и направился к Мари. Она уже прильнула к решетке и изо всех сил улыбалась мне. Она показалась мне очень красивой, но я не умел ей это сказать.

– Ну как? – очень громко спросила она.

– Да так.

– Ты здоров, у тебя есть все, что нужно?

– Да, есть.

Мы замолчали, Мари все улыбалась. Толстуха что–то орала моему соседу, рослому детине со светлыми волосами и простодушным взглядом, – наверно, мужу. Разговор этот, видно, начался еще до моего прихода.

– Жанна не хотела его брать! – во всю мочь вопила толстуха.

– Да, да, – повторял муж.

Я ей сказала, что ты, как выйдешь, опять его забереешь, а она все равно не захотела его взять!

Тут Мари крикнула, что Раймон передает мне привет, и я сказал:

– Спасибо.

Но меня заглушил сосед, крикнув жене:

– А он как, здоров?

Она засмеялась и ответила:

– Лучше всех!

Мой сосед слева – молодой, щуплый, с тонкими руками – все время молчал. Я заметил, что он стоит напротив маленькой старушки и они неотрывно смотрят друг на друга. Но больше я не успел за ними понаблюдать, потому что Мари закричала: надо надеяться на лучшее!

Я сказал:

– Да.

Я смотрел на нее, и мне хотелось сжать ее плечо, прикрытое легким платьем. Мне хотелось этой чудесной плоти, и, право, не знаю, на что еще, кроме этого, стоило

надеяться. Но, конечно, то же самое думала и Мари, потому что она все время улыбалась. Теперь я только и видел блеск ее зубов да смеющиеся морщинки у глаз. Она опять закричала:

– Вот выйдешь – и поженимся!

– Ты думаешь? – ответил я, надо ж было что-то сказать.

Она ответила очень быстро и очень громко – да-да, меня оправдают, и мы еще поплаваем. Но толстуха рядом с нею кричала еще громче: она, мол, передала корзинку в тюремную канцелярию – и перечисляла все, что в корзинку положено. И пускай он проверит – ведь все это стоит денег! Второй мой сосед и его мать по-прежнему не сводили глаз друг с друга. Внизу все так же вполголоса переговаривались арабы. На улице яркий свет словно набухал и давил на окна. Он стекал по лицам, точно сок из лопнувшего плода.

Мне нездоровилось, и я рад был бы уйти. От шума ломило виски. И все-таки хотелось, пока можно, видеть Мари. Не знаю, сколько еще времени прошло. Мари стала рассказывать о своей работе, а улыбка все не сходила с ее лица. Бормотанье, крики, разговоры были как перекрестный огонь. Уцелел только один островок тишины – шуплый молодой человек рядом со мной и его старуха мать молча глядели друг на друга. Понемногу арабов начали уводить. Как только первый вышел, почти все в зале умолкли. Старушка напротив придвинулась поближе к решетке, и в эту самую минуту надзиратель сделал знак ее сыну. Тот сказал:

– До свиданья, мама.

А она просунула руку между прутьями и махнула ему долгим, медленным движением.

Она вышла, и сейчас же появился мужчина со шляпой в руке и стал на ее место. Ввели нового арестанта, и они заговорили оживленно, но негромко, потому что в зале теперь все притихли. Надзиратель пришел за другим моим соседом, и жена крикнула ему, будто не замечая, что повышать голос уже незачем:

– Ты поосторожней! Береги себя!

Потом настал мой черед. Мари послала мне воздушный поцелуй. В дверях я оглянулся. Она стояла как вкопанная, прижимаясь лицом к решетке, и улыбалась все той же застывшей, вымученной улыбкой.

Вскоре после этого она мне написала. И тогда же началось многое такое, о чем я всегда не любил говорить. Хотя не надо преувеличивать: мне это давалось легче, чем другим. Однако первое время в тюрьме хуже всего было то, что у меня еще появлялись мысли свободного человека. Например, вдруг захочется полежать на песке, спуститься к морю. Ясно представлялось – всплескивают под ногами первые волны, погружаешься в воду, становится так легко, вольно – и тут вокруг разом смыкаются стены тюрьмы. Но через несколько месяцев это прошло. И уже все мысли были арестантские. Я ждал, когда меня выведут во двор на ежедневную прогулку либо когда придет адвокат. И остальное время научился проводить неплохо. И часто думал: если бы меня заставили жить в стволе высохшего дерева и совсем ничего нельзя было бы делать, только смотреть, как цветет небо над головой, я бы понемногу и к этому привык. Ждал бы, чтоб пролетела птица или напоззли облака, все равно как здесь жду, в каком еще диковинном галстуке явится мой адвокат, а в прежней жизни запасался терпением до субботы, когда можно будет обнять Мари. Так ведь, если вдуматься, я не сижу в стволе сухого дерева. Есть люди несчастнее меня. Хотя это не моя мысль, а мамина, мама часто повторяла, что в конце концов ко всему привыкаешь.

Впрочем, обычно я не заходил так далеко в своих рассуждениях. Первые месяцы давались тяжело. Надо было как-то себя одолевать, но это-то и помогало провести время. К примеру, мучительно хотелось женщину. Это естественно, я молод. Я никогда не думал именно о Мари. Думал просто о женщине, вообще о женщинах, обо всех, кого знал, и о том, когда и как с ними сходилась, но думал так много, что вся камера наполнялась их

лицами, в ней становилось тесно от моих желаний. В каком-то смысле это выводило из равновесия. Зато так я легче убивал время. Под конец мне стал сочувствовать старший надзиратель, он обычно сопровождал того малого, который приносил с кухни еду. Старший надзиратель и заговорил со мной о женщинах. Он сказал – всем арестантам этого больше всего не хватает. Я сказал – мне тоже, несправедливо так обращаться с людьми.

– Да ведь для того вас и сажают в тюрьму, – сказал он.

– Как так?

– Ну да, свобода это самое и есть. А вас лишают свободы.

Прежде мне такое в голову не приходило. А ведь правильно. Я сказал:

– Да, верно – иначе какое же это было бы наказание?

– Вот-вот, вы-то разбираетесь. А другие нет. Но в конце концов они начинают сами себя утешать.

И он ушел.

Потом – сигареты. В тюрьме у меня сразу отобрали пояс, шнурки от ботинок, галстук и все, что было в карманах, главное – сигареты. Попав в камеру, я попросил, чтобы мне все это вернули. Но мне сказали – это запрещено. Первые дни было очень тяжело. Пожалуй, то, что нельзя курить, угнетало меня больше всего. Я отдирали от нар щепочки и сосал их. Весь день меня мутило. Я не понимал, почему у меня отнимают то, что никому не мешает и не вредит. Позже понял: это тоже часть наказания. Но к тому времени я уже отвык курить, и это больше не было для меня наказанием.

Если не считать этих неприятностей, я был не так уж несчастен. Самое главное, повторяю, убить время. Я научился вспоминать разные разности и с тех пор больше не скучал. Иногда принимался вспоминать свою комнату, представлял себе – вот я обхожу ее кругом, начинаю вон с того угла и перебираю мысленно каждую мелочь, которая встретится на пути. Сперва этого хватало ненадолго. Но с каждым разом получалось немного дольше. Потому что я вспоминал каждый стул, что где стоит, что лежит в каком ящике, каждый пустяк, все подробности – инкрустацию, щербинку, трещинку, что какого цвета и какое на ощупь. В то же время я старался не сбиться, перебрать все по порядку и ничего не забыть. И через несколько недель у меня уже уходили часы только на то, чтобы перечислить все вещи, сколько их было в моей комнате. Чем больше я вспоминал, тем больше всплывало в памяти разных неприметных мелочей. Вот тогда я понял: если человек жил хотя бы один только день, он потом спокойно может сто лет просидеть в тюрьме. У него будет вдоволь воспоминаний, чтоб не скучать. Если угодно, это тоже утешает.

И еще сон. Вначале я плохо спал по ночам и совсем не спал днем. Понемногу ночью дело наладилось, и я даже научился спать днем. А в последние месяцы я спал по шестнадцать, по восемнадцать часов в сутки. Оставалось убить шесть часов, для этого у меня были завтрак, обед и ужин, естественные нужды, воспоминания да еще история про чеха.

Однажды я нашел на нарах под соломенным тюфяком прилипший к нему обрывок старой газеты – пожелтевший, почти прозрачный. Это был кусок уголовной хроники, начала не хватало, но, по-видимому, дело происходило в Чехословакии. Какой-то человек пустился из родной деревни в дальние края попытать счастья. Через двадцать пять лет, разбогатев, с женой и ребенком он возвратился на родину. Его мать и сестра содержали маленькую деревенскую гостиницу. Он решил их удивить, оставил жену и ребенка где-то в другом месте, пришел к матери – и та его не узнала. Шутки ради он притворился, будто ему нужна комната. Мать и сестра увидели, что у него много денег. Они молотком убили его, ограбили, а труп бросили в реку. Наутро явилась его жена и, ничего не подозревая, открыла, кто был приезжий. Мать повесилась. Сестра бросилась в колодезь. Я перечитал эту историю, наверно, тысячу раз. С одной стороны, она была неправдоподобна. С другой – вполне естественна. По-моему, этот человек в какой-то мере заслужил свою участь. Никогда не надо притворяться.

Вот так я часами спал, вспоминал, перечитывал отрывки из этой истории, в камере становилось то светло, то темно – а время шло. Где-то когда-то я вычитал, что в тюрьме человек под конец теряет представление о времени. Но тогда это для меня был звук пустой. Я не понимал, что день может быть сразу и очень длинным, и очень коротким. Конечно, прожить такой день – это долго, но они так растягивались, что в конце концов сливались, один переходил в другой. Они стали безликие, безмянные. Только слова «вчера» и «завтра» еще не потеряли свой смысл.

Однажды надзиратель сказал, что я сижу в тюрьме уже пять месяцев, – и я поверил, но понять не понял. Для меня в камере нескончаемо тянулся все один и тот же день, и забота у меня была все одна и та же. Когда надзиратель ушел, я погляделся, как в зеркало, в жестяной котелок. Мне показалось, мое отражение остается хмурым, даже когда я стараюсь ему улыбаться. Я повертел котелок и так, и эдак. Опять улыбнулся, но отражение оставалось строгим и печальным. Смеркалось, и это был час, о котором мне не хочется говорить, безмянный час, когда со всех этажей тюрьмы безрадостным шествием поднимаются глухие вечерние шумы и медленно замирают. Я подошел к оконцу и в последних сумеречных отсветах еще раз всмотрелся в свое отражение. Оно по-прежнему было серьезное, и что в этом удивительного, раз я и сам теперь был серьезен? Но тут, впервые за столько месяцев, я отчетливо услышал свой голос. Так вот что за голос уже много дней отдавался у меня в ушах: только тут я понял, что все время, сидя в одиночке, разговаривал сам с собой. И вспомнил, что говорила сиделка на похоронах мамы. Да, никакого выхода нет, и никто не может себе представить, что такое вечера в тюрьме.

III

В сущности, лето очень быстро сменилось другим летом. Я заранее знал, что с приходом жары для меня настанет новая полоса. Дело мое должно было слушаться на последней сессии суда присяжных, она заканчивается в июне. Когда процесс начался, на воле все полно было солнцем. Мой защитник уверял, что разбирательство продлится дня два-три, не больше.

– Суд будет спешить, – прибавил он, – потому что ваше дело на этой сессии не самое важное. Есть еще отцеубийство, им займутся сразу после вас.

В половине восьмого утра за мной пришли и в тюремной машине отвезли в здание суда. Два жандарма ввели меня в затхлую каморку, там пахло темнотой. Мы ждали, сидя у двери, а за нею разговаривали, перекликались, двигали стульями – словом, было шумно и суматошно, как на благотворительном вечере, когда после концерта середину зала освобождают для танцев. Жандармы сказали, что заседание еще не начиналось, и один предложил мне сигарету, но я отказался. Немного погодя он спросил, не трушу ли я, и я сказал – нет. В известном смысле мне даже интересно: посмотрю, как это бывает. Никогда еще не случалось попасть в суд.

– Да, – сказал второй жандарм, – но под конец это надоедает.

Немного спустя в комнате звякнул звонок. Тогда с меня сняли наручники. Отворили дверь и подвели меня к скамье подсудимых. В зале набилось полно народу. Шторы спущены, но кое-где пробивается солнце, и дышать уже нечем. Окон не открывали. Я сел, жандармы стали по бокам. И тут я увидел вереницу лиц напротив. Все они смотрели на меня, и я понял – это присяжные. Но я их не различал, они были какие-то одинаковые. Мне казалось, я вошел в трамвай, передо мною сидят в ряд пассажиры – безликие незнакомцы – и все уставились на меня и стараются подметить, над чем бы посмеяться. Я понимал, что это все глупости: во мне ищут не смешное, а преступное. Но разница не так уж велика – во всяком случае, такое у меня тогда было ощущение.

И еще меня ошеломило множество народу – как сельди в бочке. Я опять оглядел зал, но не различил ни одного лица. Наверно, сперва я не понимал, что вся эта толпа сошлась сюда поглазеть на меня. Обычно люди не обращали на меня внимания. Пришлось сделать усилие, чтобы сообразить, что вся эта суматоха из-за меня. Я сказал жандарму:

– Сколько народу!

Он ответил – это газеты постарались – и показал на кучку людей у стола, пониже скамьи присяжных.

– Вот они, – сказал он.

– Кто? – спросил я.

И он повторил:

– Газеты.

Он увидел знакомого репортера, тот как раз направлялся к нам. Это был человек уже немолодой, с приятным, хотя, пожалуй, чересчур подвижным лицом. Он сердечно пожал жандарму руку. Тут я заметил, что все эти люди раскланивались, перекликались, переговаривались, будто в клубе, где все свои и рады побыть в дружеском кругу. Так вот отчего у меня сперва было это странное ощущение, словно я тут лишний, непрошенный гость. Однако репортер с улыбкой обратился ко мне. Он надеется, сказал он, что для меня все кончится благополучно. Я сказал – спасибо, и он прибавил:

– Знаете, мы немножко раздули ваше дело. Для газет лето – мертвый сезон. Ничего не подвертывалось стоящего, только вот вы да отцеубийца.

Потом он показал на одного из репортеров в группе, от которой он сам отошел, – этот человек напоминал разжиревшего хорька, на носу у него красовались огромные очки в черной оправе, – и сказал, что это специальный корреспондент одной парижской газеты.

– Вообще–то он приехал не ради вас. Он будет писать о процессе отцеубийцы, а уж заодно его попросили рассказать и о вашем деле.

Я чуть не поблагодарил еще раз, да спохватился, что это было бы смешно. Он приветливо махнул мне рукой и отошел. Потом мы еще немного подождали.

Явился мой защитник, в адвокатской мантии, окруженный своими собратьями. Направился к репортерам и стал жать им руки. Они шутили, смеялись и, видно, чувствовали себя как дома, пока в зале не раздался звонок. Тогда все разошлись по местам. Защитник подошел, пожал мне руку и посоветовал на вопросы отвечать кратко, ни о чем не заговаривать первым, а в остальном положиться на него.

Слева от меня шумно отодвинули стул, я обернулся – там усаживался высокий сухопарый человек в пенсне, заботливо расправляя красную мантию. Это был прокурор. Судебный пристав объявил, что суд идет. В эту минуту зажужжали два огромных вентилятора. Вошли трое судей – двое в черных мантиях, третий – в красной, у каждого под мышкой папка с бумагами – и быстрым шагом направились к возвышению. Тот, что в красном, сел в кресло посередине, положил свою шапочку перед собой на стол, вытер платком лысину и объявил заседание суда открытым.

Репортеры уже наострили перья. Лица у них были равнодушные и немного насмешливые. Впрочем, один, самый молодой, в сером фланелевом костюме с голубым галстуком, еще не брался за самопишущую ручку, которая лежала перед ним на столе, и только смотрел на меня. В лице его была какая–то неправильность, но я видел только глаза – очень светлые, они пристально изучали меня, однако их выражение я не мог уловить. Очень странно – мне показалось, будто это я сам себя разглядываю. Может, поэтому и еще потому, что мне не знакомы судебные порядки, я плохо понимал, что происходило дальше: отбирали по жребию кандидатов в присяжные, председатель о чем–то спрашивал защитника, прокурора и присяжных (каждый раз головы всех присяжных разом поворачивались в его сторону), скороговоркой читали обвинительный акт (я услышал знакомые имена и названия знакомых мест), опять задавали вопросы защитнику.

А потом председатель сказал, что сейчас вызовут свидетелей. Пристав громко прочитал имена, они привлекли мое внимание. Из людского сборища, которое перед тем было слитным и безликим, по одному поднимались и затем уходили в боковую дверь директор и привратник дома призрения, старик Тома Перез, Раймон, Масон, Саламано, Мари. Она украдкой тревожно кивнула мне. Я удивлялся, как это я раньше никого из них не заметил, и вдруг назвали последнее имя, и поднялся Селест. Рядом с ним я увидел ту

чудачку, которая в ресторане села за мой столик, и узнал ее жакет, решительное лицо и механические движения. Она смотрела на меня в упор. Но мне некогда было раздумывать, потому что председатель заговорил. Он сказал, что суд переходит к слушанию дела и, надо надеяться, нет нужды призывать публику к тишине и порядку. Его, председателя, долг позаботиться о том, чтобы дело разбиралось со всем беспристрастием и непредвзятостью. Присяжным надлежит вынести приговор в духе истинной справедливости, а кроме всего прочего, если кто-нибудь вздумает нарушить порядок, он, председатель, велит очистить зал.

Становилось все жарче, кое-кто в публике обмахивался газетой. Непрестанно слышалось это бумажное шуршанье. Председатель дал знак приставу, тот принес три плетеных соломенных веера, и судьи сразу пустили их в ход.

И сейчас же меня начали допрашивать. Председатель задавал мне вопросы очень спокойно и даже как бы доброжелательно. Снова потребовалось назвать мое имя, фамилию, возраст и прочее, и, хотя это мне порядком надоело, я подумал: в сущности, это естественно, ведь не шутка, если бы вдруг судили не того, кого надо. Потом председатель снова принялся рассказывать о том, что я сделал, и через каждые два слова переспрашивал меня:

– Так? Правильно?

И я каждый раз отвечал, как научил меня защитник:

– Да, господин председатель.

Это тянулось долго, потому что председатель рассказывал дотошно, со всеми подробностями. И все время репортеры записывали. Я чувствовал на себе взгляд самого молодого из них и той маленькой женщины-автомата. Все пассажиры с трамвайной скамейки смотрели на председателя. Он покашлял, полистал бумаги и, обмахиваясь соломенным веером, повернулся ко мне.

Он сказал, что должен сейчас затронуть вопросы, по видимости не имеющие отношения к моему делу, но, быть может, по существу весьма тесно с ним связанные. Я понял: сейчас он заговорит о маме – и мне стало тошно. Он спросил, почему я отдал маму в дом призрения. Я ответил – потому что у меня не хватало денег на уход за нею и на сиделку. Он спросил, не трудно ли мне было на это решиться, и я ответил – мы с мамой больше ничего друг от друга не ждали, да и ни от кого другого тоже, и оба мы привыкли к новому образу жизни. Тогда председатель сказал, что не стоит больше углубляться в эту тему, и спросил прокурора, нет ли у того ко мне вопросов.

Прокурор, не глядя на меня, через плечо заявил, что, с разрешения председателя, он желал бы узнать, для того ли я один вернулся к роднику, чтобы убить араба.

– Нет, – сказал я.

– Тогда почему же обвиняемый был вооружен и почему он вернулся именно на это место?

Я ответил – это вышло случайно. И прокурор процедил сквозь зубы:

– Пока достаточно.

Дальше пошла какая-то неразбериха, по крайней мере такое у меня было ощущение. А потом судьи пошептались и председатель объявил перерыв; на вечернем заседании, сказал он, будут заслушаны свидетели.

У меня не было времени подумать. Меня вывели из зала, посадили в арестантскую машину и отвезли в тюрьму, там я поел. И очень скоро, как раз когда я почувствовал, что устал, за мной опять пришли; все началось сызнова, я очутился в том же зале, на меня смотрели те же лица. Только стало куда жарче, и, точно по волшебству, в руках у всех присяжных, у прокурора, защитника и некоторых репортеров тоже появились соломенные веера. Молодой журналист и маленькая женщина сидели на прежних местах. Но они не обмахивались веерами и все так же молча смотрели на меня.

Я утирал пот со лба и плохо понимал, где я и что со мной, как вдруг услышал, что вызывают директора дома призрения. Его спросили, жаловалась ли мама на меня, и он

сказал – да, но это дело обычное, все обитатели дома вечно жалуются на своих родных. Председатель попросил уточнить, упрекала ли меня мама в том, что я отдал ее в дом призрения, и директор опять сказал – да. Но на этот раз ничего больше не прибавил. На другой вопрос он ответил, что его удивило мое спокойствие в день похорон. Его спросили, что он подразумевает под словом «спокойствие». Директор опустил глаза и сказал, что я не хотел видеть маму в гробу, не пролил ни слезинки и не побыл у могилы, а уехал сразу же после погребения. И еще одно его удивило: служащий похоронного бюро сказал ему, что я не знал точно, сколько моей матери было лет. Минуту все молчали, потом председатель спросил директора, обо мне ли он все это говорил. Тот не понял вопроса, и председатель пояснил: «Так полагается по закону». Потом спросил прокурора, нет ли у того вопросов к свидетелю, и прокурор воскликнул:

– О нет, этого предостаточно!

Он заявил это с таким жаром, так победоносно посмотрел в мою сторону, что впервые за много лет я, как дурак, чуть не заплакал, вдруг ощутив, до чего все эти люди меня ненавидят.

Председатель спросил присяжных и защитника, нет ли у них вопросов, потом вызвал привратника. С ним, как и с остальными, повторилась та же церемония. Выйдя на свидетельское место, он посмотрел на меня и отвел глаза. Ему задавали вопросы, он отвечал. Он сказал, что я не хотел увидеть маму, что я курил, спал и пил кофе с молоком. Тут я почувствовал, как в зале нарастает волнение, и впервые понял, что виноват. Привратника заставили снова рассказать про кофе с молоком и про сигарету. Прокурор посмотрел на меня с насмешкой. В эту минуту мой адвокат спросил привратника, не курил ли и он со мною. Но прокурор яростно запротестовал:

– Да кто же здесь подсудимый и что за приемы у защиты! Напрасно она пытается очернить свидетелей обвинения, ей не удастся умалить вес их сокрушительных показаний!

Председатель все–таки потребовал, чтобы привратник ответил на вопрос. Старик смутился.

– Верно, я тоже виноватый, – сказал он. – Да только этот господин сам предложил мне сигарету, так отказываться было неловко.

Под конец меня спросили, не хочу ли я что–нибудь прибавить.

– Ничего, – сказал я, – свидетель правильно говорит. Это правда, я предложил ему сигарету.

Привратник поглядел на меня удивленно и как будто даже с благодарностью. Поялся немного и сказал, что он сам предложил мне кофе. Защитник шумно обрадовался и заявил: присяжным следует это учесть. Но в ответ громом раскатился голос прокурора:

– Да, господа присяжные это учтут. И сделают вывод, что посторонний человек мог предложить чашку кофе, а вот сын у бездыханного тела той, которая дала ему жизнь, должен был от этого кофе отказаться.

Привратник вернулся на свое место.

Когда настала очередь старика Переза, приставу пришлось под руку довести его до трибуны. Тома Перез сказал, что он был больше знаком с моей матерью, а меня видел только один раз, в день похорон. Его спросили, что я делал в тот день, и он ответил:

– Понимаете, я был убит горем. Так что я ничего не видел. Я ничего не видел от горя. Потому как для меня это было тяжкое горе. Я даже лишился чувств. Так что я не мог видеть господина Мерсо.

Прокурор спросил – может быть, он по крайней мере видел, что я плакал? Перез ответил – нет, не видел. И прокурор в свой черед сказал:

– Господам присяжным следует это учесть.

Но тут мой защитник вспылил. И спросил Переза, по–моему, чересчур сердито, видел ли он, что я не плакал. Перез сказал:

– Нет.

В зале засмеялись. И защитник, откидывая широкий рукав, громогласно заявил:

– Вот он каков, этот процесс! Все правильно, и все вывернуто наизнанку!

У прокурора стало каменное лицо, он тыкал карандашом в свои бумаги.

Объявили перерыв на пять минут, и защитник успел сказать мне, что все идет хорошо, а после этого вызвали Селеста – свидетеля со стороны защиты. То есть с моей стороны. Селест поглядывал на меня и вертел в руках панаму. Он был в новом костюме, который надевал иногда по воскресеньям, когда мы с ним ходили на скачки. Но, видно, воротничок ему уже не под силу было надеть, и рубашка на шее разъехалась бы, если бы не медная запонка. Селеста спросили, столовался ли я у него, и он сказал – да, но, кроме того, он мой друг. Спросили, какого он обо мне мнения, и он ответил, что я – человек. А как это понимать? Всякий понимает, что это значит, заявил Селест. А замечал ли он, что я замкнутый и скрытный? В ответ Селест сказал только, что я не трепал языком попусту. Прокурор спросил, всегда ли я вовремя платил за стол. Селест засмеялся и сказал:

– Да это пустяки, мы с ним всегда сочтемся.

Его спросили, что он думает о моем преступлении. Тогда он оперся обеими руками о барьер, и стало ясно: он заранее приготовился на это ответить. Он сказал:

– Я так считаю, это несчастье. Всякий знает, что такое несчастье. Ты перед ним беззащитен. Так вот, я считаю, это было несчастье.

Он хотел продолжать, но председатель сказал – очень хорошо, спасибо. Селест немного растерялся. Но все–таки заявил, что ему надо еще кое–что сказать. Его попросили говорить покороче. Он опять повторил, что со мной случилось несчастье. И председатель сказал:

– Да, понятно. Но мы для того здесь и находимся, чтобы судить такого рода несчастья. Благодарю вас.

Тогда, словно не зная, как быть дальше и чем еще помочь, Селест повернулся ко мне. И мне показалось, глаза у него заблестели и губы дрожат. Он будто спрашивал, что еще можно сделать. А я ничего не сказал и не подал ему никакого знака, но в первый раз за всю мою жизнь мне захотелось обнять мужчину. Председатель опять велел ему уйти со свидетельского места. И Селест пошел и сел среди публики. До самого конца заседания он сидел, наклонясь вперед, локти в колени, панاما в руках, и внимательно слушал.

Вошла Мари. Она была в шляпке и все–таки красивая. Но мне она больше нравится с непокрытыми волосами. Я даже издали угадывал, как колыхнется ее грудь, видел знакомую, всегда немного припухшую нижнюю губу. Казалось, Мари очень волнуется. Ее сразу спросили, давно ли она меня знает. Она сказала – с тех пор, как служила у нас в конторе. Председатель поинтересовался, в каких она со мной отношениях. Мари сказала, что она моя приятельница. А на другой вопрос ответила: да, правда, она собиралась за меня замуж. Прокурор перелистал свои бумаги и вдруг спросил, когда началась наша связь. Мари назвала месяц и число. Прокурор сделал равнодушное лицо и заметил – если он не ошибается, как раз накануне похоронили мою мать. Потом усмехнулся и прибавил, что понимает смущение Мари и рад бы не развивать далее столь деликатную тему, но (тут голос его зазвучал резко) его долг – стать выше условностей. И он потребовал, чтобы Мари описала тот день, когда мы с ней сошлись. Мари не хотела говорить, но прокурор настаивал, и она рассказала, как мы с ней купались и ходили в кино, а потом пошли ко мне домой. Прокурор сказал, что после показаний Мари на следствии он уже поинтересовался, какая в тот день шла картина. Но пускай Мари сама скажет, что за фильм тогда показывали. Мари еле слышно назвала фильм с участием Фернанделя. Когда она умолкла, в зале стояла мертвая тишина. Тут прокурор поднялся, лицо у него было очень серьезное, и в голосе мне послышалось непритворное волнение, он ткнул в мою сторону пальцем и медленно проговорил:

– Господа присяжные заседатели, на другой день после смерти матери этот человек едет на пляж купаться, заводит любовницу и идет в кино на развеселую комедию. Больше мне нечего вам сказать.

Он сел, в зале по-прежнему было тихо. И вдруг Мари громко зарыдала и стала говорить – это все неправда, было совсем по-другому, и ее заставили говорить не то, что она думает, а она меня хорошо знает, и я ничего плохого не делал. Но председатель подал знак приставу, тот ее увел, и заседание продолжалось.

После этого никто уже толком не слушал Масона, который заявил, что я человек честный «и более того – порядочный». И никто не слушал толком старика Саламано, когда он начал рассказывать, как я был добр к его собаке, а на вопрос, как я относился к матери, ответил, что нам с мамой уже не о чем было говорить, поэтому я и отдал ее в богадельню.

– Надо понимать, – твердил Саламано, – надо понимать.

Но, видно, никто не понимал. Его увели.

Потом пришел черед последнего свидетеля – Раймона. Он чуть заметно кивнул мне и сейчас же заявил, что я невиновен. Но председатель сказал – от свидетеля требуются не выводы, а факты. Его дело отвечать на вопросы. В каких отношениях он состоял с убитым арабом? Раймон воспользовался этим вопросом и сказал, что он-то и есть враг убитого, потому что дал пощечину его сестре – вот брат его и возненавидел. Но председатель спросил, а не имел ли убитый оснований ненавидеть и меня тоже. Раймон сказал – что я очутился на пляже, это чистая случайность. Тогда прокурор спросил, каким образом получилось, что письмо, из-за которого разыгралась вся трагедия, писал я. Раймон опять сказал, это – случайность. Прокурор возразил: в этой истории почему-то случай оказывается главным козлом отпущения. Интересно знать, вот когда Раймон дал своей любовнице пощечину, я не вмешался – это тоже случайно? И свидетелем в полицейский участок пошел случайно? И что своими показаниями я всячески выгораживал Раймона – тоже случайность? Под конец он спросил, на какие средства живет Раймон, тот ответил: «Я кладовщик», и тогда прокурор заявил присяжным: всем известно, что у этого свидетеля особое ремесло, он – сутенер. А я его сообщник и приятель. Итак, тут имел место трагический фарс самого низкого пошиба, и перед судом не заурядный преступник, но выродок без стыда и совести. Раймон хотел оправдываться, и мой защитник тоже запротестовал, но им предложено было помолчать, пока не договорит прокурор. Прокурор сказал:

– Мне почти нечего прибавить. – И спросил Раймона: – Подсудимый был вашим приятелем?

– Да, – сказал Раймон, – он мне друг.

Прокурор и мне задал тот же вопрос, я посмотрел на Раймона, он не отвел глаз. Я сказал:

– Да.

Тогда прокурор повернулся к присяжным и провозгласил:

– Вот человек, который наавтра после смерти родной матери предавался постыдному распутству, и этот же самый человек по ничтожному поводу, лишь бы покончить с грязной, безнравственной сварой, совершил убийство.

И сел. Но мой защитник вышел из терпения, воздел руки к небесам, так что откинулись широкие рукава мантии и стали видны складки крахмальной рубашки, и закричал:

– Да в чем же его, наконец, обвиняют – что он убил человека или что он похоронил мать?!

В зале поднялся смех. Но прокурор снова выпрямился, запахнулся в мантию и заявил – надо, мол, обладать наивностью почтенного защитника, чтобы не уловить, сколь глубокая, потрясающая, нерасторжимая связь существует между этими двумя разнородными фактами.

– Да! – закричал он с жаром. – Я обвиняю этого человека в том, что на похоронах матери он в сердце своем был уже преступен.

Его слова, видно, произвели большое впечатление на публику. Защитник пожал плечами и утер пот со лба. Но он, кажется, и сам растерялся, и я понял, что дело принимает для меня плохой оборот.

После этого все пошло очень быстро. Заседание закрылось. Когда меня выводили из здания суда и усаживали в тюремную машину, я на минуту вдохнул тепло летнего вечера, почувствовал его запахи и краски. И потом, в темной камере на колесах, сквозь усталость вновь услышал один за другим знакомые шумы города, который я всегда любил, звуки того часа, когда мне бывало хорошо и спокойно. Дневной гомон спадал, ясно слышались крики газетчиков, затихающий писк сонных птиц в сквере, зазывные вопли торговцев сэндвичами, жалобный стон трамвая на крутом повороте и смутный гул, будто с неба льющийся перед тем, как на гавань опрокинется ночь, – по этим приметам я и вслепую узнавал дорогу, которую знал наизусть, когда был свободен. Да, в этот самый час мне бывало прежде хорошо и спокойно. Я знал, впереди – сон без тревог и без сновидений. Но что-то переменялось, и впереди у меня не только предвкушение завтрашнего дня, а еще и одиночная камера. Словно знакомые дорожки, прочерченные в летнем небе, могут привести не только к безмятежным снам, но и за тюремную решетку.

IV

Послушать, что про тебя говорят, интересно, даже когда сидишь на скамье подсудимых. В своих речах прокурор и защитник много рассуждали обо мне – и, пожалуй, больше обо мне самом, чем о моем преступлении. Разница между их речами была не так уж велика. Защитник воздевал руки к небесам и уверял, что я виновен, но заслуживаю снисхождения. Прокурор размахивал руками и гремел, что я виновен и не заслуживаю ни малейшего снисхождения. Только одно меня немного смущало. Как ни поглощен я был своими мыслями, иногда мне хотелось вставить слово, и тогда защитник говорил:

– Молчите! Для вас это будет лучше.

Получалось как-то так, что мое дело разбирают помимо меня. Все происходило без моего участия. Решалась моя судьба – и никто не спрашивал, что я об этом думаю. Иногда мне хотелось прервать их всех и сказать: «Да кто же, в конце концов, обвиняемый? Это не шутка – когда тебя обвиняют. Мне тоже есть что сказать!» Но если вдуматься, мне нечего было сказать. Притом, хотя, пожалуй, это и любопытное ощущение, когда люди заняты твоей особой, – оно быстро приедается. Скажем, прокурора я очень скоро устал слушать. Лишь изредка я улавливал какой-нибудь обрывок его речи, иная тирада, резкий жест поражали меня или казались стоящими внимания.

Насколько я понял, суть его мысли заключалась в том, что я совершил убийство с заранее обдуманном намерением. По крайней мере он старался это доказать. Он сам так говорил:

– Я это докажу, господа присяжные заседатели, и докажу двумя способами: сначала при ослепительном свете фактов, а затем при том зловещем свете, в котором предстает эта преступная душа, когда исследуешь ее тайные движения.

И он опять перечислил факты – все, что произошло после смерти мамы. Припомнил, какой я был бесчувственный, как не мог сказать, сколько маме было лет, а на другой день купался с женщиной, смотрел в кино комедию и наконец привел Мари к себе домой. Тут я не сразу его понял, потому что он все говорил «любовница», а для меня она – Мари. Потом он перешел к истории с Раймоном. Надо сказать, в его представлении все складывалось в довольно стройную систему. Все, что он говорил, звучало правдоподобно. Я написал письмо по сговору с Раймоном, чтобы заманить его любовницу в ловушку и предать ее в безжалостные руки этого субъекта «сомнительной нравственности». На пляже я первым затеял драку с противниками Раймона. Его ранили. Я взял у него револьвер. И вернулся, чтобы пустить оружие в ход. Я затем и шел, чтобы убить того араба. После первого выстрела я выждал. А потом, «чтобы убедиться, что дело сделано на

совесть», выпустил в него еще четыре пули – не спеша, уверенно, по какому-то продуманному плану.

– Так вот, господа, – продолжал прокурор. – Я восстановил перед вами ход событий, которые привели этого человека к хладнокровному, предумышленному убийству. Повторяю и настаиваю: тут был умысел. Это не заурядное убийство под влиянием аффекта, не внезапный порыв, для которого вы могли бы найти смягчающие обстоятельства. Перед вами, господа, человек вполне разумный. Вы его слышали, не так ли? Он умеет отвечать на вопросы. Он знает цену словам. И уж никак нельзя сказать, что он действовал, не отдавая себе отчета в своих поступках.

Итак, меня считали разумным. Но я не мог понять, почему же то, что в обыкновенном человеке считается достоинством, оборачивается сокрушительной уликой против обвиняемого. Это меня поразило, и я больше не слушал прокурора, пока до меня не донесли такие слова:

– Раскаивается ли он по крайней мере? Ничуть не бывало! За все время, пока шло следствие, этот человек ни разу не обнаружил, что хоть сколько-нибудь удручен своим гнусным злодеянием.

Тут он повернулся ко мне и, показывая на меня пальцем, разразился новыми нападками, а почему – право, толком нельзя было понять. Конечно, я не мог не признать, что он отчасти прав. Да, я не слишком жалел о сделанном. Но странно, что он обрушивался на меня с такой яростью. Я охотно попробовал бы ему объяснить, вполне доброжелательно и даже дружески, что никогда я не умел по-настоящему о чем-либо сожалеть. Меня всегда занимает то, что впереди, сегодняшней и завтрашний день. Но, разумеется, когда тебя посадили на скамью подсудимых, уже ни с кем нельзя говорить в таком тоне. Я больше не имел права разговаривать по-дружески, доброжелательно. И я опять постарался прислушаться, потому что прокурор стал рассуждать о моей душе.

Он говорил, что пристально в нее всмотрелся – и ровно ничего не нашел, господа присяжные заседатели! Поистине, говорил он, у меня вообще нет души, во мне нет ничего человеческого и нравственные принципы, ограждающие человеческое сердце от порока, мне недоступны.

– Без сомнения, – прибавил прокурор, – мы не должны вменять это ему в вину. Нельзя его упрекать в отсутствии того, что он попросту не мог приобрести. Но здесь, в суде, добродетель пассивная – терпимость и снисходительность – должна уступить место добродетели более трудной, но и более высокой, а именно – справедливости. Ибо пустыня, которая открывается нам в сердце этого человека, грозит разверзнуться пропастью и поглотить все, на чем зиждется наше общество.

И тут он заговорил о моем отношении к маме. Он повторил то, что уже высказывал раньше. Но теперь он стал куда многословнее, чем когда говорил о моем преступлении, – он распространялся так долго, что под конец я уже ничего не чувствовал, кроме жары. Во всяком случае, до той минуты, когда прокурор остановился, немного помолчал и вновь заговорил очень тихо и очень проникновенно:

– Господа присяжные, завтра этот же суд будет рассматривать дело о гнуснейшем из злодеяний – убийстве родного отца.

Подобное злодеяние, сказал он, невозможно вообразить. Он осмеливается выразить надежду, что людское правосудие сурово покарает преступника. Но он не побоится сказать, продолжал он, что даже это чудовищное преступление едва ли ужасает его сильнее, нежели мое бессердечие. Ибо, как он полагает, тот, кто убил родную мать душевной черствостью, столь же бесповоротно отторгает себя от человечества, как и тот, кто поднял на родителя преступную руку. Во всяком случае, первый открывает путь деяниям второго, в известном смысле предвещает их и узаконивает.

– Я убежден, господа, – продолжал прокурор, возвысив голос, – вы не сочтете мою мысль слишком дерзостной, если я скажу, что человек, сидящий сейчас на скамье

подсудимых, виновен также и в убийстве, которое вы будете судить завтра. И соразмерно этой вине его надлежит покарать.

Прокурор отер лоснящееся от пота лицо. И в заключение сказал, что долг его тягостен, но он исполнит этот долг с твердостью. Он заявил, что мне нет места в обществе, чьих важнейших заповедей я не признаю, и я не вправе ждать милосердия, раз мне чужды простейшие движения человеческого сердца.

– Я требую от вас головы преступника, – сказал он, – и требую с чистой совестью. Немалый срок я тружусь на своем поприще, и мне уже случалось требовать смертной казни, но никогда еще я в такой мере не ощущал, что тяжесть этого долга возмещена, уравновешена, озарена сознанием властной и священной необходимости, а также и ужасом, который я испытываю при виде чудовища, в чьих чертах не могу прочесть ничего человеческого.

Когда прокурор сел на свое место, настала долгая минута молчания. Что до меня, я был оглушен жарой и удивлением. Председатель, покашляв, очень тихо спросил, не желаю ли я что-нибудь прибавить. Я поднялся – говорить мне хотелось, – и я сказал (правда, немного бессвязно), что вовсе не собирался убивать того араба. Председатель ответил, что это голословное заявление, до сих пор он плохо понимал, на что опирается моя защита, и, прежде чем выслушать моего адвоката, рад был бы от меня самого узнать точнее, какими побуждениями я был движим. Понимая, что это звучит нелепо, я наскоро и довольно сбивчиво объяснил: все вышло из-за солнца. В зале раздались смешки. Мой адвокат пожал плечами, и сейчас же ему дали слово. Но он заявил, что уже поздно, а для его речи понадобится не один час, и попросил отложить ее до вечернего заседания. Суд согласился.

После перерыва огромные вентиляторы все так же перемешивали застоявшийся воздух в зале суда и так же равномерно колыхались маленькие пестрые веера присяжных. Мне казалось, речи защитника не будет конца. В какую-то минуту я все-таки прислушался, потому что он сказал:

– Да, это правда, я убил.

И продолжал в том же духе – речь шла обо мне, а он всякий раз говорил «я». Меня это очень удивило. Я наклонился к жандарму и спросил, почему так. Он велел мне замолчать и через минуту прибавил:

– Адвокаты всегда так говорят.

Мне подумалось, таким образом меня еще больше отстраняют от дела, сводят к нулю и в некотором смысле подменяют. Но, видно, я был уже очень далек от всего, что происходило в этом зале. Да и защитник казался мне смешным. Он наспех упомянул, что я действовал по наущению и подстрекательству, а потом тоже стал рассуждать о моей душе. Но, по-моему, прокурор говорил куда талантливей.

– Я тоже всмотрелся в эту душу, – сказал защитник, – но в отличие от многоуважаемого представителя прокуратуры я там кое-что нашел и могу сказать, что читал в этой душе, как в открытой книге.

Он прочел, что я честный человек, прилежный и неутомимый труженик, верный интересам фирмы, в которой служил, любимый окружающими и отзывчивый к чужому горю. По его мнению, я был примерным сыном и оставался опорой матери до последней возможности, а в дом призрения отдал ее в надежде, что там она обретет покой и уют, какими я при своих скудных средствах не мог ее окружить.

– Меня удивляет, господа присяжные заседатели, – прибавил мой защитник, – что вокруг этого приюта для престарелых поднят такой шум. Ибо, если нужно доказывать полезность и великодушие подобных учреждений, напомню, что их содержит само государство.

Он только не сказал о похоронах, и я почувствовал, что это пробел в его речи. Но от всех этих длинных фраз, от нескончаемых часов, когда толковали о моей душе, все словно затопило мутной водой, и у меня стала кружиться голова.

Помню только, под конец, пока мой защитник все еще что-то говорил, откуда-то с улицы, через все коридоры и залы суда, до меня долетел звук рожка – это проходил со своей тележкой мороженщик. И нахлынули воспоминания о той жизни, которая больше мне не принадлежала и которая прежде приносила мне самые скудные и самые верные радости: запахи лета, любимые улицы, краски вечернего неба, смех Мари, ее платье. Мне стало тошно от бессмысленного, бесполезного торчания здесь, в этом зале, и хотелось только одного – поскорей бы все кончилось, поскорей бы вернуться в камеру и уснуть. Я едва слышал, как защитник в заключение воскликнул, что присяжные, конечно же, не захотят послать на смерть честного труженика, которого погубило кратковременное помрачение рассудка! Пусть примут они во внимание все смягчающие обстоятельства, ведь самой тяжкой карой для меня навек останутся угрызения совести. Суд удалился на совещание, а защитник, точно выбившись из сил, опустился на свое место. Но тут коллеги обступили его и начали жать ему руку.

– Великолепно, мой дорогой, – говорили ему.

А один даже призвал меня в свидетели.

– Каково? – сказал он мне.

Я согласился, что речь была великолепная, но не слишком искренне, потому что очень устал.

Между тем на улице день угасал, и в зале тоже стало не так жарко. По иным шумам, долетавшим снаружи, я догадывался, что вечер настает мягкий, прохладный. Все мы сидели и ждали. Но то, чего мы ждали все вместе, касалось одного меня. Я опять посмотрел в зал. Все осталось точно таким же, как в первый день. Я встретил взгляды репортера в сером пиджаке и женщины-автомата. И подумал, что за все время процесса ни разу не поискал глазами Мари. Не потому, что забыл о ней, а просто был слишком занят. Я увидел ее между Селестом и Раймоном. Она чуть кивнула мне, как будто говорила – наконец-то! – и улыбнулась, хотя была, видно, встревожена. Но у меня внутри все закаменело, и я даже не сумел улыбнуться в ответ.

Вернулись судьи. Присяжным наскоро зачитали ряд вопросов. До меня доносилось: «виновен в убийстве...», «подстрекательство...», «смягчающие обстоятельства...» Присяжные вышли, а меня увели в каморку, где я и раньше ожидал заседания. Туда пришел и защитник. Он болтал без умолку и говорил со мной так доверительно и дружелюбно, как никогда прежде. Он полагал, что все сойдет хорошо и я отделаюсь несколькими годами тюрьмы или каторги. Я спросил, есть ли надежда на пересмотр дела, если приговор будет неблагоприятный. Он сказал – нет. Его тактика заключалась в том, чтобы не подсказывать выводов: это лишь ожесточило бы присяжных. Приговор по такому делу, пояснил он, без серьезных оснований никто пересматривать не станет. Это мне показалось совершенно очевидным, и я с ним согласился. Если рассуждать трезво, это вполне разумно. Иначе развелось бы слишком много ненужной писанины.

– Во всяком случае, – сказал защитник, – можно подать просьбу о помиловании. Но убежден, исход будет благоприятный.

Мы ждали очень долго, наверно три четверти часа. Потом зазвенел звонок. Защитник направился к двери.

– Сейчас старшина присяжных зачитает ответы на вопросы, – сказал он мне, выходя. – Вас введут только тогда, когда объявят приговор.

Где-то захлопали двери. По лестницам – не знаю, далеко или рядом, – бежали люди. Потом в зале послышался глухой голос, он что-то читал. Опять прозвенел звонок, меня повели на скамью подсудимых, и навстречу из зала хлынула тишина – странная, небывалая тишина, и еще меня поразило, что молодой репортер отвел глаза. В сторону Мари я не посмотрел. Я не успел, потому что председатель в каких-то высокопарных выражениях сказал мне, что именем французского народа мне на площади прилюдно отрубят голову. И мне показалось: на всех лицах я читаю одно и то же чувство. Да, конечно, теперь все смотрели на меня с уважением. Жандармы стали очень милы. Адвокат

взял меня за руку. Я ни о чем больше не думал. Но председатель суда спросил, не хочу ли я еще что-нибудь прибавить. Я немного подумал. И сказал:

– Нет.

И тогда меня увели.

У

Уже третий раз я отказался принять тюремного священника. Мне нечего ему сказать, и нет охоты с ним говорить, скоро я и так его увижу. А сейчас меня занимает только одно: нельзя ли ускользнуть от этой машины, вырваться из неизбежности. Меня перевели в другую камеру. Отсюда, когда лежишь, видно небо – и ничего, кроме неба. Все дни напролет я смотрю, как на лице его понемногу блекнут краски, превращая день в ночь. Ложусь, закидываю руки за голову и жду. Уж не знаю, сколько раз я себя спрашивал, бывало ли, чтобы осужденные на смерть ускользали от беспощадного механизма, исчезали до казни, прорвались сквозь цепь охраны. Напрасно я раньше не слушал с должным вниманием рассказов о смертной казни. Такими вещами следует интересоваться. Ведь никогда не знаешь, что может случиться. Как и все, я читал газетные отчеты. Но, уж наверно, есть и специальные труды, а я ни разу не полюбопытствовал в них заглянуть. Быть может, там нашлись бы и рассказы о побегах. Может, я узнал бы, что хоть раз колесо остановилось на полпути, что хоть однажды случай и удача изменили что-то в неотвратимом ходе событий. Хоть однажды! В каком-то смысле, думаю, мне и этого было бы довольно. Сердце само довершило бы остальное. Газеты часто пишут: мол, общество предьявляет преступнику счет. И по счету, мол, надо платить. Но это ничего не говорит воображению. Важно другое – возможность ускользнуть, вырваться из рамок неумолимого обряда, безрассудный побег, открывающий столько надежд. В сущности, надеяться можно только на то, что тебя перехватят на перекрестке и забьют насмерть либо подстрелят на бегу. Но, если трезво все взвесить, мне такая роскошь недоступна, все обращается против меня, от этой машины не уйдешь.

При всем желании я не мог примириться с этой наглой очевидностью. Потому что был какой-то нелепый разрыв между приговором, который ее обусловил, и неотвратимым ее приближением с той минуты, когда приговор огласили. Его зачитали в восемь часов вечера, но могли зачитать и в пять, он мог быть другим, его вынесли люди, которые, как и все на свете, меняют белье, он провозглашен именем чего-то весьма расплывчатого – именем французского народа (а почему не китайского или немецкого?), – все это, казалось мне, делает подобное решение каким-то несерьезным. И, однако, я не мог не признать, что с той минуты, как оно было принято, его действие стало таким же осязаемым и несомненным, как стена, к которой я сейчас прижимался всем телом.

В эти часы я вспоминал одну историю, которую мама рассказывала мне об отце. Отца я не знал. Об этом человеке мне известно, пожалуй, только то, что рассказала тогда мама: однажды он пошел посмотреть на казнь убийцы. Ему тошно было даже думать о том, чтобы пойти туда. И все-таки он пошел, а когда вернулся, его чуть ли не все утро рвало. После этого рассказа мне как-то неприятно было думать об отце. А теперь я его понимаю, это так естественно. Как же я раньше не соображал, – нет на свете ничего важнее смертной казни, в известном смысле только она и заслуживает внимания! Если я когда-нибудь выйду из тюрьмы, всегда буду смотреть, как казнят. Впрочем, напрасно я об этом подумал. Потому что при одной мысли – вот я ранним утром окажусь за цепью охраны, вроде бы по другую сторону, буду просто зрителем, который придет, посмотрит, а потом его может выворачивать наизнанку, – при одной этой мысли к сердцу отравленной волной прилила радость. Нет, это неблагоразумно. Напрасно я позволил себе такие предположения, потому что меня тотчас обдало ледяным холодом, и я скорчился под одеялом. Я стучал зубами и никак не мог взять себя в руки.

Но, понятно, не всегда удается сохранять благоразумие. Иногда, например, я обдумывал новые законы. Я перестраивал систему наказаний. По-моему, самое важное – оставить осужденному хоть какую-то надежду. Пусть повезет одному из тысячи – этого

довольно. Можно, скажем, составить химическое снадобье, убивающее пациента (про себя я так и выражался: пациент) в девяти случаях из десяти. Одно условие – пусть пациент об этом знает. Потому что по зрелом размышлении, спокойно все обдумав и взвесив, я понял, чем плоха гильотина: она не оставляет ни тени надежды. Смерть пациента решена с первой минуты окончательно и бесповоротно. Тут все твердо, неизбежно, установлено раз и навсегда. И возврата быть не может. Если каким-то чудом нож заело, все начнут сначала. А потому – досадная нелепость! – осужденный сам вынужден желать, чтобы машина работала безотказно. Я сказал – это недостаток. В каком-то смысле так оно и есть. Но в другом смысле нельзя не признать, что тут-то и кроется секрет отлично налаженного дела. Осужденный волей-неволей оказывается заодно с теми, кто его казнит. В его же интересах, чтобы все шло без запинки.

И еще я не мог не признать, что прежде у меня были обо всем этом ложные понятия. Я долго думал, сам не зная почему, что гильотина стоит на эшафоте и к ней надо подниматься по ступенькам. Наверно, это из-за революции 1789 года, то есть так меня учили в школе и так рисуют на картинках. Но однажды утром я вспомнил фотографию, которую поместили газеты в связи с одной нашумевшей казнью. Никакого помоста нет, машина стоит просто-напросто на земле. И она совсем не такая широкая, как мне представлялось. Забавно, что я не знал этого раньше. Механизм на снимке поражал своей законченностью, словно блестящий, безукоризненно точный инструмент. Чего не знаешь, то всегда преувеличиваешь. А теперь, напротив, я убеждаюсь, что все очень просто: машина стоит на одной плоскости с идущим к ней человеком. К ней подходишь, как к знакомому на улице. В каком-то смысле это тоже досадно. Взойти на эшафот, подняться к небу – тут есть за что ухватиться воображению. А здесь все подавляет некая механика – убивают тихо и скромно, чуть пристыженно и очень аккуратно.

Еще две неотвязные мысли преследовали меня: рассвет и просьба о помиловании. Однако я сдерживал себя и старался про это не думать. Растягивался на койке, смотрел в небо и заставлял себя сосредоточиться. Небо стало зеленое – значит, уже вечереет. Я делал над собой еще усилие: надо думать о чем-то другом. Прислушивался к своему сердцу. Никак не удавалось представить себе, что этот стук, неразлучный со мною с незапамятных времен, вдруг оборвется. Я никогда не отличался живым воображением. И все же пробовал вообразить такую секунду, когда биение сердца уже не будет отдаваться в висках. Но зря я старался. Опять и опять на ум приходили рассвет или помилование. Под конец я решил – нет смысла себя принуждать.

Они приходят на рассвете, это я знал. И все ночи напролет только тем и занимался, что ждал рассвета. Не люблю, чтобы меня заставляли врасплох. Уж если что-то должно случиться, лучше я буду к этому готов. Так что под конец я только урывками спал днем, а ночами терпеливо ждал, пока в небе, как в окне, затеплится свет. Трудней всего давался тот смутный час, когда, как я знал, они обычно принимаются за работу. С полуночи я настораживался и ждал. Никогда прежде мое ухо не различало столько звуков – самых слабых, еле уловимых. Впрочем, мне, можно сказать, везло – за все время я ни разу не услышал шагов. Мама часто говорила, что человек никогда не бывает совершенно несчастен. В тюрьме, когда небо наливалось краской и в камеру проскальзывал свет нового дня, я понял – она была права. Ведь шаги могли бы и прозвучать, и тогда, пожалуй, у меня разорвалось бы сердце. Но хотя при малейшем шорохе меня кидало к двери и я прижимался ухом к толстым доскам и ждал долго, исступленно и под конец пугался своего же дыхания, такое оно было громкое, хриплое, точно у загнанного пса, – а все-таки вот и опять сердце не разорвалось, и я выиграл еще двадцать четыре часа.

А весь день на уме просьба о помиловании. Наверно, из этой мысли я извлек все, что только мог. Я ничего не упускал из виду, все до мелочей принимал в расчет, и мои рассуждения приносили отличные плоды. Для начала я всегда предполагал самое худшее: просьба о помиловании отвергнута. Так что же? Значит, я умру. Раньше, чем другие, разумеется. Но ведь всякий знает – жить не стоит труда. В сущности, я прекрасно

понимал, что умереть в тридцать лет или в семьдесят – невелика разница, все равно другие мужчины и женщины останутся жить после тебя, и так будет еще тысячи лет. Ясно и понятно, чего проще. Теперь или через двадцать лет – все равно я умру. Сейчас при этом рассуждении меня смущало одно: как подумаю, что можно бы прожить еще двадцать лет, внутри все так и вскинется. Оставалось глушить это чувство, внушать себе, что те же мысли одолевали бы меня и через двадцать лет, когда я все равно очутился бы в таком же положении. Ведь ясно и понятно: смерти не миновать, а когда и как умрешь – что за важность. Значит (трудней всего было не упустить нить рассуждений, которая вела к этому «значит»), – значит, надо примириться с тем, что мою просьбу могут отвергнуть.

Вот тут, только тут я, так сказать, получал право, я в какой-то мере позволял себе допустить другую возможность: меня помилуют. Досадно одно: приходилось обуздывать неистовый порыв крови и плоти, сумасбродную ослепляющую радость. Надо было старательно заглушать этот внутренний крик трезвыми рассуждениями. Надо было освоиться и с этой возможностью, чтобы вернее покориться той, первой. Когда мне это удавалось, я выигрывал час спокойствия. А это все же не пустяк.

Именно в такую минуту я еще раз отказался принять священника. Я лежал на койке и по тому, как бледнело летнее небо, угадывал приближение вечера. Только что я отклонил свою просьбу о помиловании и чувствовал, как спокойно течет кровь по жилам. Мне незачем было видеть священника. Впервые за много дней я подумал о Мари. Она уже давным-давно мне не писала. В тот вечер, поразмыслив, я сказал себе: может быть, ей надоело быть любовницей смертника. А могло случиться и другое – она заболела и умерла. Очень может быть. Откуда мне знать, что произошло, – ведь наши тела теперь врозь, а больше ничто нас не связывало и не напоминало друг о друге. Впрочем, если бы Мари умерла, я вспоминал бы о ней спокойно. Мертвая она бы меня ничуть не занимала. Это вполне естественно, и обо мне тоже, разумеется, забудут, как только я умру. Людям больше не будет до меня дела. Даже не могу сказать, чтобы это меня угнетало. В сущности, нет такой мысли, к которой человеку нельзя привыкнуть.

Вот тут-то и вошел священник. При виде его я слегка вздрогнул. Он это заметил и сказал – не надо бояться. Я сказал – обычно он приходит в другой час. Он ответил, что пришел просто по-дружески меня навестить, просьба о помиловании тут ни при чем, он про нее ничего не знает. Он присел на мою койку и предложил мне сесть рядом. Я отказался. Впрочем, лицо у него было очень доброе.

Некоторое время он сидел, понурясь, облокотясь на колени, и разглядывал свои руки. Они были тонкие и мускулистые, точно два проворных зверька. Он медленно потерял их. И застыл с опущенной головой, и не шевелился так долго, что я о нем чуть не забыл.

Но вдруг он вскинул голову и посмотрел на меня в упор.

– Почему вы всегда отказываетесь меня видеть?

Я ответил, что не верю в бога. Он спросил, вполне ли я в этом уверен, и я сказал – мне незачем себя проверять, ведь это совершенно неважно. Тогда он откинулся назад, прислонился к стене, опустив руки на колени. И словно про себя заметил, что иногда людям кажется, будто они в чем-то уверены, а на самом деле это не так. Я промолчал. Он посмотрел на меня и спросил:

– А как по-вашему?

Я сказал – всяко бывает. Может, я и не знаю наверняка, что меня по-настоящему занимает. Но уж что мне совсем неинтересно – это я знаю твердо. Так вот, то, о чем он говорит, меня ничуть не интересует.

Он отвел глаза и, не меняя позы, спросил – должно быть, я так говорю от крайнего отчаяния? Я объяснил, что вовсе не отчаиваюсь. Только боюсь – а это вполне естественно.

– Господь вам поможет, – заметил он. – В вашем положении все, кого я знал, обращались к господу.

Я сказал – что ж, это их право. Кроме того, очевидно, у них хватало на это времени. Ну а я не хочу, чтобы мне помогали, и у меня нет времени заниматься тем, что мне неинтересно.

Тут он было с досадой всплеснул руками, но сдержался и начал расправлять складки сутаны. Потом опять заговорил, называя меня «друг мой». Он, мол, так со мной говорит не потому, что я осужден на смерть, – ведь, в сущности, все мы осуждены на смерть. Я перебил его и сказал: это не одно и то же и, уж во всяком случае, это не утешает.

– Да, конечно, – согласился он. – Но если вы не умрете в скором времени, так умрете позже. И тогда перед вами встанет тот же самый вопрос. Как встретите вы это страшное испытание?

Я ответил:

– Точно так же, как встречаю сейчас.

Он поднялся и посмотрел мне прямо в глаза. Эта игра мне знакома. Я часто забавлялся ею с Эммануэлем и Селестом, и, как правило, первыми глаза отводили они. Я сразу же понял, что и священник тоже хорошо знает эту игру: его взгляд не дрогнул. И голос тоже не дрогнул, когда он сказал:

– Неужели у вас нет никакой надежды? Неужели вы живете с мыслью, что умрете совершенно и ничего от вас не останется?

– Да, – ответил я.

Он опустил голову и опять сел. И сказал, что ему меня жаль. Ему кажется – такое невозможно вынести человеку. А я чувствовал одно: он начинает мне надоедать. Я тоже отвернулся и подошел к окошку. И прислонился плечом к стене. Краем уха я слышал, что он опять задает мне вопросы. В голосе его звучала тревога и настойчивость. Я понял, что он взволнован, и стал слушать внимательней.

Он уверен, говорил он, что мою просьбу о помиловании удовлетворят, но на мне тяготеет грех – и от этого груза надо освободиться. У него выходило, что людской суд ничего не значит, важен только суд божий. Я сказал: меня–то осудили люди. Он возразил, однако этим не омыт мой грех. Я сказал: а мне неизвестно, что такое грех, мне объявили только, что я виновен. Я виновен и расплачиваюсь по счету, а больше с меня нечего спрашивать. Он снова поднялся, и я подумал – когда хочешь шевельнуться, в этой тесной камере нет выбора, только и можно встать или сесть.

Я смотрел в пол. Он шагнул ко мне и остановился, как будто не смел подойти ближе. Через решетку он посмотрел на небо.

– Вы заблуждаетесь, сын мой, – сказал он. – С вас могли бы спросить больше. А возможно, и спросят.

– Что спросят?

– Чтобы вы увидели.

– А что надо видеть?

Священник огляделся по сторонам, и голос его вдруг показался мне очень усталым:

– Я знаю, здесь каждый камень насквозь пропитан страданием. Не могу без скорби смотреть на эти стены. Но в глубине души знаю: самые несчастные из вас порой видели, как сквозь эти мрачные стены проступал божественный лик. Вот его–то вы и должны увидеть.

Я немного оживился. И сказал, что уже много месяцев смотрю на эти стены. Я их изучил, как ни одну стену и ни одного человека на свете. Может быть, когда–то я и старался увидеть на них лицо. Но в том лице горят краски солнца и пламя желания – это лицо Мари. И я искал его понапрасну. А теперь с этим покончено. Во всяком случае, ничего я не видел и ничего сквозь эти камни не проступает.

Кажется, он посмотрел на меня с грустью. Теперь я прислонился к стене спиной, свет падал мне на лоб. Священник сказал несколько слов, которых я не расслышал, потом торопливо спросил: можно ему меня обнять?

– Нет, – сказал я.

Он отвернулся, шагнул к стене и провел по ней ладонью.

– Неужели вам так дорого все земное? – тихо спросил он.

Я ничего не ответил.

Он довольно долго стоял отвернувшись. Меня это злило, он был мне в тягость. Я уже хотел сказать – пускай уйдет и оставит меня в покое, как вдруг он обернулся ко мне и закричал с жаром:

– Нет, я не могу вам поверить! Я убежден, вам тоже случилось желать иной жизни.

Я ответил, да, конечно, но это бессмысленно – все равно как если хочешь разбогатеть, или плавать быстрее всех, или чтобы у тебя рот стал красивый. Совершенно одно и то же – пустые мечты. Тут он меня перебил и спросил, а как я себе представляю ту, иную жизнь? И я закричал:

– Так, чтобы вспоминать вот эту жизнь, земную!

И сейчас же прибавил – хватит с меня, надоело! Он хотел еще говорить о боге, но я подступил к нему ближе и постарался в последний раз объяснить, что у меня осталось слишком мало времени. И я не желаю тратить его на бога. Он попробовал переменить разговор и спросил, почему я называю его «господин священник», а не «отец мой». Я вспылил и ответил, что он мне не отец: он заодно с теми, кто против меня.

– Нет, сын мой, – сказал он и положил руку мне на плечо. – Я с вами. Но вы не в силах это понять, потому что сердце ваше слепо. Я буду за вас молиться.

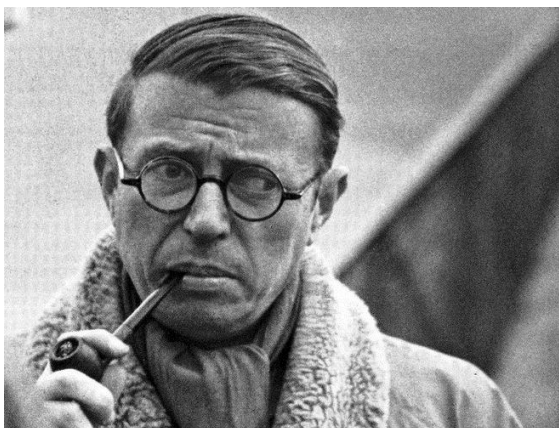
Тут, не знаю почему, во мне что-то прорвалось. Я стал орать во все горло и выругал его и сказал – нечего за меня молиться. Я схватил его за воротник сутаны. От гнева и радости меня била дрожь, и я излил на него все, что скопилось в душе, до самого дна. Он с виду такой уверенный и ни в чем не сомневается? Так вот, вся его уверенность не стоит единого женского волоска. Напрасно он уверен, что жив, ведь он живет как мертвец. Вот я с виду нищий и обездоленный. Но я уверен в себе и во всем, куда уверенней, чем он, я уверен, что жив и что скоро умру. Да, кроме этой уверенности, у меня ничего нет. Но по крайней мере этой истины у меня никто не отнимет. Как и меня у нее не отнять. Я прав и теперь и прежде, всегда был прав. Я жил вот так, а мог бы жить по-другому. Делал то и не делал этого. Поступил так, а не эдак. Ну и что? Как бы там ни было, а выходит – я всегда ждал вот этой минуты, этого рассвета, тут-то и подтвердится моя правота. Все – все равно, все не имеет значения, и я прекрасно знаю почему. И он тоже знает. На протяжении всей моей нелепой жизни, через еще не наступившие годы, из глубины будущего неслось мне навстречу сумрачное дуновение и равняло все на своем пути, и от этого все, что мне сулили и навязывали, становилось столь же призрачным, как те годы, что я прожил на самом деле. Что мне смерть других людей, любовь матери, что мне его бог, другие пути, которые можно бы предпочесть в жизни, другие судьбы, которые можно избрать, – ведь мне предназначена одна-единственная судьба, мне и еще миллиардам избранных, всем, кто, как и он, называют себя моими братьями. Понятно ли ему, понятно ли наконец? Все люди на свете – избранные. Других не существует. Рано или поздно всех осудят и приговорят. И его тоже. Не все ли равно, если обвиненного в убийстве казнят за то, что он не плакал на похоронах матери? Псу старика Саламано цена не больше и не меньше, чем его жене. Маленькая женщина-автомат столь же виновна, как парижанка, на которой женился Мэсон, и как Мари, которая хотела стать моей женой. Не все ли равно, если моим приятелем был и Раймон, а не только Селест, который куда лучше Раймона? И не все ли равно, если Мари сегодня подставит губы какому-нибудь другому Мерсо? Так понимает ли он, приговоренный, что из глубины моего будущего... Я выкрикивал все это и задыхался от крика. Но священника уже вырвали у меня из рук, и надзиратели накинулись на меня с угрозами. Однако он их успокоил и минуту молча смотрел на меня. В глазах у него стояли слезы. Он повернулся и исчез.

Как только он вышел, я успокоился. Почувствовал, что очень устал, и бросился на койку. Наверно, я уснул, потому что, когда очнулся, в лицо мне смотрели звезды. До меня доносились звуки с полей. Прохладный запах ночи, земли и моря освежал виски.

Чудесное спокойствие спящего лета вливалось в меня, как прибой. Вдруг где-то на краю ночи взвыли пароходные гудки. Они возвещали отплытия и разлуки миру, который стал мне навсегда безразличен. В первый раз за долгий-долгий срок я подумал о маме. Кажется, я понял, почему в конце жизни она нашла себе «жениха», почему затеяла эту игру, будто все начинается сначала. И там, вокруг дома призрения, где угасали человеческие жизни, там тоже вечер был как раздумчивое затишье. Перед самой смертью мама, должно быть, почувствовала себя освобожденной, готовой все пережить заново. Никто, никто не имел права ее оплакивать. Вот и я – я тоже готов все пережить заново. Как будто неистовый порыв гнева очистил меня от боли, избавил от надежды, и перед этой ночью, полной загадочных знаков и звезд, я впервые раскрываюсь навстречу тихому равнодушию мира. Он так на меня похож, он мне как брат, и от этого я чувствую – я был счастлив, я счастлив и сейчас. Чтобы все завершилось, чтобы не было мне так одиноко, остается только пожелать, чтобы в день моей казни собралось побольше зрителей – и пусть они встретят меня криками ненависти.

Вопросы и задания:

- 1) В чем можно усмотреть смысл жизни главного героя повести?
- 2) Почему он остается бесстрастным по отношению к своей жизни?
- 3) Не является ли бесстрастие главного героя показным?
- 4) В каком смысле Мерсо заслужил полученное им наказание за содеянное преступление?



Жан-Поль Сартр (21 июня 1905 – 15 апреля 1980) – французский философ, представитель атеистического экзистенциализма (в 1952–1954 годах Сартр склонялся к марксизму, впрочем, и до этого позиционировал себя как человек левого толка), писатель, драматург и эссеист, педагог. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1964 года, от которой отказался.

В пьесе «За закрытыми дверями» действуют три основных персонажа, которые попали в ад за свои земные проступки и теперь вынуждены оставаться взаперти одного номера втроем, со своими диаметрально противоположными характерами и сожалениями о своих деяниях. Ж.-П. Сартр представляет нам новый образ Ада, в котором мучителями для себя и других выступают сами люди.

2. Сартр Ж.-П. Тошнота. Рассказы. Пьесы. Слова: Сборник: Пер. с фр. / Сартр Жан-Поль; Сост. тома, вступ. ст. и примеч. Е.Д. Гальцовой; Оформ. А.А. Кудрявцева. – Издание осуществлено при поддержке Ин-та «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия. – М.: АСТ: Пушкинская библиотека, 2003. – 717 с.

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

Пьеса в одном акте

Посвящается “Той Даме”

Действующие лица

Инэс.

Эстель.

Гарсэн.

Мальчик–коридорный.

Сцена первая
Гарсэн, Коридорный

Гостиная в стиле II Империи. Бронзовая статуэтка на камине.

Гарсэн(*входит и оглядывается*). Ну вот.

Коридорный. Вот.

Гарсэн. Вот так–то...

Коридорный. Так–то.

Гарсэн. Я... я думаю, что со временем к этой обстановке можно привыкнуть.

Коридорный. Это зависит от человека.

Гарсэн. А что, все комнаты такие?

Коридорный. Ну что вы! У нас ведь и китайцы бывают, и индусы. Зачем им, по–вашему, кресло в стиле II Империи?

Гарсэн. А зачем оно мне? Знаете, кем я был? Да что уж там, это не имеет никакого значения. В общем–то, я всегда был окружен мебелью, которая мне не нравилась, и попадал в ложные положения; я это обожал. Ложное положение в гостиной стиля Луи–Филипп, как вам это понравится?

Коридорный. Вот увидите: в гостиной стиля II Империи тоже неплохо.

Гарсэн. А, ну–ну. (*Озирается*.) Все же я бы никогда не подумал... Вы, конечно, знаете, что там рассказывают?

Коридорный. О чем?

Гарсэн. Ну... (*делает неопределенный жест*) обо всем этом.

Коридорный. Как вы могли поверить этим глупостям? Это все люди, которые никогда носу сюда не показывали. Ведь если бы они сюда попали...

Гарсэн. Да.

Оба смеются.

Гарсэн(*внезапно посерьезнел*). А где же кол?

Коридорный. Что?

Гарсэн. Кол, жаровни, медные воронки?

Коридорный. Вы шутите?

Гарсэн(*смотрит на него*). А? Ну ладно... Нет, я не шучу. (*Обходит комнату*.) Ну конечно, ни зеркал, ни оконных стекол. Ничего быющего. (*С внезапным гневом*.) Почему у меня отняли зубную щетку?

Коридорный. Наконец–то. Наконец к вам вернулось чувство собственного достоинства. Здорово!

Гарсэн(*яростно стуча по подлокотнику кресла*). Прошу избавить меня от ваших фамильярностей. Я прекрасно понимаю свое положение, но я не намерен терпеть, чтобы вы...

Коридорный. Ах, простите. Что же делать – все об этом спрашивают. Как приходят, так сразу: “Где жаровни?” И в эту минуту, уверяю вас, они и не думают о том, чтобы привести себя в порядок. А потом, как только успокоются, сразу же вспоминают о зубной щетке. Ну, ради Бога, подумайте хорошенько, зачем вам здесь чистить зубы, скажите на милость?

Гарсэн(*успокоившись*). А и вправду, зачем? (*Осматривается*.) И зачем мне смотреть на себя в зеркало? Зато бронзовая статуэтка в нужную минуту... Думается, мне еще придется смотреть во все глаза. Во все глаза, верно? Да ладно уж, нечего скрывать: повторяю, что я не забываю о своем положении. Хотите, расскажу вам, как это происходит? Человек задыхается, погружается в воду, тонет, только взгляд его еще проникает через толщу воды, и что же он видит? Бронзовую фигурку. Вот кошмар! Да ведь вам, конечно, запретили мне отвечать, я не буду настаивать. Но имейте в виду, что меня не застали врасплох, не льстите себе надеждой, что вы меня удивили: я трезво

оцениваю свое положение. *(Снова ходит по комнате.)* Итак, зубной щетки не будет. И кровати тоже. Ведь здесь, конечно, не спят?

Коридорный. Черт!

Гарсэ. Готов поклясться, что я прав. Зачем же спать? Сон подкрадывается незаметно. Глаза постепенно слипаются, но зачем спать? Ложишься на диван и... р-раз! – сон отступает. Приходится протереть глаза, подняться и начать все сначала.

Коридорный. Ну и романтик же вы!

Гарсэ. Замолчите. Я не буду ни плакать, ни стонать, но я хочу смотреть правде в глаза. Я не хочу, чтобы она на меня навалилась сзади, а я не смог бы даже ее разглядеть. Романтик? Ну, если уж и сон ни к чему... Зачем спать, когда сон не приходит? Отлично. Погодите: почему так тяжело? Почему всегда тяжело? Знаю: потому что это жизнь без просветов.

Коридорный. Каких просветов?

Гарсэ*(передразнивая его)*. “Каких просветов”? *(Подозрительно.)* Посмотрите на меня. Так я и думал! Вот в чем причина невыносимой и грубой назойливости вашего взгляда. Вот те на – да они атрофированы!

Коридорный. Да о чем вы?

Гарсэ. О ваших веках. Мы, мы моргаем. Мигнули, и все: маленькая черная вспышка, занавес падает и подымается вновь: вот и просвет! Глаза увлажняются, мир исчезает. Вы не можете себе представить, как это успокаивало. Четыре тысячи просветов в час. Четыре тысячи маленьких побегов. А когда я говорю четыре тысячи... Ну так как же? Я буду жить без век? Не притворяйтесь дураком. Без век, без сна – это одно и то же. Я больше не буду спать. Но как же я смогу выносить самого себя? Постарайтесь понять, сделайте усилие: у меня задиристый характер, и я привык... привык сам себя поддразнивать. Но не могу же я непрерывно сам себя задирать: там были ночи. И я спал. Спал спокойным сном. Чтобы наверстать. И видел простые сны. Например, прерию... Прерию, и все. Мне снилось, что я по ней гуляю. Сейчас день?

Коридорный. Вы сами видите, что светло.

Гарсэ. Черт побери. Это у вас день. А снаружи?

Коридорный*(оторопело)*. Снаружи?

Гарсэ. Да, снаружи. По другую сторону этих стен.

Коридорный. Там коридор.

Гарсэ. А в конце коридора?

Коридорный. Другие комнаты, и коридоры, и лестницы.

Гарсэ. А дальше?

Коридорный. Это все.

Гарсэ. У вас, конечно, бывают выходные. Куда вы ходите?

Коридорный. К моему дяде, старшему коридорному, на третий этаж.

Гарсэ. Как же я не догадался... Где выключатель?

Коридорный. Его здесь нет.

Гарсэ. Значит, свет погасить нельзя?

Коридорный. Дирекция может вырубить электричество. Но я что-то не помню, чтобы на этом этаже такое случалось. Электричества у нас сколько угодно.

Гарсэ. Прекрасно. Значит, придется жить с открытыми глазами...

Коридорный*(иронически)*. Жить...

Гарсэ. Не придирайтесь к слову. С открытыми глазами. Всегда. Всегда в моих глазах будет день. И в моей голове тоже. *(Пауза.)* А если я швырну статуэтку в люстру, она погаснет?

Коридорный. Статуэтка слишком тяжелая.

Гарсэ*(пытается приподнять статуэтку)*. Вы правы. Она слишком тяжелая.

Пауза.

Коридорный. Я пойду, если я вам больше не нужен.

Гарсэн(вздрыгнув). Вы уходите? До свиданья.

Коридорный идет к двери.

Минутку.

Коридорный оборачивается.

Это звонок?

Коридорный кивает.

Я могу вам позвонить, если захочу, и вы будете обязаны придти?

Коридорный. Вообще–то, да. Но он барахлит. Там что–то сломалось.

Гарсэн(нажимает на кнопку, раздается звонок.)

Он работает?!

Коридорный. Работает! (*Звонит.*) Лучше не надейтесь, это ненадолго. Всегда к вашим услугам.

Гарсэн(делает жест, чтобы задержать его). Я...

Коридорный. А?

Гарсэн. Нет, ничего. (*Идет к камину и берет нож для разрезания бумаги.*) Это что такое?

Коридорный. Вы же видите – нож для разрезания бумаги.

Гарсэн. Здесь есть книги?

Коридорный. Нет.

Гарсэн. Тогда для чего он нужен?

Коридорный пожимает плечами.

Ладно. Уходите.

Коридорный уходит.

Сцена вторая

Гарсэн один.

Подходит к статуэтке и гладит ее.

Садится, встает. Нажимает на кнопку. Звонка нет. Делает еще две–три попытки. Все напрасно. Идет к двери и пытается ее открыть. не поддается. Зовет.

Гарсэн. Коридорный! Коридорный!

Ответа нет. Стучит в дверь, зовет коридорного. Внезапно успокаивается и садится на прежнее место. В этот момент дверь открывается и входит Инэс в сопровождении Коридорного.

Сцена третья

Гарсэн, Инэс, Коридорный

Коридорный(Гарсэну). Вы меня звали?

Гарсэн собирается ответить, но его взгляд падает на Инэс.

Гарсэн. Нет.

Коридорный(повернувшись к Инэс). Вот вы и у себя, мадам.

Инэс молчит.

Если у вас есть вопросы...

Инэс продолжает молчать.

Коридорный(разочарованно). Обычно клиенты любят наводить справки... Но я не настаиваю. К тому же, насчет зубной щетки, звонка и бронзовой статуэтки господин объяснит вам не хуже меня.

Коридорный уходит. Молчание. Гарсэн не смотрит на Инэс. Инэс осматривается, потом порывисто направляется к Гарсэну.

Инэс. Где Флоранс?

Гарсэн не отвечает.

Я вас спрашиваю, где Флоранс?

Гарсэн. Я ничего не знаю.

Инэс. Это все, что вам пришло в голову? Пытка отсутствием? Ну, так у вас ничего не вышло. Флоранс – дурочка, и я нисколько о ней не жалею.

Гарсэн. Простите, за кого вы меня принимаете?

Инэс. Вас? Вы палач.

Гарсэн*(вздрагивает, потом искусственно смеется)*. Вот нелепость! Вы правда приняли меня за палача? Вы вошли, посмотрели на меня и решили: это палач. Какая чепуха! Коридорный – растяпа, он должен был представить нас друг другу. Палач! Я Жозеф Гарсэн, публицист и писатель. Дело просто в том, что нас поселили вместе. Мадам...

Инэс*(сухо)*. Инэс Серано. Мадемуазель.

Гарсэн. Отлично. Прекрасно. В общем, лед тронулся. Вам показалось, что я смахиваю на палача? А по какому признаку, скажите на милость, распознают палачей?

Инэс. У них испуганный вид.

Гарсэн. Испуганный? Это забавно. А кого же они боятся? Неужели своих жертв?

Пауза.

Инэс. Как? Я знаю, что говорю. Я посмотрела на себя в зеркало.

Гарсэн. В зеркало? *(Осматривается.)* Это невыносимо: здесь нет ничего похожего на зеркало. *(Пауза.)* Во всяком случае, будьте уверены, я не боюсь. Я прекрасно осознаю тяжесть своего положения и отношусь к нему со всей серьезностью. Но я не боюсь.

Инэс*(пожимая плечами)*. Это ваше дело. *(Пауза.)* Вам случается выходить отсюда и прогуливаться?

Гарсэн. Дверь заперта.

Пауза.

Инэс. Тем хуже.

Гарсэн. Отлично понимаю, что мое присутствие вас стесняет. Я, в свою очередь, тоже предпочел бы остаться один: мне нужно собраться и как-нибудь организовать свою жизнь. Но я уверен, что мы сможем приспособиться друг к другу: я молчалив, спокоен и шуму от меня немного. Только позвольте мне предложить вам следующее: нам нужно сохранять крайнюю вежливость по отношению друг к другу. Это будет лучшим способом защиты.

Инэс. Я невежлива.

Пауза.

Гарсэн. Тогда я буду вежлив за двоих.

Молчание. Гарсэн сидит на диване. Инэс ходит по комнате.

Инэс*(смотря на него)*. Ваши губы.

Гарсэн. Что-что?

Инэс. Вы не можете перестать шевелить губами? Они дергаются как заводной волчок.

Гарсэн. Прошу прощения, я не обратил внимания...

Инэс. В том-то и дело.

Тик у Гарсэна продолжается.

Опять! Вы собрались быть вежливым и не обращаете никакого внимания на свое лицо. Вы здесь не один и не имеете никакого права навязывать мне проявления вашего страха.

Гарсэн поднимается и идет к ней.

Гарсэн. Вы не боитесь?

Инэс. А чего мне бояться? Страх годился в прошлом, когда у нас была надежда.

Гарсэн*(мягко)*. Надежды больше нет, но мы еще в прошлом. Мы пока не начали страдать, мадемуазель.

Инэс. Знаю *(Пауза.)* Ну, а дальше? Кто еще придет?

Гарсэн. Не знаю. Я жду.

Молчание. Гарсэн вновь садится. Инэс продолжает ходить. Губы Гарсэна все еще дергаются, но, взглянув на Инэс, он закрывает лицо руками. Входят Эстель и Коридорный.

Сцена четвертая

Инэс, Гарсэн, Эстель и Коридорный.

Эстель смотрит на Гарсэна, который не поднимает головы.

Эстель*(Гарсэну).* Нет! Нет–нет, не поднимай головы. Я знаю, что ты закрываешь руками, я знаю, что у тебя больше нет лица.

Гарсэн убирает руки.

Ах *(Пауза. С удивлением.)* Я вас не знаю.

Гарсэн. Я не палач, мадам.

Эстель. Я и не думала, что вы палач. Я... я думала, что кто–то хочет подшутить надо мной. *(Коридорному.)* Чего вы ждете!

Коридорный. Больше никто не придет.

Эстель*(с облегчением).* Значит, мы останемся втроем: месье, мадам и я? *(Смеется.)*

Гарсэн*(сухо).* Не вижу, чего тут смешного.

Эстель*(продолжая смеяться).* Эти диваны такие уродливые. Поглядите, как они расставлены, – мне кажется, будто сейчас Новый год и я пришла навестить тетушку Мари. Вероятно, каждый предназначен для одного из нас? Вот этот мой? *(Коридорному.)* Но он мне не подходит, это ужасно: я в бледно-голубом, а диван ядовито–зеленый.

Инэс. Хотите, поменяемся?

Эстель. Бордо? Вы очень любезны, но тот ничуть не лучше. Ладно уж, мне достался зеленый, пусть так и будет. *(Пауза.)* Единственный, который бы мне подошел, принадлежит этому господину.

Молчание.

Инэс. Слышите, Гарсэн?

Гарсэн*(вздрагивая).* Диван? О, извините. *(Встает.)* Прошу вас, мадам.

Эстель. Благодарю. *(Снимает пальто и садится на диван. Пауза.)* Давайте познакомимся, раз уж нам придется жить вместе. Меня зовут Эстель Риго.

Гарсэн кланяется и собирается назвать свое имя, но Инэс его опережает.

Инэс. Инэс Серано. Я очень рада.

Гарсэн снова кланяется.

Гарсэн. Жозеф Гарсэн.

Коридорный. Я вам еще нужен?

Эстель. Нет, вы свободны. Я вас позову.

Коридорный кланяется и уходит.

Сцена пятая

Инэс, Гарсэн, Эстель.

Инэс. Какая вы красивая. Жаль, у меня нет цветов, чтобы подарить их вам в знак приветствия.

Эстель. Цветы? Да, я очень любила цветы. Но здесь бы они завяли – слишком жарко.

Ведь главное – это сохранять хорошее настроение, правда? Вы когда?..

Инэс. Я? На прошлой неделе. А вы?

Эстель. Я? Вчера. Церемония еще не закончилась. *(Говорит естественным тоном, так, как будто что–то описывает.)* Ветер треплет вуаль мое! сестры. Она изо всех сил старается заплакать. Ну же, ну постарайся еще. Наконец–то Две слезинки блестят из–под

вуали. Ольга Жардэ не в лучшем виде сегодня. Она под держивает сестру под руку. Она не плачет чтобы глаза не потекли, а я бы на ее месте.. Это была моя лучшая подруга.

Инэс. Вы очень мучались?

Эстель. Нет. Скорее, очень устала.

Инэс. От чего?..

Эстель. От пневмонии. Ну, вот и все, они уходят. До свиданья, до свиданья. Сколько рукопожатий! Мой муж болен от огорчения, он остался дома. *(К Инэс.)* А вы от чего?..

Инэс. От газа.

Эстель. А вы, сударь?

Гарсэн. От двенадцати пуль. *(Жест к Эстель.)* Извините, я не подхожу для компании порядочных покойников.

Эстель. О, сударь, не могли бы вы избегать этого ужасного слова. Оно... оно действует на нервы. И вообще, что оно означает? Может, мы никогда не чувствовали себя такими живыми. Если уж так необходимо называть как-нибудь это... это состояние, я предлагаю звать нас "отсутствующими". Это звучит мягче. Сколько времени вы отсутствуете?

Гарсэн. Примерно месяц.

Эстель. Вы откуда?

Гарсэн. Из Рио.

Эстель. Я из Парижа. У вас кто-нибудь остался там?

Гарсэн. Жена. *(Говорит тем же тоном, что и Эстель.)* Она пришла в казарму, как обычно; ее не впустили. Она смотрит сквозь прутья решетки. Она еще не знает, что я отсутствую, но уже догадывается. Теперь уходит. Она одета во все черное. Тем лучше, ей не придется переодеваться. Она не плачет: никогда она не плакала. Ласково светит солнце, а она одна, вся в черном, на пустой улице, и у нее глаза жертвы. Ах, как она меня раздражает!

Молчание. Гарсэн садится на средний диван и закрывает лицо руками.

Инэс. Эстель!

Эстель. Господин Гарсэн!

Гарсэн. Что вам угодно?

Эстель. Вы сели на мой диван.

Гарсэн. Простите. *(Встает.)*

Эстель. У вас такой отсутствующий вид.

Гарсэн. Я привожу в порядок мою жизнь.

Инэс смеется.

Тот, кто смеется, мог бы последовать моему примеру.

Инэс. Моя жизнь в порядке. В полном порядке. Она сама пришла в порядок еще там, и мне не нужно ею заниматься.

Гарсэн. Правда? Вы думаете, это так просто? *(Проводит рукой по лбу.)* Как жарко! Вы позволите? *(Начинает снимать пиджак.)*

Эстель. Ах, нет! *(Мягче.)* Нет. Ненавижу мужчин без пиджака.

Гарсэн*(вновь надевает пиджак).* Ладно. *(Пауза.)* Я часто оставался на ночь в редакции. Там всегда была адская жара. *(Пауза. Опять вспоминает.)* И здесь адская жара. Сейчас ночь?

Эстель. Да, уже ночь. Ольга раздевается. Как быстро идет время на земле.

Инэс. Сейчас ночь. Они запечатали дверь моей комнаты. И комната пустая в темноте.

Гарсэн. Они повесили пиджаки на спинки стульев и засучили рукава рубашек выше локтя. Пахнет людьми и сигарами. *(Молчание.)* Мне нравилось быть среди мужчин без пиджаков.

Эстель*(сухо).* Значит, у нас разные вкусы. *(К Инэс.)* А вам нравятся мужчины без пиджаков?

Инэс. В пиджаках или без, я вообще не выношу мужчин.

Эстель(*смотрит на обоих с удивлением*). Но почему же, почему нас поселили вместе?

Инэс(*с подавленной яростью*). Вы о чем?

Эстель. Я смотрю на вас обоих и думаю о том, что мы будем жить вместе. Я—то думала, что увижу здесь друзей и родственников.

Инэс. Милого дружка с дырой в голове.

Эстель. И его тоже. Он танцевал танго как профессионал. Но нас—то зачем собрали вместе?

Гарсэп. Это случайность. Они поселяют людей куда придется, по мере поступления. (*К Инэс.*) Почему вы смеетесь?

Инэс. Мне смешно слушать ваши рассуждения о случайности. Неужели вам так нужно во всем удостовериться? Они не допускают никаких случайностей.

Эстель(*робко*). Может, мы раньше встречались?

Инэс. Нет, никогда. Я бы вас запомнила.

Эстель. Или, может быть, у нас есть общие знакомые? Вы знаете Дюбуа—Сеймуров?

Инэс. Не думаю.

Эстель. У них все бывают.

Инэс. Чем они занимаются?

Эстель(*удивленно*). Ничем. У них замок в Коррезе и...

Инэс. Я работала на почте.

Эстель(*отступает немного*). Правда? (*Пауза.*) А вы, господин Гарсэп?

Гарсэп. Я никогда не выезжал из Рио.

Эстель. Тогда вы правы — нас соединил случай.

Инэс. Случай? Тогда и эта мебель оказалась здесь случайно. И случайно диван справа ядовито—зеленый, а диван слева бордо. Случайность, да? Тогда поменяйте их местами и посмотрим, изменится ли что—нибудь. А бронзовая статуэтка — это тоже случайность? А жара? Эта жара?! (*Молчание.*) Уверяю вас, все подстроено. Все до малейших деталей, очень тщательно. Эта комната нас ждала.

Эстель. Как же такое может быть? Все здесь уродливое, жесткое, угловатое. Я ненавидела углы.

Инэс(*пожимая плечами*). Не думаете ли вы, что я жила в гостиной стиля II Империи?

Пауза.

Эстель. Так все предусмотрено?

Инэс. Все. И мы специально подобраны.

Эстель. И это не случайность, что я оказалась вместе с вами? (*Пауза.*) Чего они ждут?

Инэс. Не знаю чего, но чего—то ждут.

Эстель. Не терплю, когда от меня чего—то ждут. У меня сразу же появляется желание сделать все наоборот.

Инэс. Ну и сделайте! Что же вы? Вы даже не знаете, чего они хотят.

Эстель(*топая ногами*). Это невыносимо! И этого “чего—то” я должна ждать от вас? (*Смотрит на них.*) От каждого из вас. Бывало, я сразу читала по лицам. А ваши лица ничего мне не говорят.

Гарсэп(*порывисто, обращаясь к Инэс*). Так почему же мы вместе? Вы сказали слишком много, договаривайте.

Инэс(*удивленно*). Но я абсолютно ничего не знаю.

Гарсэп. Нужно знать. (*Недолго размышляет.*)

Инэс. Если бы у нас хватило храбрости рассказать...

Гарсэп. Что?

Инэс. Эстель!

Эстель. Ну что?

Инэс. Что вы сделали? Почему вас отправили сюда?

Эстель(живо). Но я не знаю, я не знаю ничего. Не исключено, что это ошибка. *(К Инэс.)* Не смейтесь. Подумайте, сколько народу каждый день... становятся отсутствующими. Они прибывают сюда тысячами и имеют дело только с подчиненными, с чиновниками безо всякого образования. Как же избежать ошибок! Не смейтесь. *(Гарсэну.)* Скажите что-нибудь. Если они ошиблись в моем случае, могли же ошибиться и в вашем. *(К Инэс.)* И в вашем тоже. Разве не лучше думать, что мы все попали сюда по ошибке?

Инэс. Это все, что вы хотели сказать?

Эстель. А что вам еще нужно? Мне нечего скрывать. Я была бедной сиротой, воспитывала младшего брата. Старый друг моего отца сделал мне предложение. Он был богатый и добрый, я согласилась. Что бы вы сделали на моем месте? Мой брат был болен и за ним был нужен постоянный уход. Я прожила с мужем шесть лет, ни разу не поссорившись. Два года тому назад я встретила того, кого должна была полюбить. Мы узнали друг друга с первого взгляда. Он хотел, чтобы я уехала вместе с ним, но я отказалась. После этого я заболела пневмонией. Вот и все. Наверное, можно во имя каких-то принципов упрекнуть меня в том, что я пожертвовала своей молодостью ради старика. *(Гарсэну.)* Вы считаете это ошибкой?

Гарсэн. Нет, конечно. *(Пауза.)* А вам кажется, что жить согласно своим принципам – это ошибка?

Эстель. Кто может нас упрекнуть в этом?

Гарсэн. Я издавал пацифистский журнал. Началась война. Что делать? Все ждали от меня действий. “Осмелится ли он?” Я осмелился. Скрестил руки на груди и меня расстреляли. В чем ошибка? В чем же ошибка?

Эстель(кладет руку ему на плечо). Там не было ошибки. Вы...

Инэс(продолжает с иронией).... герой. А ваша жена, Гарсэн?

Гарсэн. Что жена? Я вытащил ее из ручья.

Эстель(к Инэс). Вот видите!

Инэс. Вижу. *(Пауза.)* Для кого вы ломаете комедию? Здесь все свои.

Эстель(надменно). Свои?

Инэс. Да, мы все убийцы. Мы в аду, детка, ошибок здесь не бывает и людей не осуждают на муки ни за что ни про что.

Эстель. Замолчите.

Инэс. В аду! Прокляты, прокляты!

Эстель. Замолчите. Можете вы замолчать?! Я вам запрещаю ругаться.

Инэс. Проклята, маленькая святоша. Проклят, безупречный герой. У нас были счастливые мгновения, не правда ли? Люди страдали из-за нас до самой нашей смерти, и нам это нравилось. А сейчас надо расплачиваться.

Гарсэн(замахнувшись). Да замолчите же!

Инэс(смотрит на него без страха, но с глубоким удивлением). Ха! *(Пауза.)* Погодите! Я поняла, я знаю теперь, почему нас собрали вместе.

Гарсэн. Подумайте, прежде чем говорить.

Инэс. Смотрите, как просто. Просто, как дважды два. Физической пытки нет, а все-таки мы в аду. И никто больше не придет. Никто. Мы навсегда останемся здесь, все вместе, одни. Так? Здесь не хватает только палача.

Гарсэн(вполголоса). Да, это так.

Инэс. Они просто экономят на обслуживающем персонале. Вот и все. Как в столовых самообслуживания – клиенты все делают сами.

Эстель. Что вы имеете в виду?

Инэс. Каждый из нас будет палачом для двоих других. *(Пауза, раздумье.)*

Гарсэн(*мягко*). Я не хочу быть вашим палачом. Я не желаю вам ничего дурного и мне до вас совсем нет дела. Все очень просто. Давайте договоримся: каждый будет в своем углу. Вы здесь, вы там, а я тут. И давайте молчать: ни слова, ладно? Это не так уж сложно. У каждого из нас есть свои мысли. Что до меня, я могу десять тысяч лет не разговаривать.

Эстель. Я должна молчать?

Гарсэн. Да. И тогда мы спасены. Молчать, самоуглубляться, никогда не поднимать головы. Договорились?

Инэс. Договорились.

Эстель(*неуверенно*). Договорились.

Гарсэн. Тогда прощайте.

Гарсэн идет к своему дивану и закрывает лицо руками.

Молчание.

Инэс тихонько поет:

Инэс.

В переулке Блан–Марто

Кто–то спрятал звук в ведро,

Крепко сбил помост – и что?

Эшафот готов давно

В переулке Блан–Марто.

В переулке Блан–Марто

Утром встал палач легко.

Дел по горло у него –

Не жалеет никого.

Бьет того, казнит сего

В переулке Блан–Марто.

В переулке Блан–Марто

Вышли дамы “комильфо”

В безделушках и манто,

И не мог понять никто,

Что же вдруг произошло:

Голова пошла на дно

В ручейке у Блан–Марто.

Пока Инэс поет, Эстель пудрится и красит губы. Беспокойно осматривается, ища зеркало. Роемся в сумочке, потом поворачивается к Гарсэну.

Эстель. Сударь, у вас нет зеркальца?

Гарсэн не отвечает.

Хотя бы карманного зеркальца?

(Гарсэн не отвечает.)

Если вы оставляете меня в одиночестве, то хотя бы найдите мне зеркальце.

Гарсэн все не отвечает.

Инэс(*с готовностью*). У меня в сумке есть зеркальце. *(Роемся в сумке. С досадой.)* Нет больше зеркальца. Отобрали в канцелярии.

Эстель. Как мне все это надоело!

Пауза. Она закрывает глаза и шатается. Инэс подбегает и поддерживает ее.

Инэс. Что с вами?

Эстель(*открывает глаза и улыбается*). У меня странное чувство. *(Ощупывает себя.)* С вами такого не бывает? Прикасаешься к себе, но напрасно: кажется, будто тебя нет.

Инэс. Вам повезло. Я всегда ощущаю свое нутро.

Эстель. Ах да, свое нутро... Но это расплывчато и непонятно. *(Пауза.)* В моей спальне шесть зеркал. Я их вижу, вижу их. Но я в них не отражаюсь. В них отражается

кушетка, ковер, окно... Какое оно пустое, зеркало, в котором тебя нет. Когда я разговаривала с кемнибудь, я садилась так, чтобы смотреться в одно из них. Я разговаривала и видела, как я разговариваю. Я видела себя глазами других, и это меня развлекало. *(Безнадежно.)* Моя губная помада! Я, наверное, накрасилась криво. Не могу же я вечно обходиться без зеркала!

Инэс. Хотите, я буду вашим зеркалом? Я вас приглашаю к себе. Садитесь на мой диван.

Эстель*(указывая на Гарсэна)*. Но... **Инэс.** Давайте не будем обращать на него внимания.

Эстель. Нам же будет хуже – вы сами это сказали.

Инэс. Неужели вы думаете, что я желаю вам зла?

Эстель. Кто знает...

Инэс. Это ты принесешь мне зло. Ну и пусть. Если все равно надо страдать, то пусть ты будешь причиной. Садись. Ближе. Еще ближе. Посмотри мне в глаза: ты видишь себя?

Эстель. Я совсем маленькая. Еле себя вижу.

Инэс. Тебя вижу я. Всю целиком. Задавай мне вопросы. Я буду вернее любого зеркала.

Эстель, смущенная, поворачивается к Гарсэну, как бы прося помощи.

Эстель. Сударь! Мы вам не мешаем своей болтовней?

Гарсэн не отвечает.

Инэс. Оставь его в покое. Представь, что его больше нет, что мы одни. Спрашивай.

Эстель. Я правильно накрасила губы?

Инэс. Погоди... Не совсем правильно.

Эстель. Так я и знала. Слава богу, никто... *(бросает взгляд на Гарсэна)*... никто меня не видел. Я еще раз накрашусь.

Инэс. Теперь лучше. Нет. Обведи контур губ. Смотри на меня. Так, так. Правильно.

Эстель. Так же хорошо, как было, когда я вошла?

Инэс. Лучше: ярче и грубее. Адские губы получились.

Эстель. Гм! Мне это идет? Как жаль, что я не могу посмотреть. Дайте мне слово, что это красиво.

Инэс. Ты не хочешь, чтобы мы были на ты?

Эстель. Дай мне слово, что это красиво.

Инэс. Ты красивая.

Эстель. А у вас есть вкус? У вас такой же вкус, как у меня? Как все это глупо...

Инэс. У меня такой же вкус, как у тебя, потому что ты мне нравишься. Посмотри на меня хорошенько. Улыбнись. Я ведь тоже не уродина. Разве я не лучше зеркала?

Эстель. Мне трудно называть на ты женщину.

Инэс. И особенно почтового работника, как мне кажется. Что у тебя на щеке? Какого красного пятна?

Эстель. Красное пятно? Какой ужас! Где?

Инэс. Ага! Я зеркало для жаворонков: мой маленький жаворонок, я тебя поймала! Нет никакой красноты. Ни малейшей. А что, если зеркало принялось бы врать? Или если бы я закрыла глаза и отказалась на тебя смотреть: что бы ты делала со своей красотой? Не бойся: нужно, чтобы я на тебя смотрела широко раскрытыми глазами. И я буду очень послушной. Но ты будешь называть меня на ты.

Пауза.

Эстель. Я тебе нравлюсь?

Инэс. Очень!

Пауза.

Эстель*(кивая в сторону Гарсэна)*. Я хочу, чтобы он тоже на меня посмотрел.

Инэс. Ну да, потому что он мужчина. *(Гарсэну.)* Вы победили.

Гарсэн не отвечает.

Посмотрите же на нее.

Гарсэн молчит.

Не валяйте дурака: вы не пропустили ни одного слова из того, что было сказано.

Гарсэн (*внезапно поднимая голову*). Да уж конечно, ни одного слова: я напрасно затыкал уши, ваша болтовня оставалась у меня в голове. Оставьте меня, наконец, в покое. Мне до вас нет дела.

Инэс. Вам и до красотки дела нет? Я разгадала ваш маневр: важничаете, чтобы привлечь ее внимание.

Гарсэн. Я же вас просил оставить меня в покое. В редакции говорят обо мне, и я хочу послушать. А ваша красотка, имейте в виду, меня нисколько не интересует.

Эстель. Спасибо.

Гарсэн. Я не хотел вас обидеть...

Эстель. Невежа!

Пауза. Они стоят друг против друга.

Гарсэн. Ну вот что! (*Пауза.*) Я же просил вас замолчать.

Эстель. Это она начала. Я у нее ничего не просила, а она привязалась ко мне со своим зеркалом.

Инэс. Да, ты ничего не просила. Только навязывалась ему и кривлялась, чтобы он на тебя посмотрел.

Эстель. Ну и что?

Гарсэн. Вы с ума сошли? Так мы бог знает до чего договоримся. Замолчите наконец. (*Пауза.*) Давайте спокойно рассядемся, закроем глаза и постараемся забыть о присутствии остальных.

Пауза. Он садится. Остальные неуверенно направляются к своим местам. Инэс внезапно оборачивается.

Инэс. Забыть?! Какое ребячество! Я вас чувствую в себе. Ваше молчание как крик раздражает мне уши. Вы можете заткнуть себе рот, можете отрезать язык, разве это помешает вам существовать? Остановите вашу мысль? Я ее слышу, она тикает как будильник, и я знаю, что мою вы тоже слышите. Напрасно вы замерли на своем диване, вы – всюду; даже звуки доходят до меня нечистыми, потому что и вы их слышите. Даже мое лицо вы у меня украли: вы видите его, а я нет. А она? И ее вы украли у меня: если бы мы были наедине, разве бы она осмелилась так со мной обращаться? Ну нет! Уберите руки от лица, я вас не оставлю в покое, не мечтайте. Вы останетесь здесь, бесчувственный, погруженный в себя, как Будда, а я, несмотря на закрытые глаза, буду чувствовать, что она обращает к вам малейшие звуки, даже шорох платья, и посылает вам улыбки, которых вы не видите... Ну уж нет! Я вольна выбирать себе свой ад: я буду смотреть на вас во все глаза и бороться с открытым забралом.

Гарсэн. Хорошо. Я так и думал, что мы этим кончим. Они провели нас как детей. Если бы меня поселили с мужчинами... мужчины умеют молчать. Но к чему требовать слишком многого? (*Идет к Эстель и берет ее за подбородок.*) Ну как, крошка, я тебе нравлюсь? Говорят, ты строила мне глазки?

Эстель. Не прикасайтесь ко мне.

Гарсэн. Ба! Поставим все на свои места. Я очень любил женщин, знаешь. И они меня очень любили. Подумай, нам ведь нечего больше терять. К чему эти условности? К чему церемонии? Здесь все свои. Скоро мы будем голыми, как черви.

Эстель. Оставьте меня.

Гарсэн. Как черви! А я вас предупреждал. Я у вас ничего не просил, ничего, кроме мира и молчания. Я заткнул уши. Гомес говорил, стоя посреди редакции, и все мои приятели–журналисты слушали. Они были без пиджаков. Я хотел разобрать, о чем они говорят, это было непросто: земные события развиваются так быстро. Вы не могли помолчать? Теперь все кончено, он больше не говорит: все, что он обо мне думал,

осталось при нем. Так вот, нам нужно идти до конца. Голые, как черви: я хочу знать, с кем имею дело.

Инэс. Вы это знаете, Гарсэн. Теперь знаете.

Гарсэн. Пока каждый из нас не признается, за что осужден, мы ничего не узнаем. Начнем с блондинки. За что? Скажи нам, за что; твоя искренность поможет избежать катастрофы. Ну, давай!

Эстель. Говорю вам, я ничего не знаю. Они не захотели мне ничего объяснять.

Гарсэн. Ясно. Мне они тоже не пожелали ответить. Но я сам себя знаю. Ты боишься говорить первая? Ладно. Начну я. *(Пауза.)* Я не такой уж паинька.

Инэс. Понятное дело. Мы знаем, что вы дезертировали.

Гарсэн. Не в этом дело. Забудьте об этом. Я здесь потому, что истязал свою жену. Вот и все. На протяжении пяти лет. Конечно, она страдает до сих пор. Вот она: когда я говорю о ней, я ее вижу. Меня интересует Гомес, а вижу я ее. Где Гомес? Целых пять лет. Вот так штука – они вернули ей мои вещи; она сидит у окна и держит мой пиджак на коленях. Пиджак с двенадцатью дырами. И кровь, как ржавчина. Края дырок порыжели. Ха! Это музейный экспонат, исторический пиджак. И я его носил! Будет она плакать? Ты будешь плакать! Я приходил пьяный как свинья, от меня несло вином и женщинами. Она ждала меня всю ночь; она не плакала. И ни слова упрека, конечно. Только глаза. Ее большие глаза. Я ни о чем не жалею. Там снег идет. Ну, заплачешь ты наконец? У этой женщины призвание быть мученицей.

Инэс*(почти мягко)*. Почему вы заставляли ее страдать?

Гарсэн. Потому что это было просто. Достаточно было слова, чтобы у нее испортилось настроение – она была очень чувствительной. Но ни одного упрека. Я большой задира. Я ждал, все время ждал. Но нет, ни слез, ни упреков. Я вытащил ее из ручья, понимаете? Она проводит рукой по пиджаку, не смотря на него. Ее пальцы вслепую ищут дыры. Чего ты ждешь? На что надеешься? Говорю тебе, что ни о чем не жалею. Вот что: она слишком мною восхищалась. Вам это, конечно, понятно?

Инэс. Нет. Мною не восхищались.

Гарсэн. Тем лучше. Лучше для вас. Все это должно вам казаться слишком отвлеченным. Расскажу вам забавную историю: я поселил у себя одну мулатку. Вот были ночки! Жена спала на первом этаже и, должно быть, нас слышала. Она вставала первая – а мы валялись все утро – и приносила нам завтрак в постель.

Инэс. Мерзавец!

Гарсэн. Да–да, мерзавец, но любимый. *(Отстраненно.)* Нет. Это Гомес, но он говорит не обо мне... Вы сказали “мерзавец”. Черт, а что бы я иначе здесь делал? А вы?

Инэс. Я–то была, что называется, проклятой женщиной. Уже тогда проклятой, прошу заметить. Вот я и не особенно удивилась.

Гарсэн. И это все?

Инэс. Да нет, была еще та история с Флоранс. Но это история о мертвецах. О трех мертвецах. Сначала он, потом мы с ней. Там теперь никого не осталось, я спокойна – просто комната. Я ее иногда вижу. Пустая комната с закрытыми ставнями. А! Наконец–то они сняли печати. Сдается внаем... Ее сдают. На двери висит объявление. Это... забавно.

Гарсэн. Трое? Вы сказали, трое?

Инэс. Трое.

Гарсэн. Мужчина и две женщины?

Инэс. Да.

Гарсэн. Вот как! *(Пауза.)* Он покончил с собой?

Инэс. Он? Он на это был неспособен. К тому же не его вина, что он страдал. Нет, он попал под трамвай. Вот смех–то! Я жила с ними, это был мой двоюродный брат.

Гарсэн. Флоранс была блондинкой?

Инэс. Блондинкой? *(Взгляд в сторону Эстель.)* Знаете, я ни о чем не жалею, но мне не очень приятно рассказывать вам обо всем этом.

Гарсэн. Дальше, дальше! Он вам надоел?

Инэс. Да, постепенно. То одно, то другое... Например, он шумно пил – сопел в стакан. Чепуха всякая. Это был несчастный уязвимый малый. Почему вы смеетесь?

Гарсэн. Потому что я неуязвим.

Инэс. Посмотрим. Я ее околдовала: она стала видеть его моими глазами. И в конце концов осталась у меня на руках. Мы сняли комнату в другом конце города.

Гарсэн. А потом?

Инэс. Потом этот трамвай... Я ей все время твердила: Ну вот, милочка, мы его и убили. *(Молчание.)* Я злая.

Гарсэн. Да. Я тоже.

Инэс. Нет–нет. Вы не злой. Это совсем другое.

Гарсэн. Что именно?

Инэс. Я вам потом скажу. Я вот злая: мне необходимо для жизни страдание других. Факел. Факел в сердце. Когда я одна, я угасаю. Шесть месяцев я горела в его сердце: я все там сожгла. Однажды ночью она встала и открыла газ, я об этом и не подозревала. Потом она опять легла рядом со мной. Вот и все.

Гарсэн. Хм!

Инэс. Что?

Гарсэн. Ничего. Нечистое это дело.

Инэс. Нечистое, ну и что?

Гарсэн. Да, вы правы. *(Эстель.)* Твоя очередь. Что ты сделала?

Эстель. Я же сказала, что ничего не знаю.

Гарсэн. Ладно, мы тебе поможем. Кто этот тип с разбитым лицом?

Эстель. Какой тип?

Инэс. Ты сама знаешь. Тот, кого ты боялась здесь встретить, когда вошла.

Эстель. Один знакомый.

Инэс. Почему ты его боишься?

Эстель. У вас нет никакого права устраивать мне допрос.

Инэс. Он покончил с собой из–за тебя?

Эстель. Нет, вы с ума сошли!

Гарсэн. Тогда почему ты его боишься? Он что, выстрелил себе в висок? Поэтому у него не должно быть головы?

Эстель. Замолчите, замолчите!

Гарсэн. Из–за тебя, из–за тебя!

Инэс. Застрелился из–за тебя!

Эстель. Оставьте меня в покое. Я вас боюсь. Я хочу отсюда уйти. Я хочу уйти!

Бежит к двери и рвется в нее.

Гарсэн. Уходи. Я только об этом и мечтаю. Но дверь–то заперта снаружи.

Эстель нажимает на кнопку. Звонка нет. Инэс и Гарсэн смеются. Эстель поворачивается к ним, прислоняется к двери.

Эстель*(медленно и глухо).* Вы ведете себя неблагородно.

Инэс. Конечно, неблагородно. Мы установили, что он застрелился по твоей вине. Это был твой любовник?

Гарсэн. Ясное дело, любовник. И он хотел, чтобы она принадлежала ему безраздельно. Так, что ли?

Инэс. Он танцевал танго как профессионал, но, наверное, был беден.

Гарсэн. Тебя спрашивают, был ли он беден.

Эстель. Да, он был беден.

Гарсэн. К тому же, тебе надо было беречь свою репутацию. Однажды он стал умолять тебя, а ты рассмеялась.

Инэс. Так ведь? Ты рассмеялась? И поэтому он застрелился?

Эстель. Ты смотрела на Флоранс такими глазами?

Инэс. Да.

Пауза. Эстель смеется.

Эстель. Вот и не угадали. *(Смотрит на них, прислонившись к двери. Сухо и вызывающе)* Он хотел от меня ребенка. Довольны?

Гарсэн. А ты не хотела.

Эстель. Нет, не хотела. Ребенок все-таки родился. Я поехала на пять месяцев в Швейцарию. Никто ни о чем не узнал. Родилась девочка. Роже был со мной, когда она родилась. Ему хотелось дочку. А мне нет.

Гарсэн. А дальше?

Эстель. Балкон выходил на озеро. Я взяла большой камень. Он кричал: “Эстель, прошу тебя, умоляю”. Я его презирала. Он все видел. Он смотрел с балкона и видел круги на воде.

Гарсэн. Дальше.

Эстель. Вот и все. Я вернулась в Париж. А он сделал то, что задумал

Гарсэн. Застрелился?

Эстель. Конечно. Но это было ни к чему: ведь мой муж ни о чем не подозревал. *(Пауза.)* Я вас ненавижу. *(Плачет без слез.)*

Гарсэн. Бесполезно. Здесь слезы не текут.

Эстель. Я подлая. *(Пауза.)* Если бы вы знали, как я вас ненавижу!

Инэс*(обнимая ее).* Бедная девочка! *(Гарсэну.)* Допрос окончен. Хватит изображать палача.

Гарсэн. Палача... *(Осматривается.)* Чего бы я только не отдал, чтобы посмотретья в зеркало! *(Пауза.)* Как жарко! *(Машинально снимает пиджак.)* Ах, простите. *(Собирается снова его надеть.)*

Эстель. Можете остаться без пиджака. Теперь...

Гарсэн. Да. *(Кидает пиджак на диван.)* Не сердись на меня, Эстель.

Эстель. Я на вас не сержусь.

Инэс. А на меня? На меня ты сердишься?

Эстель. Да.

Молчание.

Инэс. Ну вот, Гарсэн, теперь мы голые, как черви. Стало легче?

Гарсэн. Не знаю. Может быть, немного. *(Робко.)* А что, если попробовать помочь друг другу?

Инэс. Я не нуждаюсь в помощи.

Гарсэн. Инэс, все нити запутаны. Стоит вам сделать малейший жест, махнуть рукой, как мы с Эстель почувствуем толчок. Мы не сможем выкарабкаться каждый по отдельности: мы должны вместе проиграть или вместе выиграть. Выбирайте. *(Пауза.)* В чем дело?

Инэс. Они ее сдали. Окна открыты настежь, и мужчина сидит на моей кровати. Они ее сдали, они сдали ее! Входите, входите, не стесняйтесь. Это женщина. Она идет к нему и кладет ему руки на плечи... Почему они не зажигают света, больше ничего не видно: они что, целоваться будут? Эта комната моя! Моя! Ну, почему же они не зажигают света? Я их больше не вижу. О чем они там шепчутся? Неужели он будет ласкать ее на моей постели? Она ему говорит, что сейчас полдень, что очень ярко светит солнце. Значит, я ослепла. *(Пауза.)* Все. Больше ничего не видно и не слышно. Ну и ладно: надеюсь, что с земными делами покончено. У меня больше нет алиби. *(Дрожит.)* Я чувствую, что я пустая. Вот сейчас, наконец, я совсем умерла. Я целиком и полностью здесь. *(Пауза.)* Вы что-то сказали? Вы, кажется, хотели мне помочь?

Гарсэн. Да.

Инэс. Чем помочь?

Гарсэн. Помочь расстроить их планы.

Инэс. А чем я вам отплачу?

Гарсэн. Вы поможете мне. От вас потребуется немного, Инэс: всего только чуть-чуть доброй воли.

Инэс. Добрай воли?.. А где мне ее взять? Я испорчена.

Гарсэн. А я? *(Пауза.)* А что все-таки, если попробовать?

Инэс. Я высохла. Я не могу ни брать, ни давать – как же мне вам помочь? Высохшая ветка сгорает. *(Пауза, Смотрит на Эстель, закрывшую лицо руками.)* Флоранс была блондинкой.

Гарсэн. Вы знаете, что эта малютка будет вашим палачом?

Инэс. Может быть, хотя я в этом сомневаюсь.

Гарсэн. Она им поможет вас поймать. Что касается меня, я... я... я не обращаю на нее никакого внимания. Только с ее стороны...

Инэс. Что?

Гарсэн. Это ловушка. Она выжидает, попадетесь вы в нее или нет?

Инэс. Знаю. Вы – это тоже западня. Что вы думаете, они не предусмотрели ваших слов? Может, в них скрывается ловушка, о которой мы и не подозреваем. Ловушки – повсюду. Но мне до этого нет дела. Я тоже ловушка. Ловушка для нее. Может, я ее-то как раз и поймаю.

Гарсэн. Вы никого не поймаете. Сколько бы мы ни бежали, мы никогда не догоним друг друга, как карусельные лошадки. Будьте уверены – они обо всем позаботились. Бросьте, Инэс. Оставьте. Иначе вы принесете несчастье всем троим.

Инэс. Разве похоже, что я выпущу из рук добычу? Я знаю, что меня ждет. Я стору, я уже горю и знаю, что конца не будет; я знаю все – неужели вы думаете, что я сдамся без борьбы? Она будет моей, она увидит вас моими глазами, как Флоранс увидела того, другого... Что вы там говорите о несчастьях? Повторяю: я на все готова и даже себя самое мне не жалко. Ловушка! Конечно, я попала в ловушку. Ну и что из этого? Тем лучше для них.

Гарсэн*(взяв ее за плечо).* Я могу вас пожалеть. Посмотрите на меня. Мы обнажены. Обнажены до костей, и я вижу вас насквозь, до самого сердца. Мы крепко связаны: неужели вы думаете, что я хочу причинить вам зло? Я ни о чем не жалею, не жалею; я тоже высох. Но вас я могу пожалеть.

Инэс*(не мешавшая ему говорить, поднимает голову).* Не прикасайтесь ко мне. Ненавижу, когда меня трогают. Оставьте свою жалость при себе. Гарсэн, в этой комнате есть много ловушек для вас. Для вас! Приготовленных именно для вас! Лучше вам подумать о себе. *(Пауза.)* Если вы оставите нас с девочкой в покое, я постараюсь вам не вредить.

Гарсэн*(смотрит на нее, потом пожимает плечами).* Хорошо.

Эстель*(поднимая голову).* Помогите мне, Гарсэн.

Гарсэн. Чего вы от меня хотите?

Эстель*(встает и подходит к нему).* Вы можете мне помочь.

Гарсэн. Ее просите.

Инэс подошла ближе, встала за спиной Эстель, вплотную к ней, но не прикасаясь. Следующие реплики она произносит почти ей на ухо. Но Эстель, повернувшись к Гарсэну, который молча смотрит на нее, отвечает только ему, как если бы вопросы задавал он.

Эстель. Прошу вас, Гарсэн, ведь вы же обещали! Скорей, скорей, я не хочу оставаться одна. Ольга повела его на танцы.

Инэс. Кого?

Эстель. Пьера. Они танцуют вместе.

Инэс. Кто такой Пьер?

Эстель. Один дурачок. Он называл меня своей живой водой. Он любил меня. Она повела его танцевать.

Инэс. Ты его любишь?

Эстель. Они садятся. Она тяжело дышит. Зачем она танцует? Наверное, чтобы похудеть. Нет, конечно. Нет, я его не любила: ему восемнадцать, а я не людоедка.

Инэс. Тогда забудь о них. Какое тебе дело?

Эстель. Он был мой.

Инэс. Теперь тебе больше ничего не принадлежит на земле.

Эстель. Он был мой.

Инэс. Да, был... Попробуй его взять, попробуй потрогать. А вот Ольга может к нему прикоснуться. Правда? Правда? Она может взять его за руку, погладить по колену.

Эстель. Она наваливается на него своей огромной грудью, она дышит ему в лицо. Мальчик–с–пальчик, бедный Мальчик–с–пальчик, почему ты не смеешься? Ах, я бы только взглянула, и тогда бы она не посмела... Так как же это, я теперь ничто?

Инэс. Ничто. От тебя ничего не осталось на земле: все твое здесь. Хочешь нож для разрезания бумаги? Или бронзовую фигурку? Голубой диван тоже твой. И я, я тоже твоя навсегда, девочка.

Эстель. Да? Это все мое? А кто из вас двоих осмелится назвать меня своей живой водой? Вы оба не заблуждаетесь на мой счет, вы знаете, что я дрянь. Подумай обо мне, Пьер, думай только обо мне, защити меня: моя живая вода, моя дорогая живая вода, я здесь только наполовину, я только наполовину виновата, я живая вода там, внизу, рядом с тобой. Она красная, как помидор. Это же невозможно: мы с тобой сто раз над ней смеялись. Что это за музыка? Я ее так любила. А, СанЛуи блюз. Танцуйте, танцуйте. Гарсэн, вот бы вы повеселились, если бы могли их увидеть. Она никогда не узнает, что я ее вижу. Я вижу тебя, и твою растрепанную прическу, и твою кривую улыбку, вижу, как ты наступаешь ему на ноги. Просто умрешь со смеху! Давайте быстрее, еще быстрее! Он ее тянет, толкает. Это неприлично. Быстрее! Он мне говорил: – Вы такая легкая. Давайте, давайте. *(Танцует, продолжая говорить.)* Говорю тебе, что я тебя вижу. А ей все равно, она танцует и не замечает моего взгляда. Наша милая Эстель! Что – наша милая Эстель? Ах, замолчал. Ты даже не заплакала на похоронах. Она ему сказала “наша милая Эстель”. У нее хватает наглости говорить с ним обо мне. Где же чувство меры: куда ей и говорить, и танцевать одновременно! Но что это?.. Нет, нет, не говори ему! Я уступаю его тебе, спрячь его, уведи, делай с ним что хочешь, только не говори ему. *(Больше не танцует.)* Все. Теперь ты сможешь его удержать. Она ему все сказала, Гарсэн: о Роже, о поездке в Швейцарию, о ребенке – она все ему рассказала. “Наша милая Эстель не была...”. Да, действительно, я не была... Он с грустным видом качает головой, но нельзя сказать, чтобы новость его потрясла. Теперь можешь забрать его себе. У него длинные ресницы, и он так похож на девушку... Мы больше не соперницы... Он называл меня своей живой водой, своим хрусталем. Твой хрусталь разбился на мелкие осколки. “Наша милая Эстель”. Ну и танцуйте на здоровье! Слушайте музыку. Раз–два. *(Танцует.)* Я бы все отдала, чтобы хоть на минутку вернуться на землю, только на одну минутку – и потанцевать. *(Танцует; пауза.)* Сейчас я их слышу хуже. Они погасили свет, как для танго, – почему играют под сурдинку? Громче! Как далеко! Я... я ничего больше не слышу. *(Перестает танцевать.)* Никогда больше не услышу. Земля со мной рассталась. Гарсэн, посмотри на меня, обними меня.

Инэс за спиной Эстель делает Гарсэну знак отойти.

Инэс*(повелительно).* Гарсэн!

Гарсэн*(отступает на шаг и показывает Эстель на Инэс).* Просите ее.

Эстель*(цепляется за него).* Не уходите! Вы мужчина или нет? Посмотрите же на меня, не отводите глаз: разве это так тягостно? У меня золотые волосы и, в конце концов, кто-то ведь из-за меня застрелился. Умоляю, вы же должны смотреть на что-нибудь. Если не на меня, так на статуэтку, стол или диван. На меня все-таки приятнее смотреть. Послушай, я выпала из их сердец, как птенец из гнезда. Подбери меня, прими меня в свое сердце – увидишь, я буду милой.

Гарсэн*(с силой ее отталкивает).* Говорю вам, ее просите.

Эстель. Ее? Она не в счет – это же женщина.

Инэс. Я не в счет? Но, птичка–жаворонок, ты уже давно живешь в моем сердце. Не бойся, я не сведу с тебя глаз, я даже моргать не буду. Ты будешь жить в моем взгляде, как песчинка в солнечном луче.

Эстель. В солнечном луче? Ах, оставьте меня наконец в покое. Вы недавно уже сделали попытку, и она провалилась.

Инэс. Эстель! Моя живая вода, мой хрусталь!

Эстель. Ваш хрусталь? Это глупо. Кого вы хотите обмануть? Все знают, что я выбросила ребенка в окно. Хрустальные осколки валяются на земле, и мне на это плевать. От меня осталась одна оболочка – и эта оболочка не для вас.

Инэс. Иди ко мне! Ты будешь, чем захочешь живой водой или водой грязной; в глубине моих глаз ты увидишь себя какой захочешь.

Эстель. Оставьте меня! У вас глаз нет, что ли? Ну что мне сделать, чтобы ты отстала? Полу–чай!

Плюет ей в лицо. Инэс сразу ее отпускает.

Инэс. Гарсэн! Вы мне за это заплатите!

Пауза.

Гарсэн пожимает плечами и направляется к Эстель.

Гарсэн. Ну что? Хочешь мужчину?

Эстель. Нет, не мужчину. Тебя.

Гарсэн. Хватит болтать. Тут кто угодно справится. Я просто попался под руку. Ладно. *(Берет ее за плечи.)* Знаешь, мне трудно тебе понравиться – я не дурачок и не танцую танго.

Эстель. Я приму тебя таким, какой ты есть. Может, я сделаю тебя другим.

Гарсэн. Сомневаюсь. Я буду... невнимательным. Мои мысли заняты другими делами.

Эстель. Какими делами?

Гарсэн. Тебе неинтересно.

Эстель. Я сяду на твой диванчик и подожду, пока ты мной займешься.

Инэс*(хохочет)*. Сука! Ложись! Он даже не красавец

Эстель*(Гарсэну)*. Не слушай ее. У нее больше нет ни глаз, ни ушей. Она не в счет.

Гарсэн. Я дам тебе все, что смогу. Это немного. Я не буду любить тебя: я слишком хорошо тебя знаю.

Эстель. Ты хочешь меня?

Гарсэн. Да.

Эстель. Мне больше ничего не нужно.

Гарсэн. Тогда... *(Склоняется к ней.)*

Инэс. Эстель! Гарсэн! Вы с ума сошли! Я же здесь!

Гарсэн. Вижу, ну и что?

Инэс. На моих глазах? Вы... вы не сможете!

Эстель. Почему? Я же раздевалась перед горничной.

Инэс*(цепляясь за Гарсэна)*. Отпустите ее! Отпустите! Не касайтесь ее своими грязными мужскими руками!

Гарсэн*(грубо ее отталкивает)*. Я не из благородных, я не побоюсь ударить женщину.

Инэс. Вы дали мне слово, Гарсэн, вы дали слово! Умоляю вас, вы обещали!

Гарсэн. Вы сами нарушили договор.

Инэс отпускает его и отступает вглубь комнаты.

Инэс. Делайте, что хотите, ваша взяла. Но помните, я здесь и я на вас смотрю. Я не отведу взгляда, Гарсэн, вам придется обниматься у меня на глазах. Как я вас обоих

ненавижу! Занимайтесь любовью, но не забывайте: мы в аду и настанет мой черед. *В течение следующей сцены она смотрит на них, не говоря ни слова.*

Гарсэн*(возвращается к Эстель и берет ее за плечи)*. Поцелуй меня.

Пауза. Наклоняется к ней и вдруг резко выпрямляется.

Эстель*(с досадой)*. Эй!.. Пауза. Я же тебе сказала, не обращай на нее внимания.

Гарсэн. Не в ней дело. *(Пауза.)* Гомес пришел в редакцию. Они закрыли окна: значит, уже зима. Шесть месяцев. Уже шесть месяцев, как меня... Я тебя предупредил, что бываю иногда рассеянным? Они дрожат от холода, и пиджаки не сняли... Странно: им там так холодно, а мне жарко. На этот раз они говорят обо мне.

Эстель. Это теперь надолго. *(Пауза.)* Расскажи хотя бы, о чем они говорят.

Гарсэн. Ни о чем. Он ни о чем не говорит. Это просто—напросто подлец. *(Прислушивается.)* Каков подлец! *(Подходит к Эстель.)* Займемся нашими делами. Ты будешь меня любить?

Эстель*(улыбаясь)*. Кто знает?

Гарсэн. Ты будешь мне доверять?

Эстель. Смешной вопрос: ты всегда будешь у меня на глазах и ведь с Инэс ты мне не изменишь.

Гарсэн. Верно. *(Пауза. Снимает руки с плеч Эстель.)* Я имел виду другое доверие. *(Прислушивается.)* Валяй, говори все, что придет тебе в голову, я не буду защищаться. *(К Эстель.)* Эстель, ты должна мне доверять. Эстель. Сколько сложностей! Я отдаю тебе свои губы, свои руки, все свое тело; все могло быть так просто!.. Доверие? Этого я обещать не могу; ты меня очень стесняешь. Наверное, ты сделал что—нибудь ужасное, если так просишь моего доверия.

Гарсэн. Меня расстреляли.

Эстель. Знаю — ты отказался уехать. А потом?

Гарсэн. Я... я не совсем отказался. *(Обращаясь к невидимым.)* Он хорошо выступает, поносит меня на чем свет стоит, но не говорит, что нужно было сделать. Неужели я должен был пойти к генералу и сказать: “Мой генерал, я не собираюсь уезжать”. Что за чушь! Они бы упекли меня за решетку. Я хотел быть свидетелем, понимаете? Я не хотел, чтобы мне затыкали рот. *(Эстель.)* Я... я сел в поезд. Меня взяли на границе.

Эстель. Куда ты хотел уехать?

Гарсэн. В Мехико. Я рассчитывал издавать там пацифистский журнал. *(Молчание)* Ну, скажи мне что—нибудь.

Эстель. Что ты хочешь от меня услышать? Ты правильно поступил, потому что не хотел бороться.

Раздраженный жест Гарсэна.

Ах, дорогой, я никак не угадаю, что тебе отвечать.

Инэс. Сокровище мое, нужно ему сказать, что он удрал, как лев. Потому что твой любезный просто унес ноги. Именно поэтому он такой раздражительный.

Гарсэн. Удрал, уехал — называйте, как хотите.

Эстель. Конечно, тебе нужно было бежать, если бы ты остался, тебя бы схватили.

Гарсэн. Вот именно. *(Пауза.)* Эстель, как ты думаешь, я трус?

Эстель. Не знаю, любовь моя, я ведь не была на твоём месте. Думай сам.

Гарсэн*(устало)*. Я не в состоянии.

Эстель. Тогда постарайся вспомнить; у тебя, наверное, были основания для таких действий.

Гарсэн. Да.

Эстель. Какие?

Гарсэн. Разве это были веские основания?

Эстель*(с досадой)*. Как ты все усложняешь!

Гарсэн. Я хотел доказать... я долго думал... Были ли у меня веские основания?

Инэс. Ах, вот в чем вопрос. Были эти основания вескими? Ты рассуждал, ты не хотел пускаться в авантюры. Но страх, ненависть и другие гнусности, которые обычно скрывают, это тоже основания. Иди, спрашивай сам себя.

Гарсэн. Замолчи! Что ты думаешь – я буду слушать твои советы? Я шагал по моей камере дни и ночи, из конца в конец, от окна к двери, от двери к окну. Я сам к себе приглядывался. Я следил сам за собой. Мне кажется, я всю жизнь только и делал, что задавал сам себе вопросы, а потом пришло время действовать. Я... я сел в поезд, это я знаю. Но почему? Почему? В конце концов я подумал: моя смерть решит все проблемы; если я умру как надо, я докажу, что я не трус.

Инэс. А как ты принял смерть, Гарсэн?

Гарсэн. Плохо.

Инэс хохочет.

О, это была просто телесная слабость. Этого я не стыжусь. Только все осталось навсегда нерешенным. (*Эстель.*) Поди–ка сюда. Посмотри на меня. Мне нужно, чтобы кто–нибудь на меня смотрел, пока на земле говорят обо мне. Мне нравятся зеленые глаза.

Инэс. Зеленые глаза? Смотри–ка! А тебе, Эстель? Тебе нравятся трусы?

Эстель. Если бы ты знала, как мне это безразлично. Трус или нет, лишь бы целоваться уметь.

Гарсэн. Они сонно качают головами, затягиваясь сигарами, – им скучно. Они думают: Гарсэн трус. Вяло и слабо. Но все–таки они хоть о чем–то думают. Гарсэн трус – вот что они решили, мои приятели. Через полгода они будут говорить: трусливый, как Гарсэн. Вам обеим повезло; о вас на земле больше никто не помнит. Моя участь тяжелее.

Инэс. А ваша жена, Гарсэн?

Гарсэн. Ну что жена... Она умерла.

Инэс. Умерла?

Гарсэн. Да, я забыл вам сказать. Она недавно скончалась. Примерно два месяца тому назад.

Инэс. От горя?

Гарсэн. Конечно, от горя. А от чего же еще? Все теперь в порядке: война закончилась, жена умерла, а я вошел в историю.

Рыдает без слез, закрывает лицо руками. Эстель цепляется за него.

Эстель. Дорогой, дорогой! Посмотри на меня, дорогой! Прикоснись ко мне. Положи руку мне на грудь.

Кладет его руку себе на грудь. Гарсэн делает движение, чтобы освободиться.

Оставь свою руку здесь, оставь ее, не двигайся. Они умрут один за другим: какая разница, что они думают. Забудь о них. Никого не осталось, кроме меня.

Гарсэн(высвобождая руку). Они–то обо мне не забывают. Они умрут, но придут другие и перехватят эстафету: моя жизнь осталась у них в руках.

Эстель. Ты слишком много разглагольствуешь!

Гарсэн. А что еще делать? Раньше я действовал... Ах, хоть бы на один день вернуться к ним... какое разоблачение! Но я вне игры: они подводят итог без меня, и они правы, поскольку я мертв. Мертв, как крыса. (*Смеется.*) Я стал общественным достоянием.

Пауза.

Эстель(нежно). Гарсэн!

Гарсэн. Ты здесь? Послушай, окажи мне услугу. Нет, не отказывайся. Я знаю, тебе кажется, что у тебя просят помощи, ты к этому не привыкла. Но может, если ты захочешь, если сделаешь усилие, мы и вправду сможем по–настоящему полюбить друг друга. Видишь ли, тьма народу утверждает, что я трус. Но какое мне до них дело? Бели бы нашлась живая душа, которая изо всех сил повторила бы, что я не бежал, что я не мог бежать, что я храбрый, что я честный, я... я уверен, что я был бы спасен. Хочешь поверить

в меня? Тогда ты мне будешь дороже всех на свете. *Эстель(смеется)*. Дурачок! Глупец! Неужели ты думаешь, что я могла бы полюбить труса?

Гарсэн. Но ты говорила...

Эстель. Я шутила. Я люблю мужчин, Гарсэн, настоящих мужчин, с грубой шкурой, с сильными руками. Непохоже, чтобы твой подбородок был подбородком труса, рот – ртом труса, голос, волосы – голосом и волосами труса. А я люблю тебя за твой рот, твой голос, твои волосы.

Гарсэн. Это правда? Чистая правда?

Эстель. Хочешь, я поклянусь?

Гарсэн. Тогда мне наплевать на всех, кто там и кто здесь. *Эстель*, мы выйдем из ада. *Инэс хохочет. Гарсэн перестает говорить и смотрит на нее.*

В чем дело?

Инэс(смеясь). Да она сама не верит ни одному своему слову. Как можно быть таким наивным? “*Эстель*, разве я трус?” Знай, что ей на это наплевать!

Эстель. *Инэс.* (*Гарсэну.*) Не слушай ее. Если ты хочешь моего доверия, начни с того, чтобы верить мне.

Инэс. Вот–вот. Окажи ей доверие. Ей нужен мужчина, можешь ей поверить, мужская рука вокруг талии, запах мужчины, мужское желание в мужских глазах. Что до остального... Ха! Она скажет, что ты Бог–отец, если тебе это доставит удовольствие.

Гарсэн. *Эстель!* Это правда? Отвечай: это правда?

Эстель. Что ты хочешь от меня услышать? Я ничего не понимаю в этих делах. (*Топает ногой.*) Как мне все это надоело! Если бы ты и был трусом, я бы все равно тебя любила, понятно тебе? Этого недостаточно?

Пауза.

Гарсэн(обеим женщинам). Как вы обе отвратительны! (*Идет к двери.*)

Эстель. Что ты делаешь?

Гарсэн. Ухожу.

Инэс(быстро). Далекое не уйдешь – дверь закрыта.

Гарсэн. Придется им открыть.

Нажимает на кнопку. Звонка нет.

Эстель. Гарсэн!

Инэс(Эстель). Успокойся, звонок сломан.

Гарсэн. Я сказал, они откроют. (*Колотит в дверь.*) Я не могу больше вас выносить, не могу.

Эстель подбегает к нему, он ее отталкивает.

Пошла вон! Ты еще отвратительнее, чем та, другая. Я не хочу завязнуть в твоих глазах. Ты липкая! Ты дряблая! Ты как спрут, как болото. (*Стучит в дверь.*) Откройте, наконец! **Эстель.** Гарсэн, умоляю тебя, не уходи, я не буду больше говорить с тобой, я оставлю тебя в покое, только не уходи. *Инэс* выпустила когти, я не хочу оставаться с ней наедине.

Гарсэн. Сами разбирайтесь. Я не звал тебя сюда.

Эстель. Трус! Трус! Ты настоящий трус!

Инэс(подходит к Эстель). Ты недовольна, жаворонок! Ты плюнула мне в лицо, чтобы ему понравиться, и мы поссорились по его вине. Но он уходит, помеха нашего счастья, и мы останемся в теплом женском обществе.

Эстель. Ты ничего от этого не выиграешь: если дверь откроется, я убегу.

Инэс. Куда?

Эстель. Неважно. Подальше от тебя.

Гарсэн все барабанит в дверь.

Гарсэн. Откройте! Откройте! Я согласен на все, на испанский сапог, клещи, расплавленный свинец, тиски, удавку – на все, что жжет и дерет, я хочу мучиться по–настоящему. Пусть лучше побои, кнут, оспа, чем эта умственная пытка, этот призрак

страдания, который ласково касается тебя и никогда не делает по-настоящему больно. (*Трясет дверную ручку.*) Вы откроете или нет? (*Дверь внезапно распахивается, он чуть не падает.*) Вот те на!

Долгое молчание.

Инэс. За чем же дело стало. Гарсэн? Уходите.

Гарсэн(медленно). Интересно, почему дверь отворилась?

Инэс. Чего вы ждете? Уходите скорей.

Гарсэн. Не уйду.

Инэс. А ты, Эстель?

Эстель не двигается. Инэс смеется.

Ну! Кто же? Кто из троих? Путь свободен, что же нас держит? Помрешь со смеху! Мы неразлучны.

Эстель бросается на нее сзади.

Эстель. Неразлучны? Гарсэн! Помоги мне.

Скорее помоги. Мы вытащим ее наружу и запремся: туда ей и дорога.

Инэс(защищаясь). Эстель! Эстель! Умоляю, оставь меня здесь. Только не в коридор, не выгоняй меня в коридор!

Гарсэн. Отпусти ее.

Эстель. Ты с ума сошел, она же тебя ненавидит.

Гарсэн. Это из-за нее я остался.

Эстель выпускает Инэс и с удивлением, смотрит на Гарсэна.

Инэс. Из-за меня? (*Пауза.*) Да закройте вы ее! Здесь стало в десять раз жарче с тех пор, как дверь открыта.

Гарсэн закрывает дверь.

Из-за меня?

Гарсэн. Да. Ты знаешь, что такое трус.

Инэс. Знаю.

Гарсэн. Ты знаешь, что такое зло, стыд, страх. Бывали минуты, когда ты видела себя насквозь – и это не давало тебе покоя. А затем, на следующий день, ты не знала, что и подумать, как разобраться в этом откровении. Да, ты знаешь цену зла. И если ты говоришь, что я трус, то со знанием дела, верно?

Инэс. Да.

Гарсэн. Тебя-то я и должен убедить – ведь мы одной крови. Неужели ты думала, что я уйду? Я бы не оставил тебя здесь победившую и со всеми этими мыслями про меня в голове.

Инэс. Ты и вправду сможешь меня убедить?

Гарсэн. Я не могу иначе. Знаешь, я их больше не слышу. Они со мной покончили. Дело закрыто, больше я ничего из себя не представляю на земле, я уже даже не трус. Инэс, мы теперь одни: только вы обе еще можете думать обо мне. Она не в счет. Но ты ведь меня ненавидишь, – если ты мне поверишь, я спасен.

Инэс. Тебе будет нелегко, ведь я упрямая.

Гарсэн. Я потрачу на это сколько угодно времени.

Инэс. О! У тебя его действительно сколько угодно.

Гарсэн(беря ее за плечи). Послушай, у каждого своя цель, так ведь? Мне было наплевать на деньги и на любовь. Я хотел быть человеком. Суровым человеком. Я поставил все на одну карту. Разве трусы выбирают самые опасные пути? Можно ли судить о целой жизни по одному поступку?

Инэс. Почему бы и нет? В течение тридцати лет ты тешил себя надеждой, что у тебя есть сердце; ты закрывал глаза на множество своих маленьких слабостей, потому что герою все прощительно. Как удобно! А потом, когда пришла опасность, тебя поставили к стенке и... и ты уехал в Мехико.

Гарсэн. Я не придумал этот героизм. Я его выбрал. Мы такие, какими хотим себя видеть.

Инэс. Докажите это. Докажи, что это была не выдумка. Только поступки определяют цену наших желаний.

Гарсэн. Я слишком рано умер. У меня не хватило времени на поступки.

Инэс. Мы умираем всегда слишком рано или слишком поздно. Жизнь кончается – нужно подводить итоги. Ты – воплощение своей собственной жизни.

Гарсэн. Гадина! У тебя на все есть ответ.

Инэс. Давай–давай! Смелее! Тебе должно быть просто меня убедить. Ищи аргументы, сделай усилие.

Гарсэн пожимает плечами.

Ну что? Я же говорила, что ты уязвимый. Ага, теперь ты за все заплатишь. Ты трус, Гарсэн, трус, потому что я этого хочу. Я хочу этого, слышишь? А ведь я слабая, Гарсэн, как ветерок; я только взгляд – и я тебя вижу, я лишь бесцветная мысль – и я о тебе думаю.

(Гарсэн надвигается на нее, расставив руки.)

Что мне эти сильные мужские руки? На что ты надеешься? Мысль руками не схватить. Итак, у тебя нет выбора: нужно меня убедить. Ты в моих руках.

Эстель. Гарсэн!

Гарсэн. Чего тебе?

Эстель. Отплати ей.

Гарсэн. Как?

Эстель. Обними меня, услышишь, как она запоет.

Гарсэн. Вот это верно, Инэс. Я в твоих руках, но и ты в моих.

Склоняется к Эстель. Инэс вскрикивает.

Инэс. Трус! Трус! Ищи утешения у женщин!

Эстель. Пой, Инэс, пой!

Инэс. Классная парочка! Если бы ты видела его огромную лапу на своей спине, как она мнет платье и впивается в тело! У него мокрые руки, он весь потный. Он оставит пятно на твоём платье.

Эстель. Пой, птичка, пой! Обними меня крепче, Гарсэн, она подохнет со злости.

Инэс. Да–да, прижми ее покрепче! Жар ваших тел смешивается. Ну как, хорошая штука любовь, а, Гарсэн? Тебе мягко и тепло, как во сне, но я помешаю тебе уснуть.

Эстель. Не слушай. Поцелуй меня, я вся твоя.

Инэс. Чего же ты медлишь? Делай, что сказано: трус Гарсэн обнимает детоубийцу Эстель. Делайте ставки! Поцелует ли ее трус Гарсэн? Я на вас смотрю, я сама себе целая тьма народу. Гарсэн, ты слышишь глас народный? *(Шепчет.)* Трус! Трус! Трус! Трус! Сколько не убегай, я тебя не оставлю в покое. Что ты надеешься от нее получить? Забвение? Но я–то тебя не забуду! Это меня тебе надо убедить. Меня. Давай–давай. Я тебя жду. Гляди, Эстель, он размыкает объятия, он покорный, как собака... Тебе его не видать!

Гарсэн. Так ночи никогда не будет?

Инэс. Никогда!

Гарсэн. Ты всегда будешь меня видеть?

Инэс. Всегда.

Гарсэн оставляет Эстель и делает несколько шагов по комнате. Подходит к камину.

Гарсэн. Статуэтка... *(Гладит ее.)* Эта минута пришла! Вот статуэтка, я смотрю на нее и понимаю, что я в аду. Говорю вам, все предусмотрено. Они знали, что я встану перед камином, дотронусь до статуэтки под вашими взглядами. Эти пожирающие взгляды... *(Внезапно оборачивается.)* А! Вас только двое? Я думал, гораздо больше. *(Смеется.)* Так вот он какой, ад! Никогда бы не подумал... Помните: сера, решетки, жаровня... Чепуха все это. На кой черт жаровня: ад – это Другие.

Эстель. Любовь моя!

Гарсэн(отталкивая ее). Отстань. Та, другая, стоит между нами. Я не могу любить тебя, пока она смотрит.

Эстель. Ах так! Тогда она больше не будет на нас смотреть.

Хватает со стола нож для разрезания бумаги, бросается на Инэс и несколько раз бьет ее ножом

Инэс(смеясь, отбивается). Что ты, дурочка? Забыла, что я мертвая?

Эстель. Мертвая?

Бросает нож. Пауза. Инэс поднимает нож и яростно бьет себя им.

Инэс. Мертвая! Мертвая! Мертвая! Ни ножом, ни ядом, ни веревкой. Это уже сделано, понятно? И мы вместе навсегда. (Смеется.)

Эстель(хохочет). Навсегда, господа, вот смешно! Навсегда!

Гарсэн(смеется, смотря на них). Навсегда.

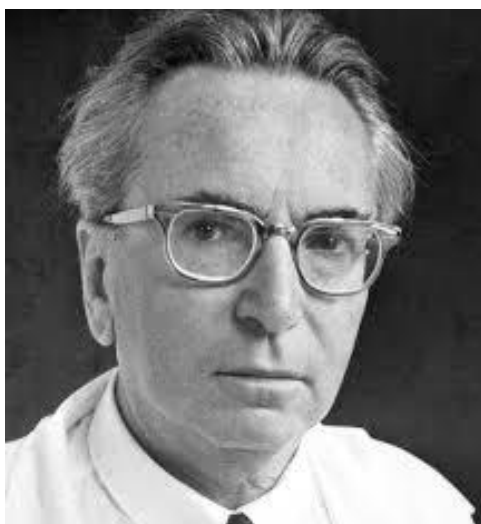
Смеется, падают каждый на свой диван. Долгое молчание. Перестают смеяться и смотрят друг на друга Гарсэн встает.

Гарсэн. Ну что ж, продолжим.

Занавес

Вопросы и задания:

- 1) В чем смысл выражения из пьесы «Ад – это другие»?
- 2) Является ли, на Ваш взгляд, наказание заслуженным для персонажей пьесы? Попробуйте уточнить те непроговариваемые смыслы, с которыми живут персонажи.
- 3) По каким причинам трое персонажей мучают друг друга (насколько это следует из их рассуждений)?
- 4) Имеют ли возможность примириться Гарсэн, Эстель и Инэс (насколько это следует из их рассуждений)?



Виктор Франкл (26 марта 1905 – 2 сентября 1997) – австрийский психиатр, психолог и невролог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Известен как создатель логотерапии – метода экзистенциального психоанализа, ставшего основой Третьей Венской школы психотерапии.

По наблюдениям Виктора Франкла, сделанным во время его нахождения в концентрационном лагере, люди скорее умирают от потери смысла жизни. Он помогал таким сломленным людям вернуть их жизням смысл, озариться надеждой на спасение.

В приведенном фрагменте работы «Общий экзистенциальный анализ» автор поясняет особенности своего метода – логотерапии, терапии

смысла.

3. Франкл В. Человек в поисках смысла / Франкл Виктор; Пер. с англ. и нем.; Сост.: Л.Я. Гозман, Д.А. Леонтьев. – М.: Прогресс, 1990. – 367 с.

ОБЩИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Задача традиционной психотерапии – проявить в сознании глубинные явления душевной жизни. В противоположность этому логотерапия стремится обратить сознание к

подлинно духовным сущностям. Логотерапия как практика экзистенциального анализа призвана в первую очередь привести человека к осознанию собственной ответственности – так как осознание ответственности является основой основ человеческого существования. Поскольку быть человеком – это быть осознающим и ответственным, экзистенциальный анализ – это психотерапия, основанная на принципе осознания ответственности.

1. О смысле жизни

Понятие ответственности включает в себя представление о долге, обязательстве. Человеческий долг, однако, может быть понят только в контексте категории «смысла»-специфического смысла человеческой жизни. Вопрос о смысле представляет первостепенный интерес для врача, когда он сталкивается с психическим больным, которого терзают душевные конфликты. Однако не врач поднимает этот вопрос – его ставит перед ним сам пациент.

В явном или неявном виде этот вопрос присущ самой природе человека. Сомнения в смысле жизни, таким образом, никогда нельзя рассматривать как проявления психической патологии; эти сомнения в значительно большей степени отражают истинно человеческие переживания, они являются признаком самого человеческого в человеке. Так, вполне возможно представить себе высокоорганизованных животных даже среди насекомых – скажем, пчел или муравьев, – которые во многом превзошли человека по части организации своих сообществ. Но невозможно представить, чтобы подобные создания задумывались о смысле собственного существования, сомневаясь, таким образом, в нем.

Только человеку дано обнаружить проблематичность своего существования и ощутить всю неоднозначность бытия. Эта способность сомневаться в значимости собственного существования значительно больше выделяет человека среди животных, чем такие его достижения, как прямохождение, речь или понятийное мышление.

Проблема смысла жизни в своем предельном варианте может буквально завладеть человеком. Она становится особенно насущной, например, в подростковом возрасте, когда взрослеющие молодые люди в своих духовных исканиях вдруг обнаруживают всю неоднозначность человеческого существования. Как-то преподаватель естественных наук в средней школе объяснял старшеклассникам, что жизнь любого организма, в том числе и человека, в конечном счете есть не что иное, как процесс окисления и сгорания. Неожиданно один из его учеников вскочил и бросил учителю полный волнения вопрос: «Если это так, то в чем же тогда смысл жизни?» Этот юноша уже ясно осознал ту истину, что человек существует в иной плоскости бытия, чем, скажем, свеча, которая стоит на столе и сгорает, пока не угаснет совсем. Существование свечи (Хайдеггер сказал бы: «Vorhanden-Sein») можно объяснить как процесс сгорания. Человеку же присуща принципиально иная форма бытия. Человеческое существование принимает форму исторического бытия, которое – в отличие от жизни животных – всегда включено в историческое пространство («структурированное» пространство, по Л. Бинсвангеру) и неотделимо от системы законов и отношений, лежащих в основе этого пространства. И этой системой отношений всегда управляет смысл, хотя он может быть и не выраженным явно, а возможно, совсем не поддаваться выражению. Жизнедеятельность муравейника можно считать целенаправленной, но никак не осмысленной. А где отсутствует смысл, исторический процесс невозможен. Муравьиное «сообщество» не имеет истории.

Эрвин Штраус в книге «Случай и событие» показал, что действительность человеческой жизни (то, что он называет становящейся действительностью) невозможно понять в отрыве от исторического временного контекста. Особенно справедливо это в случае невроза, когда человек сам искажает эту действительность. Одним из способов такого искажения является попытка убежать от исходно человеческой формы бытия. Штраус называет такую попытку «существованием текущего момента», имея в виду полный отказ от какой-либо направленности в жизни, другими словами – поведение, которое не управляется ни опорой на прошлое, ни устремленностью в будущее, а связано

только с «чистым» внеисторическим настоящим. Так, многие невротические больные говорят, что они предпочли бы жить «вдали от борьбы за существование», где-нибудь на уединенном солнечном острове, в праздности и бездельи. Такое может подойти лишь животным, но никак не человеку. Только такому больному в глубоком забытии может показаться приемлемым и, в конечном счете, достойным человека жить, подобно Дионису, в стороне от всего происходящего. «Нормальный» человек (и в смысле «средний», и в смысле «соответствующий этическим нормам») только иногда может позволить себе отключиться от всего, кроме переживаемого момента, и то лишь до некоторой степени.

Время и ситуация для этого – дело сознательного выбора. Можно, например, «взять отпуск» от своих повседневных обязательств и сознательно искать забытия в алкоголе. В период таких произвольно и искусственно вызванных приступов неподконтрольности человек время от времени сознательно сбрасывает с себя бремя своей действительной ответственности. Но, по сути и в конечном счете, человек, по крайней мере человек западной цивилизации, постоянно подвержен диктату ценностей, которые он должен творчески претворять в жизнь. Это не значит, что он не может направить свой творческий потенциал на то, чтобы забыться в опьянении и утопить собственное чувство ответственности. Никто из нас не гарантирован от этой опасности, которую Шелер характеризовал как такую увлеченность средствами осуществления ценностей, при которой забывается конечная цель – сами эти ценности. Сюда же следует добавить огромное множество тех, кто, напряженно работая в течение всей недели, в воскресенье оказывается охваченным ощущением пустоты и бессодержательности собственной жизни, – день, свободный от дел, заставляет их осознать это ощущение. Такие люди, жертвы «невроза выходного дня», напиваются, с тем, чтобы спастись от ужаса внутренней пустоты.

Хотя вопросы о смысле жизни наиболее часты и особенно насущны в юности, они могут возникать и в более зрелом возрасте – например, в результате глубокого душевного потрясения. И так же, как озабоченность подростка этим вопросом никак не является болезненным симптомом, душевные страдания и кризисы взрослого, уже сложившегося человека, бьющегося в поисках содержания собственной жизни, не имеют ничего общего с патологией. Логотерапия и экзистенциальный анализ пытаются бороться главным образом с теми душевными расстройствами, которые не относятся к разряду болезней в клиническом смысле, поскольку основное предназначение нашей «психотерапии в духовном смысле» – справляться с теми страданиями, которые вызваны философскими проблемами, поставленными перед человеком жизнью. Однако даже при наличии клинических симптомов некоторых нарушений логотерапия может помочь больному, поскольку она способна дать ему ту прочную душевную опору, в которой нормальный человек не так и нуждается, но которая крайне необходима человеку душевно незащищенному, чтобы компенсировать эту незащищенность. Ни в коем случае духовные проблемы человека нельзя описывать как «симптомы». В любом случае они являются «достоинством» (пользуясь противопоставлением Освальда Шварца), выражающим уровень осмысленности, достигнутый пациентом, или тот ее уровень, которого он с нашей помощью должен достичь. Особенно это относится к тем, кто утратил душевное равновесие не в силу внутренних причин (типа невроза), а под воздействием чисто внешних факторов. Среди таких людей стоит выделить тех, кто, скажем, потерял любимого человека, которому посвятил всю свою жизнь, и теперь мучается вопросом о том, имеет ли смысл его собственная дальнейшая жизнь. Человек, чья вера в осмысленность собственного существования подорвана таким кризисом, вызывает особую жалость. Он утрачивает тот духовный стержень, который может быть возрожден только безгранично жизнеутверждающим мировоззрением. Не имея такого стержня (который не обязательно должен быть ясно осознан и определенно сформулирован, чтобы выполнять

свою функцию), человек оказывается не в состоянии в трудные периоды жизни. Собрать свои силы, чтобы противостоять ударам судьбы.

Насколько решающей является жизнеутверждающая установка и насколько она органична биологической природе человека, можно показать на следующем примере.

Широкомасштабное статистическое исследование долгожительства показало, что все долгожители придерживались спокойной и уверенной жизнеутверждающей позиции. Философская позиция человека не может не проявиться рано или поздно. Например, меланхоликам, хоть они и пытаются скрыть свое принципиальное отрицание жизни, это никогда полностью не удастся. Их затаенную тоску легко обнаружить, располагая правильным методом психиатрического исследования. Если мы подозреваем, что меланхолик только притворяется, что он свободен от побуждения совершить самоубийство, это совсем не трудно проверить, например, с помощью следующей процедуры.

Сначала мы спрашиваем пациента, думает ли он о самоубийстве и вынашивает ли он все еще желание покончить с жизнью, которое он выражал в прошлом. Он всегда ответит на этот вопрос отрицательно – и отрицание это будет тем более упорным, чем больше он притворяется. Затем мы задаем ему вопрос, ответ на который позволяет судить, действительно ли он избавляется от своей депрессии или только старается скрыть ее. Мы спрашиваем (как бы жестоко ни прозвучал этот вопрос), почему он не думает (или уже больше не думает) о самоубийстве. Меланхолик, который в действительности не имеет суицидных намерений или который преодолел их, ответит без колебаний, что он должен думать о своей семье или о работе, или что-то в этом роде. Однако тот, кто пытается обмануть врача, тут же смутится. Он растеряется, не находя аргументов в поддержку своего «фальшивого» утверждения жизни. Как правило, такой пациент попытается сменить тему разговора и выразит свое неприкрытое требование выпустить его из лечебницы. Люди психологически неспособны придумывать ложные доводы в пользу жизни вообще и в пользу продолжения собственной жизни в частности, когда мысли о самоубийстве овладевают ими все больше и больше. Если бы такие доводы действительно имелись, они были бы всегда наготове и в этом случае пациентами уже не управляли бы побуждения к самоубийству.

К вопросу о смысле жизни можно подойти по-разному. Прежде всего, оставим в стороне проблему смысла и замысла мира в целом, так же как и переживаемую нами растерянность перед судьбой, наше сопротивление испытаниям, которые выпадают на нашу долю, поскольку положительные ответы на эти вопросы относятся к области религии. Для человека религиозного, который верит в Провидение, подобного вопроса может не существовать вовсе. Для остальной части человечества в первую очередь необходимо сформулировать этот вопрос подходящим образом. Прежде всего, мы должны определить, допустимо ли задаваться вопросом о смысле целого, имеет ли смысл сам этот вопрос.

Действительно, мы должны ограничить себя более конкретным и частным вопросом. Мы не можем начать выяснять «замысел» вселенной. Замысел всегда трансцендентен – в той мере, в какой он всегда является внешним по отношению ко всему, что этим замыслом «обладает». Таким образом, мы в лучшем случае можем постичь смысл вселенной в форме сверхсмысла, подразумевая под этим, что смысл целого остается непонятным и лежит за пределами постижимого. Такое понятие смысла схоже с кантовским постулатом причинности – наш разум требует ее существования, хотя и не способен ее постичь.

В свое время Паскаль заметил, что ветвь никогда не может постичь смысла всего дерева. Современная биология показала, что всякое живое существо замкнуто в своем специфическом окружении и практически не способно вырваться за его пределы. И хотя человек занимает исключительное положение, хотя он может быть необычайно восприимчив к миру и весь мир может выступать его окружением, все же кто может

поручиться, что за пределами этого мира не существует какого-нибудь сверхмира? Возможно, подобно животному, которое едва ли способно выбраться из своей ниши, для того чтобы понять высший мир человека, сам человек едва ли способен постичь сверхмир, хотя он может приблизиться к нему, например, в религии или в отдельные моменты озарения. Домашнему животному неведомы цели, ради которых человек его приручает. Так откуда же и человеку знать, какова «конечная» цель его жизни, каков «сверхсмысл» вселенной? Мы не можем согласиться с утверждением Н. Гартмана о том, что свобода и ответственность человека противопоставлены целесообразности, которая скрыта от него, но от которой он зависит. Гартман сам признает, что свобода человека—это «свобода, несмотря на зависимость», поскольку свобода разума человека поднимается над законами, управляющими природой, и действует на своем собственном, более высоком уровне бытия, который автономен, несмотря на его зависимость от нижних уровней бытия. С нашей точки зрения, аналогичные взаимоотношения между областью человеческой свободы и областью, высшей по отношению к человеку, вполне допустимы, так что человек обладает свободой воли, несмотря на участь, уготованную ему Провидением,—точно так же, как домашнее животное живет своими инстинктами, даже когда служит человеку. Ведь и человек использует сами эти инстинкты для своих собственных целей.

Таким образом, мы рассматриваем отношение человеческого мира к сверхмиру как аналогичное отношению «окружающей среды» животного (Экскюль) к «окружающей среде» человека. Шлейх очень убедительно и красиво выразил эти взаимоотношения словами: «Бог сел за орган возможностей и сотворил мир. Бедные создания, коими являемся мы, люди, могут лишь слышать глас человеческий. Если он так прекрасен, можно себе представить великолепие Самого!» Очевидно, что вера в сверхсмысл—как в метафизической концепции, так и в религиозном смысле Провидения—имеет огромное психотерапевтическое и психогигиеническое значение. Подобно истинной вере, основанной на внутренней силе, такая вера делает человека гораздо более жизнеспособным. Для такой веры в конечном счете нет ничего бессмысленного. Ничто не возникает «напрасно», «ни одно действие не остается необъясненным» (по Вильдгансу). Получается, что в мире проявляется нечто подобное закону сохранения духовной энергии. Ни одна великая мысль не может пропасть, даже если она так и не дошла до людей, даже если она была «унесена в могилу». Согласно этому закону, ни одна драма или трагедия внутренней жизни человека никогда не проходила впустую, даже если они разыгрывались втайне, не отмеченные, не прославленные ни одним романистом. «Роман», прожитый каждым индивидом, остается несравнимо более грандиозным произведением, чем любое из когда-либо написанных на бумаге. Каждый из нас, так или иначе, осознает, что содержание его жизни где-то сохраняется и оберегается. Таким образом, время, сменяющие друг друга годы не могут повлиять на смысл и ценность нашей жизни. Прошедшее—это тоже вид бытия, и, быть может, самый надежный. С этой точки зрения все продуктивные действия в жизни человека могут представлять собой «спасение» возможностей путем их реализации. Хотя эти возможности уже в прошлом, они хранятся там навсегда в безопасности, и время не властно более над ними*.

Выше мы уже рассматривали вопрос о смысле применительно ко всеобщему смыслу вселенной. Теперь мы рассмотрим ряд случаев, когда пациенты ищут ответа на вопрос о смысле собственной, частной жизни. Для многих пациентов характерна искаженная постановка этого вопроса, которая неизбежно приводит их к этическому нигилизму. Больной, как правило, будет категорически утверждать, что смысл жизни состоит в удовольствии. Защищая свою точку зрения, он выдвинет как неоспоримое открытие, что всей жизнедеятельностью человека управляет стремление к счастью, что все психические процессы детерминированы исключительно принципом удовольствия. Представления о доминирующей роли принципа удовольствия во всей душевной жизни составляют, как известно, один из основных догматов психоанализа; принцип реальности фактически не

противопоставляется принципу удовольствия, а является лишь его расширением и служит его целям.

Так вот, с нашей точки зрения, принцип удовольствия является искусственной психологической конструкцией. Удовольствие – это не цель наших стремлений, а следствие их удовлетворения. В свое время это отмечал еще Кант. Также и Шелер, обсуждая гедонистическую этику (эвдемонизм), заметил, что удовольствие не вырисовывается перед нами в качестве цели нравственного действия; скорее напротив–нравственное действие влечет удовольствие за собой. Теория, основанная на принципе удовольствия, упускает из виду важное качество всей психической деятельности–интенциональность. И вообще люди желают не удовольствия как такового, они просто хотят того, что хотят. Человеческому желанию может соответствовать любое множество целей – самого различного вида, – тогда как удовольствие всегда выступает в одной и той же форме, независимо от того, каким способом оно доставлено–нравственным или безнравственным. Отсюда очевидно, что принятие принципа удовольствия привело бы – в этическом плане – к выравниванию всех потенциальных человеческих целей. И стало бы невозможным отличить одно действие от другого, поскольку все они преследовали бы одну и ту же цель. При таком подходе можно было бы сказать, что некая сумма денег, потраченная на собственное пропитание, или та же сумма, розданная в виде милостыни, послужила одной и той же цели: в каждом из этих случаев человек потратил деньги, чтобы избавиться от своих неприятных чувств.

Стоит определить поведение таким образом – и вы обесцените в человеке любой его истинно нравственный порыв. В действительности чувство симпатии нравственно уже само по себе, даже до того, как оно воплотится в действие, имеющее якобы лишь негативный смысл– ликвидацию неудовольствия. Одна и та же ситуация может вызвать сочувствие у одного и возбудить злорадство садиста у другого, кто радуется чужому несчастью и переживает таким образом выраженное удовольствие. Если было бы справедливо, например, что мы читаем хорошую книгу только ради удовольствия, которое мы испытываем во время чтения, мы с таким же успехом могли бы потратить деньги на хорошее пирожное. В действительности наша жизнь почти не имеет дела с удовольствием или неудовольствием. Для зрителя в театре не так важно, что он смотрит – комедию или трагедию; что привлекает его – так это содержание и собственная, истинная ценность пьесы. Конечно, никто не будет утверждать, что отрицательные эмоциональные переживания, которые овладевают зрителями, увлеченными трагическими событиями на сцене, составляют действительную цель посещения ими театра. В этом случае всех театралов можно было бы считать замаскированными мазохистами.

Однако несостоятельность утверждения о том, что удовольствие является конечной целью всех (а не только некоторых отдельных) устремлений, убедительно подтверждается и логическим анализом «от противного». Если было бы верно, к примеру, что Наполеон проводил свои военные кампании только для того, чтобы испытать удовольствие от победы (подобные чувства простой солдат мог бы испытать, набив брюхо, напившись допьяна или предавшись разврату), тогда должно быть справедливо и обратное: «конечной целью» последних, гибельных для Наполеона сражений, «предельным замыслом» его поражений могли быть только отрицательные переживания, сопровождающие эти поражения, – так же как чувство удовольствия вызывалось победами.

Если весь смысл жизни свести к удовольствию, в конечном итоге мы неизбежно приходим к тому, что жизнь покажется нам лишенной смысла. Удовольствие никак не может придать жизни смысл. Ибо что такое удовольствие? Состояние. Материалист – а гедонизм обычно связывается с материализмом – сказал бы даже, что удовольствие есть не что иное, как состояние клеток мозга. И разве стоит жить, чувствовать, страдать и вершить дела ради того лишь, чтобы вызвать такое состояние? Предположим, что человека, приговоренного к смерти, просят за несколько часов до казни выбрать меню для своей

последней трапезы. Вероятнее всего, он ответит: имеет ли смысл перед лицом смерти ублажать себя вкусовыми ощущениями? Коль скоро организм превратится в труп через каких-нибудь два часа, не все ли равно, будет он иметь или нет еще одну возможность пережить то состояние мозговых клеток, которое называется удовольствием? Так и вся жизнь постоянно сталкивается со смертью, которая неизбежно перечеркивает этот элемент удовольствия. Любому несчастному, для которого вся жизнь сводится к погоне за удовольствием, пришлось бы усомниться в каждом моменте такой жизни, будь он хоть сколько-нибудь последователен. Он оказался бы в том же состоянии духа, что и один из моих пациентов, госпитализированный после суицидной попытки. Этот больной описывал мне пережитое им следующим образом. Чтобы осуществить свой план самоубийства, ему нужно было попасть на окраину города. Трамваи уже не ходили, и поэтому он решил взять такси. «Затем я передумал, – рассказывал он, – с чего это я должен тратиться на такси? И тут же я не смог удержаться от улыбки над собственным желанием сэкономить несколько марок перед самой смертью».

Сама жизнь приучает большинство из нас к тому, что «мы на этом свете не для того, чтобы наслаждаться». Для тех же, кто еще не выучил этого урока, будут поучительны данные одного русского психолога-экспериментатора, который показал, что в среднем нормальный человек ежедневно переживает несравнимо больше отрицательных эмоций (неудовольствия), чем положительных (удовольствия). Простой пример убеждает, насколько неудовлетворителен принцип удовольствия – как в теории, так и на практике. Если мы спросим человека, почему он не делает того, что, по нашему мнению, стоило бы делать, а он отказывается просто потому, что ему не хочется этого делать, так как это не доставит ему удовольствия, то такой ответ нам покажется явно неудовлетворительным. Очевидно, что подобный ответ недостаточен из-за того, что мы никогда не рассматриваем удовольствие или неудовольствие в качестве аргумента за или против того или иного действия.

Принцип удовольствия не смог бы составить приемлемой моральной максимы даже в том виде, в котором его утверждал Фрейд в своей работе «По ту сторону принципа удовольствия», а именно как производной от общей тенденции органической жизни возвращаться к состоянию покоя мира неорганического. Фрейд полагал, что может доказать сходство всех видов стремлений к удовольствию и того, что он называл инстинктом смерти. По нашему мнению, вполне возможно, что все эти первичные психологические и биологические тенденции могли бы быть сведены к еще более универсальному принципу редукции напряжения, согласно которому любой фрагмент бытия развивается в сторону снижения заключенного в нем напряжения. Аналогичный закон признается в физике, в теории энтропии, описывающей движение мира к финальному состоянию полной неопределенности. Нирвану, например, можно было бы считать психологическим коррелятом энтропии; редукцию всей психической напряженности путем освобождения от отрицательных переживаний в таком случае можно было бы рассматривать как микрокосмический эквивалент макрокосмической энтропии. Другими словами, нирвану можно определить как «энтропию, видимую изнутри». Однако принцип редукции напряжения сам по себе противоречил бы принципу идентичности, согласно которому все сущее стремится сохранить свою неповторимость, индивидуальность, отличимость от всего другого. Само существование такого противопоставления наводит на мысль, что столь универсальные принципы и столь всеобщие законы в нравственном смысле заведут нас в туник, поскольку эти явления практически не оказывают влияния на наш субъективный мир и моральное поведение. Что заставляет нас отождествлять себя с этими принципами и тенденциями? В какой мере наша нравственность должна принимать эти принципы, даже если мы обнаружим их в собственной душевной жизни? С равной вероятностью мы могли бы занять такую позицию, в которой наша нравственная задача будет заключаться в противостоянии власти подобных сил.

По сути, наше образование, в значительной степени основанное на материализме, сформировало в нас преувеличенное почтение к открытиям и законам так называемых точных наук. Мы безоговорочно принимаем картину мира, построенную в физике. Но насколько, к примеру, реальна для нас энтропия, которой пугают нас физики, – насколько реальна эта всеобщая обреченность, эта вселенская катастрофа, предсказанная физикой и в свете которой все наши усилия и усилия наших потомков оказываются сведенными к нулю? Неужели из нашего внутреннего опыта, из нашей повседневной жизни, далекой от всяких теорий, мы не знаем, что естественное очарование, которое вызывают в нас великолепные краски заката, в каком-то смысле более реально, чем, скажем, астрономические расчеты того момента времени, когда Земля столкнется с Солнцем? Может ли быть что-либо дано нам более непосредственно, чем наш собственный личный опыт, наше глубокое чувство собственной человечности и ответственности? «Самое определенное знание – это сознание», – замечено кем-то. И никакая теория о физиологической природе жизни, ни утверждения о том, что удовольствие есть строго организованный «танец» молекул, атомов или электронов внутри серого вещества нашего мозга, никогда не были столь убедительны и неопровержимы, как эта простая мысль. Точно так же человек, испытывающий высшие эстетические эмоции или счастье разделенной любви, ни на минуту не сомневается в том, что жизнь его имеет смысл.

Однако радость может сделать жизнь осмысленной, только если она сама имеет смысл. Смысл радости не может заключаться в ней самой. В действительности этот смысл лежит за ее пределами – поскольку радость всегда направлена на какой-нибудь объект. Шелер убедительно показал, что радость является направленной эмоцией – в отличие от просто удовольствия, которое он считает ненаправленной эмоцией и относит к классу так называемых «эмоций состояния». Удовольствие, таким образом, – это эмоциональное состояние. Здесь мы снова возвращаемся к Эрвину Штраусу и его представлениям о «сиюминутном» модусе жизни. В этом модусе человек остается в условном состоянии удовольствия (скажем, в опьянении), не достигая мира предметов, который в этом случае выступал бы миром ценностей. Индивид ощущает истинную радость только тогда, когда эмоции выступают как ценности. Этим объясняется, почему радость никогда не может быть самоцелью – радость саму по себе невозможно преследовать как цель. Как удачно эта мысль выражена в максиме Кьеркегора: «Дверь к счастью открывается наружу». И тот, кто, пытаясь открыть эту дверь, толкает ее вперед, только еще плотнее закрывает ее! Человек, который отчаянно рвется к ощущению счастья, таким образом, отсекает себе к нему дорогу. В конце концов, оказывается, что никакое стремление к счастью само по себе не может быть ни основным принципом, ни предельной целью человеческой жизни.

Ценность, на которую направлено действие, трансцендентна по отношению к самому этому действию. Она выходит за его рамки, подобно тому, как предмет познавательного действия находится за пределами данного когнитивного акта (в узком смысле этого слова). Из феноменологии хорошо известно, что надситуативные качества предмета намеренного действия всегда присутствуют в содержании этого действия. Если я вижу горящую лампу, факт ее существования в пространстве и во времени есть нечто данное, независимое от моего восприятия, даже если я закрою глаза или повернусь к этой лампе спиной. В моем восприятии предмета как чего-то реально существующего подразумевается, что я признаю его реальность независимо от моего или чьего-либо восприятия. То же самое верно и в отношении предметов ценностного восприятия. Как только я постигаю какую-либо ценность, я автоматически осознаю, что эта ценность существует сама по себе, независимо от того, принимаю я ее или нет.

Рассмотрим конкретный пример. Предположим, некто замечает, что кажущаяся эстетическая привлекательность его эротического партнера существует для него только до тех пор, пока он находится в состоянии сексуального возбуждения. Он обнаруживает, что по мере ослабления этого чувства эстетические ценности и видимая красота как-то исчезают. Из этого он делает вывод, что привлекательности его партнера как таковой в

действительности не существует – она является просто результатом искаженного чувственностью восприятия; что она поэтому представляет собой не объективную, а скорее относительную ценность, которая зависит от специфического состояния его организма и подчиняется его собственным внутренним инстинктам.

Но такой вывод несправедлив. Определенное субъективное состояние, несомненно, является необходимым условием для того, чтобы те или иные ценности стали в принципе видимыми; несомненно, чтобы осознать эти ценности, человеку требуется, как в описанном выше случае, особая специфическая чувствительность. Но это ни в коей мере не опровергает объективность ценностей, а скорее подразумевает их. Как этические, так и эстетические ценности подобны предметам восприятия – в том смысле, что для их постижения требуются соответствующие действия; и в то же время эти действия обнаруживают несводимость всех этих предметов к тем действиям, которыми они выявлены, что и подтверждает их объективность. Все это, однако, не противоречит уже отмеченному факту, что наши ценности, равно как и мировоззренческая позиция, позволяют нам видеть в каждом конкретном случае лишь фрагмент реальности. Другими словами, то, что мы видим, ограничено нашим собственным индивидуальным углом зрения. Возможно, мы недооцениваем всеобщность закономерности, согласно которой человеческая ответственность проявляется только в конкретной жизненной задаче. Объективные ценности становятся конкретными обязанностями, «отливаются» в форму ежедневных требований и индивидуально–личных жизненных задач. Ценности, лежащие в основе этих задач, могут быть достигнуты, очевидно, только через их решение. Вполне возможно, что каждое конкретное обязательство является некоторой частью чего–то целого, никогда не видимого для индивида, который всегда ограничен углом зрения своих каждодневных обязательств.

Каждая человеческая личность представляет собой нечто уникальное, каждая жизненная ситуация возникает лишь однажды. Конкретная задача любого человека всегда связана с его уникальностью и неповторимостью. Таким образом, в любой заданный момент каждый может иметь лишь одну–единственную задачу. Мир ценностей поэтому видится под углом зрения отдельной личности, а для каждой данной ситуации существует один–единственный подходящий взгляд. Соответственно абсолютно верное представление о чем–либо существует не вопреки относительности индивидуальных точек зрения, а благодаря им.

Мы предприняли поэтому попытку противопоставить скептицизму, который так часто выражают наши пациенты, контраргументы, необходимые для смягчения остроты нравственного нигилизма. Но нередко, помимо этого, становится необходимым раскрывать все богатство мира ценностей, пояснять, сколь широки его границы. Ведь несмотря на нашу концепцию особой жизненной задачи, люди должны быть готовы к переменам. Иногда случается так, что какая–нибудь задача никак не дается человеку, в то время как в качестве альтернативы появляется другая, со своим специфическим множеством ценностей. Человек должен вырабатывать в себе гибкость, чтобы суметь переключиться на другую ценностную группу, если она, и только она, способна предоставить ему возможность реализации ценностей. Жизнь требует от человека духовной гибкости, с тем чтобы он мог регулировать свои усилия сообразно с возможностями, которые она ему предоставляет.

Как часто кто–нибудь из наших пациентов сетует на свою жизнь, которая, по его словам, бессмысленна, коль скоро его деятельность не имеет никакой высокой цели. Именно здесь мы должны спорить с ним, показывая, что положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.

Обыкновенный человек, действительно справляющийся с конкретными задачами, которые ставит перед ним его положение в обществе и в семье, несмотря на свою

«маленькую» жизнь, более «велик», чем «великий» государственный деятель, который способен вершить судьбы миллионов росчерком пера, но чьи безнравственные решения могут нести в себе непоправимое зло. Любой беспристрастный судья оценит такую «маленькую» жизнь выше, чем, к примеру, существование хирурга, которому вверены жизни многих и многих больных, но который делает свое в высшей степени нелегкое дело слабо, отдавая при этом себе отчет в той огромной ответственности, что на него возложена.

Ценности, которые реализуются в продуктивных творческих действиях, мы будем называть «созидательными». Помимо созидательных, существуют ценности, реализуемые в переживаниях, – это «ценности переживания». Они проявляются в нашей чувствительности к явлениям окружающего мира – например, в благоговении перед красотой природы или произведений искусства. Нельзя недооценивать всей полноты смысла, которую приобретает наша жизнь благодаря этим ценностям. Наивысший смысл каждого данного момента человеческого существования определяется просто интенсивностью его переживания и не зависит от какого бы то ни было действия. Для тех, кто сомневается в этом, рассмотрим следующую ситуацию. Представьте себе истинного ценителя музыки, сидящего в концертном зале и поглощенного благородным звучанием любимой симфонии. Он охвачен таким же эмоциональным трепетом, какой испытываем мы перед лицом чистой красоты. Попробуем теперь спросить его в этот самый момент, имеет ли смысл его жизнь. И он обязательно ответит, что действительно стоило жить – хотя бы ради того, чтобы испытать подобный момент духовного экстаза. Ибо даже несмотря на то, что речь идет об одном–единственном моменте, величие жизни может быть измерено величиной момента: ведь высота горной гряды определяется не высотой какой–нибудь долины, а величиной высочайшей вершины. Так же и жизненные пики определяют осмысленность всей жизни, и единичное событие может задним числом наполнить смыслом предшествующее существование. Спросите альпиниста, наблюдавшего горный закат и ощутившего это величие природы до «мурашек по коже», – спросите его, сможет ли он когда–нибудь после этих переживаний ощутить такую полноту и осмысленность своей жизни...

Можно также определить и третью возможную категорию ценностей – поскольку жизнь остается в основе своей осмысленной, даже когда она бесплодна в созидательном смысле и небогата переживаниями. Эта третья группа ценностей заключается в отношении человека к факторам, ограничивающим его жизнь. Именно реакция человека на ограничения его возможностей открывает для него принципиально новый тип ценностей, которые относятся к разряду высших ценностей. Таким образом, даже очевидно скудное существование–существование, бедное в отношении и созидательных ценностей, и ценностей переживания, – все же оставляет человеку последнюю и в действительности высшую возможность реализации ценностей. Ценности подобного рода мы назовем «ценностями отношения». Ибо действительно значимым является отношение человека к судьбе, выпавшей на его долю. Другими словами, человек, сталкиваясь со своей судьбой и вынужденный ее принимать, все же имеет возможность реализовывать ценности отношения. То, как он принимает тяготы жизни, как несет свой крест, то мужество, что он проявляет в страданиях, достоинство, которое он выказывает, будучи приговорен и обречен, – все это является мерой того, насколько он состоялся как человек.

Как только список категорий ценностей пополняется ценностями отношения, становится очевидным, что человеческое существование по сути своей никогда не может быть бессмысленным. Жизнь человека полна смысла до самого конца – до самого его последнего вздоха. И пока сознание не покинуло человека, он постоянно обязан реализовывать ценности и нести ответственность. Он в ответе за реализацию ценностей до последнего момента своего существования. И пусть возможностей для этого у него немного – ценности отношения остаются всегда доступными для него.

Таким образом, и в нравственной сфере подтверждается тезис, который мы выдвинули вначале, о том, что быть человеком – это значит быть сознательным и ответственным.

Каждый раз жизнь предоставляет человеку возможность реализовать ценности то одной, то другой группы. То она требует от нас реализации созидательных ценностей, то мы ощущаем необходимость обратиться к категории ценностей переживания. В отдельные моменты жизнь призывает нас обогатить собственными действиями этот мир, в другое же время мы обогащаем переживаниями самих себя. Для выполнения своего предназначения человек то должен действовать, то – предаваться очарованию переживаемого. Испытывать радость может быть также «обязанностью» человека. В этом смысле можно обвинить в пренебрежительном отношении к своим обязанностям человека, который, сидя в трамвае, имеет возможность созерцать великолепие заката или вдыхать благоухание цветущих акаций, а вместо этого продолжает, не отрываясь, читать газету.

Один умирающий, о последних событиях жизни которого мы расскажем ниже, последовательно и драматично реализовывал все три категории ценностей. Этот молодой человек лежал в больнице с диагнозом неоперабельной опухоли спинного мозга. Ему уже давно пришлось оставить свою профессию, он был парализован и не мог работать. Таким образом, у него совсем не осталось возможности реализовывать созидательные ценности. Но даже в таком тяжелом состоянии ему доступен был мир ценностей переживания. Он проводил время в оживленных разговорах с другими больными – развлекал, подбадривая, утешая их. Он читал хорошие книги и в особенности любил слушать по радио хорошую музыку. Однако наступил день, когда он уже не смог переносить натиска звука в наушниках, полностью парализованные руки уже совсем не держали книги. Настал новый этап его жизни; и если ранее от созидательных ценностей он был вынужден перейти к реализации ценностей переживания, теперь он должен был отступить еще дальше – ему оставались доступными лишь ценности отношения. Иначе его поведение и не охарактеризуешь – ведь теперь он принял на себя роль советчика, наставника больных, находящихся рядом, изо всех сил старался своим поведением быть для них примером. Он мужественно переносил свои страдания. За сутки до смерти – а он предвидел день своей смерти – он узнал, что дежурному врачу было назначено сделать ему ночью инъекцию морфия. И что же сделал этот больной? Когда врач после обеда обходил больных, молодой человек попросил его сделать этот укол вечером – чтобы из-за него доктор не прерывал своего ночного отдыха.

Разве не должны мы спросить себя, имеем ли мы вообще право лишать неизлечимо больного возможности «умереть своей смертью», возможности наполнить смыслом свое существование до самого последнего мгновения, даже если единственно доступной больному остается лишь область реализации ценностей отношения: единственное, что в силах страдающего, – это изменить свое отношение к собственным страданиям, когда они достигнут своей высшей точки и завершатся? То, как он умирает – коль скоро он действительно умирает собственной смертью, – является неотъемлемой составляющей его жизни; это как бы подводит итог всей жизни человека, до последнего мгновения наполняя ее смыслом. Здесь мы затрагиваем проблему эвтаназии, или «избавления от страданий путем умерщвления». Эвтаназия в своем узком, первоначальном смысле как легкая, безболезненная смерть – никогда не представляла проблемы для врачей. Мы принимаем как само собой разумеющееся, что врачи смягчают предсмертные муки больных медикаментами. Собственные такт и чутье помогают врачу определить, когда же необходимо прибегнуть к этому, и никому в голову не приходит это осуждать. Однако умерщвление лекарственным способом применялось и неоднократно не только с гуманными намерениями: в определенных кругах раздавались голоса в защиту подобного способа, чтобы узаконить убийство людей, чья жизнь якобы более не представляет ценности.

В ответ на подобные предложения мы, прежде всего, должны ответить, что не врачу определять, имеет ли жизнь какого-либо человека ценность или же нет. Общество возложило на врача единственную обязанность – помогать всегда, когда он может; уменьшать боль там, где он сочтет нужным; лечить, насколько это в его силах, и ухаживать за неизлечимо больным. Если бы больные и их близкие не были убеждены, что врач серьезно и тщательно подходит к выполнению возложенных на него обязанностей, они никогда больше не доверились бы ему. Ведь в противном случае у больного не было бы уверенности, кем для него сейчас будет врач – помощником или палачом.

Это положение является принципиальным и не допускает никаких исключений. Оно относится к неизлечимым психическим болезням так же, как и к соматическим заболеваниям. Более того, кто бы посмел сказать, что психическое заболевание, которое в настоящее время считается неизлечимым, всегда будет таковым? Нельзя забывать, что, хотя психиатр и может быть абсолютно категоричен, ставя диагноз неизлечимого психического заболевания он никогда не может быть уверен в этом настолько, чтобы решать, имеет ли больной право на существование или нет. Нам известен случай, когда человек пять лет был прикован к постели (жизнь в нем поддерживалась исключительно за счет искусственного питания), пока у него не атрофировались мышцы ног. Человек, далекий от подобных проблем, естественно, спросил бы: не лучше ли было бы помочь несчастному умереть? Однако дело приняло неожиданный оборот. Настал день, когда больной попросил разрешить есть нормально, как все, за столом; он выразил желание встать. Он стал пробовать ходить, и постепенно его прежде атрофированные мышцы ног восстановились. Через несколько недель его выписали из больницы, и вскоре бывший пациент уже читал лекции о путешествиях, которые он совершил до болезни. Однажды, когда ему довелось выступать перед небольшой группой психиатров, он рассказал им о своих переживаниях во время развития его недуга – и некоторые из присутствующих почувствовали себя очень неловко, так как в свое время недостаточно серьезно отнеслись к лечению его болезни, никак не предполагая, что несколько лет спустя этот живой труп будет в состоянии вразумительно описать все, что случилось с ним.

Нам могут возразить: психически нездоровый человек не в состоянии позаботиться о своих собственных интересах. Таким образом, врач выступает, так сказать, выразителем его больной воли и должен решать, когда следует лишать больного жизни, поскольку вроде бы само собой разумеется, что, если бы сознание больного не было затуманено, он бы сам пожелал быть избавленным от дальнейшего ухудшения своего состояния.

Однако логотерапевт придерживается совершенно иной точки зрения. Своими действиями врач должен помогать больному реализовать свое стремление жить и свое право на жизнь. Не врачу лишать больного подобного права. Поучителен в этом отношении такой случай. У молодого врача развилась меланосаркома, причем он сам себе верно поставил диагноз. И напрасно его коллеги пытались убедить его в обратном. Они даже пошли на обман, фальсифицировав результаты его анализов. Молодой врач все же проник ночью в лабораторию и сам повторил все анализы. Болезнь его развивалась, и друзья стали бояться, как бы он не прибегнул к самоубийству. Но вместо этого молодой врач начал все более сомневаться в правильности диагноза, который первоначально поставил себе сам. Когда начались метастазы в печень, он, изучая симптомы болезни, уже ставил себе диагноз безобидного повреждения печени. Таким образом, он подсознательно обманывал себя – поскольку на последних стадиях заболевания желание жить восстает против надвигающейся смерти. Мы должны уважать в человеке это стремление жить, а не лишать его права на жизнь ради каких бы то ни было убеждений.

<...>

Мы уже говорили о свободе принятия ответственности. Но свобода эта сама утверждает чувство ответственности. Даже в самой радикальной форме бегства от ответственности – в бегстве от самой жизни путем самоубийства – человек не может убежать от собственного чувства ответственности. Поскольку он свободно принимает

решение о самоубийстве и претворяет его в жизнь (в том случае, конечно, если он психически здоров), он не может уйти от того, от чего бежит: его не отпускает чувство ответственности. Не найти ему также и того, чего он ищет, а именно решения проблемы. Ибо мы должны снова и снова подчеркнуть, что самоубийство в принципе не способно решить никаких проблем. Мы должны показать пациенту, что он похож на шахматиста, который, столкнувшись с очень трудной шахматной задачей, просто смахивает фигуры с доски. Но ведь таким способом задачи не решить. Равно как не решить жизненных проблем разрушением этой жизни. Как, сбрасывая фигуры с доски, шахматист нарушает правила игры, так нарушает правила жизни и человек, покушающийся на самоубийство. Правилами жизненной игры не предусматривается победа любой ценой, однако эти правила требуют от нас неустанной борьбы.

Мы хотим научить наших пациентов тому, что Альберт Швейцер назвал благоговением перед жизнью. Но убедить наших больных в том, что жизнь обладает какой-либо безусловной ценностью, можно лишь в том случае, если нам удастся помочь им наполнить жизнь каким-либо смыслом, определить цель своего существования, другими словами, поставить перед собой определенную жизненную задачу. «Если у человека есть основание для жизни, он вынесет почти любые ее условия», – говорит Ницше. Огромную психотерапевтическую и психогигиеническую ценность имеет убежденность человека в том, что ему есть ради чего жить. Мы возьмем на себя смелость сказать, что ничто так не помогает человеку преодолевать объективные трудности и переносить субъективные неприятности, как сознание того, что перед ним стоит жизненно важная задача. Особенно ярко это проявляется в том случае, когда человеку эта задача кажется будто специально предназначенной для него лично, когда она представляет собой нечто вроде «миссии». Такая задача помогает человеку ощутить свою незаменимость, жизнь его приобретает ценность уже потому только, что она неповторима. Вышеприведенная цитата из Ницше означает в данном контексте, что «условия» жизни – то есть присущие ей трудности и невзгоды – отходят на задний план тогда и в той мере, когда и в какой мере на передний план выступают «основания» к жизни. Но не только это. Если рассматривать жизнь с точки зрения присущих ей жизненных задач, нельзя не прийти к заключению, что жизнь всегда тем более осмысленна, чем труднее она дается. Хорошей естественной аналогией здесь может служить позиция спортсмена: настоящий атлет ставит перед собой такую задачу, которая позволит ему максимально утвердить себя в случае победы. Возьмем, к примеру, бег с препятствиями или устоявшуюся традицию назначать фору в беге или прыжках. Почему бы и нам не использовать трудности повседневной жизни для того, чтобы проверить собственный характер или развивать в себе силу и мужество?

Наша цель должна заключаться в том, чтобы помочь пациенту освоить максимально доступную ему активную жизненную позицию, перевести его, так сказать, из «страдающего» состояния в «активно-действенное». Имея это в виду, мы не можем ограничиваться лишь движением к тому, чтобы человек осознал свое существование как постоянное усилие, направленное на реализацию ценностей.

Мы должны объяснить ему также, что жизненная задача, за которую он несет ответственность, всегда специфична. И специфичность эта двоякого рода: во-первых, задачи различны для разных людей – и это зависит от своеобразия и неповторимости каждого человека. Во-вторых, даже личная задача изменяется с каждым днем и часом, в зависимости от специфичности каждой сложившейся ситуации. Нам нужно только напоминать самим себе о тех ценностях, которые Шелер назвал «ситуативными» – в отличие от «вечных», непреходящих ценностей, имеющих смысл всегда и для каждого. В каком-то смысле ситуативные ценности всегда «где-то за сценой» в ожидании своего часа, и человек имеет, по сути, единственную возможность реализовать их. Если эта возможность упущена, она теряется безвозвратно; ситуативная ценность так и остается нереализованной. Для человека эта ценность потеряна навсегда.

Таким образом, мы видим, что в значительной мере именно благодаря своеобразие и неповторимости человеческого существование приобретает смысл. Современной философии экзистенциализма принадлежит заслуга в утверждении того, что существование человека по своей сути является конкретным и субъективным. Экзистенциалисты способствовали тому, что нравственная ответственность вновь стала предметом обсуждения. Не случайно философия экзистенциализма получила название философии «призыва». Ведь представляя жизнь человека как нечто своеобразное и неповторимое, она имплицитно призывает людей в своей собственной жизни реализовывать эти неповторимые и уникальные возможности.

Цель экзистенциального анализа и логотерапии состоит в том, чтобы помочь человеку достичь максимальной сосредоточенности на жизненной задаче, стоящей перед ним. Затем мы должны показать ему, что жизнь каждого человека имеет свою, неповторимую цель, к достижению которой ведет лишь один путь. Следуя по этому пути, человек подобен летчику, которого в ночном тумане «ведут» радиомаяки в аэропорт, где ему предстоит вслепую посадить самолет. Способ, которым в данном случае пользуются, хорошо известен: находящаяся в аэропорту радиостанция посылает в направлении приближающегося самолета два различных сигнала Морзе, причем каждый из сигналов покрывает какой-то сектор. На границе этих секторов—а граница и представляет собой запланированный правильный курс—пилот слышит стабильный сигнал. Цели пилот может достичь единственно курсом, обозначенным этими сигналами Морзе. Как и у летчика, у каждого из нас есть свой, неповторимый жизненный курс, следуя которым мы можем реализовать свои личные, только нам данные возможности.

Если же пациент заявляет, что ему неведом смысл его жизни, что он не знает никаких уникальных возможностей своего существования, то мы так сформулируем для него первоочередную задачу: он должен сам определить свою собственную цель, постараться понять неповторимость и своеобразие собственной жизни. Что же касается внутренних резервов каждого человека—другими словами, как человеку разобраться, каким он должен быть в отличие от того, какой он есть,—лучше всего на этот вопрос ответил Гтте: «Как нам познать себя? Размышляя—никогда, но действуя. Старайтесь исполнять свой долг, и вскоре вы узнаете, что же есть вы. А что же тогда является вашим долгом? Требования каждого дня».

И все же найдутся люди, признающие уникальность жизни, желающие реализовать ее конкретные, неповторимые ситуативные ценности, которые все равно рассматривают свое положение как «безнадежное». Нам надо прежде всего спросить себя: что значит «безнадежное»? В конце концов, человеку не дано предсказывать будущее, он не может этого сделать хотя бы потому, что знание будущего тут же оказало бы влияние на его настоящее положение. И это влияние было бы разным, в зависимости от характера человека, от того, насколько он внушаем, покорен или независим. Таким образом, в любом случае человек строил бы свое будущее по-разному, так что первоначальное предсказание не подтвердилось бы.

Поскольку человеку не дано предвидеть будущее, он никогда не может безошибочно определить, будут ли у него в будущем возможности для реализации ценностей. Один чернокожий заключенный, приговоренный к пожизненной каторге, был отправлен на корабле из Марселя на остров Дьявола. Когда пароход вышел в открытое море, на нем неожиданно вспыхнул пожар. С заключенного сняли наручники, и он, благодаря своей необычайной силе, сумел спасти многих пассажиров корабля. Позднее за этот героический поступок его амнистировали. Если бы на набережной Марселя этого человека спросили, видит ли он хоть какой-нибудь смысл в своей оставшейся жизни, он бы наверняка ответил отрицательно. Никто не может знать, что готовит ему жизнь, какие падения и взлеты ожидают его.

Никто не вправе упорствовать в недооценке своих собственных достоинств. Как бы ни был человек неудовлетворен собой, как бы он себя ни мучил размышлениями о

собственных неудачах и как бы строго он себя ни судил, сам факт, что он поступает так, уже доказывает, что он не такое жалкое создание, каким представляется себе. Подобно тому как, исследуя относительность всех знаний и ценностей, мы приближаемся к объективности этих знаний и ценностей, нравственное самоосуждение приближает человека к его идеалу. Таким образом, тот, кто способен судить себя строго, уже соприкоснулся с миром ценностей и начинает приобщаться к нему. С того момента, как он смог применить представления о человеческом идеале к самому себе, он уже навсегда перестает быть обесцененным ничтожеством. Ибо этим самым он достигает уровня нравственных ценностей, которые спасают его от бессмысленности существования. «Когда б в глазах твоих не было б ничего от солнца, то никогда б его тебе не видеть...» То же самое справедливо по отношению к тем мрачным обобщениям, которые нередко вызываются нравственным отчаянием и заставляют усомниться в человеческой нравственности вообще. Такой способ мышления предполагает, что человек сам по себе в корне порочен. Однако нельзя, чтобы эта мировая скорбь парализовала нравственные действия человека. Кто-то может возразить, что, мол, все люди, в конце концов, не более чем эгоисты и что случающиеся альтруистические действия на самом деле тоже эгоистичны, поскольку тот, кто кажется альтруистом, просто пытается освободиться от неловкости, вызванной чувством симпатии. Наш ответ на это будет таким: в первую очередь, избавление от боли сопереживания – это не цель, а результат; во-вторых, сам факт, что человек сочувствует, испытывает симпатию, предполагает нравственность в форме истинного альтруизма. Более того, то, что мы сказали о жизни отдельного человека, относится также и к существованию всего человечества: решающими в развитии и оценке любого исторического периода являются пиковые точки – аналогично высоте горной гряды. Несколько идеальных судеб, несколько интеллектуальных или нравственных гениев или даже единичная такая личность, появляясь время от времени, могут вполне оправдать существование человечества в целом.

Если же, наконец, утверждается, что непреходящие, высшие идеалы человечества сплошь и рядом используются недостойно – в качестве средств достижения деловых или политических целей, удовлетворения личных эгоистических интересов или собственного тщеславия, – на это можно ответить так, что все сказанное лишь свидетельствует о непреходящей силе этих идеалов и показывает их универсальную действенность. Ибо если кто-то для достижения своих целей вынужден прикрывать свое поведение нравственностью, это доказывает, что нравственность действительно представляет собой силу и, как ничто иное, способна оказывать влияние на тех людей, которые высоко ее ставят.

Таким образом, каждый человек имеет свою цель в жизни, которую он в состоянии достичь. Соответственно экзистенциальный анализ призван помочь человеку осознать ответственность за реализацию всех его целей. Чем больше он видит жизнь как выполнение поставленных перед ним задач, тем более полной смысла кажется она ему. И если человек, не осознающий своей ответственности, просто принимает жизнь как нечто данное, экзистенциальный анализ учит людей воспринимать жизнь как «миссию». Здесь необходимо сделать следующее дополнение: существуют люди, которые идут еще дальше, которые переживают жизнь в другом измерении. Они живут переживаниями того, кто посылает нам задачи, – всевышнего, наделяющего людей их «миссиями». Мы считаем, что это в первую очередь отличает человека религиозного: для него собственное существование – это не только ответственность за выполнение своих задач, но и ответственность перед всевышним.

Особенно трудным поиск конкретных, личностных задач представляется для людей, страдающих неврозами, поскольку такие больные, как правило, ложно определяют свои задачи. Например, одна женщина, страдающая неврозом навязчивых состояний, как могла, избегала изучения научной психологии, к которой у нее явно было призвание; при этом она старательно преувеличивала свои материнские обязанности. Используя свою

житейскую психологическую интуицию, она вывела для себя теорию, по которой изучение психологии для нее оказалось «второстепенным занятием», праздной игрой болезненного сознания. И только после того, как в результате экзистенциально–аналитической работы с этой женщиной она решительно отказалась от своего ошибочного самоанализа, только тогда она смогла «познавать себя, действуя», и выполнять свои «каждодневные обязательства». Заняв подобную позицию, она обнаружила, что в состоянии заниматься и ребенком, и тем, что оказалось ее призванием.

Невротический больной обычно стремится выполнять какую–либо одну жизненную задачу в ущерб всем остальным. Типичного невротика отличают и другие виды ошибочного поведения. Например, он может решить жить, «шаг за шагом следуя задуманной программе», как сказала одна больная, страдающая обсессивным неврозом. В действительности мы не можем жить по Бедкеру, ведь в таком случае мы бы упустили все возможности, которые возникают лишь однажды, прошли бы мимо ситуативных ценностей, вместо того чтобы реализовать их.

С точки зрения экзистенциального анализа жизненной задачи «вообще» не существует, сам вопрос о задаче «вообще» или о смысле жизни «вообще» – бессмыслен. Он подобен вопросу репортера, который спросил гроссмейстера: «Ну а теперь, маэстро, скажите мне, какой самый лучший ход в шахматах?» Ни на один из подобных вопросов нельзя ответить в общем виде; мы всегда должны учитывать конкретную ситуацию и конкретного человека. Если бы гроссмейстер серьезно воспринял вопрос журналиста, он должен был бы ответить следующим образом: «Шахматист должен попытаться, насколько это в его силах и насколько позволяет противник, сделать лучший ход в любой данный момент времени». Здесь важно выделить два положения. Во–первых, «насколько это в его силах» –то есть необходимо учитывать внутренние возможности человека, то, что мы называем характером. И во–вторых, игрок может лишь «попытаться» сделать лучший в данной конкретной ситуации игры ход–то есть лучший при определенном расположении фигур на доске. Если бы шахматист начинал игру с намерением сделать лучший, в абсолютном смысле этого слова, ход, его бы одолели вечные сомнения, он бы увлекся бесконечной самокритикой и в лучшем случае проиграл бы, не уложившись в отведенное ему время.

В подобной ситуации находится и человек, которого мучает вопрос о смысле жизни. Для него также подобный вопрос имеет смысл только по отношению к какой–либо конкретной ситуации и по отношению лично к нему. Было бы неправомерно с нравственной точки зрения и психологически ненормально упорствовать в намерении выполнить действие, которое соответствовало бы «наивысшей» ценности, – вместо того чтобы скромно попытаться сделать лучшее, на что человек способен в сложившейся ситуации. Стремление к лучшему для человека просто необходимо, иначе все его усилия сведутся к нулю. Но и в то же время он должен уметь довольствоваться лишь постепенным процессом приближения к цели, никогда не предполагающим ее полного достижения.

Наши замечания по вопросу о смысле жизни сводятся к радикальной критике вопроса как такового, если он поставлен в общем виде. Спрашивать о смысле жизни вообще–ложная постановка вопроса, поскольку она туманно апеллирует к общим представлениям о жизни, а не к собственному, конкретному, индивидуальному существованию каждого. Возможно, нам стоит вернуться назад и воссоздать исходную структуру переживания. В этом случае мы должны будем совершить нечто вроде революции Коперника и поставить вопрос о смысле жизни в принципиально ином ракурсе. А именно: сама жизнь (и никто иной!) задает вопросы людям. Как уже отмечалось, не человеку вопрошать об этом; более того, ему было бы полезно отдать себе отчет в том, что именно ему (и никому другому) держать ответ перед жизнью; что он вынужден быть ответственным перед ней и, наконец, что ответить перед жизнью можно только отвечая за жизнь.

Возможно, самое время сейчас отметить, что психология развития также убедительно показывает, что процесс «постижения» смысла характеризует более высокую стадию развития, чем «присвоение» уже известного, «представленного» человеку смысла (Шарлотта Бюлер). Таким образом, доводы, которые мы пытались логически развить выше, находятся в полном соответствии с направлением психологического развития: они сводятся к парадоксальной первичности ответа по отношению к вопросу. Вероятно, это основано на том, что человек ощущает себя в роли «ответчика». Проводником, ведущим человека в его ответах на вопросы, поставленные жизнью, в принятии им ответственности за свою жизнь, выступает его совесть. Негромкий, но настойчивый голос совести, которым она «говорит» с нами, – это неоспоримый факт, переживаемый каждым. И то, что подсказывает совесть, каждый раз становится нашим ответом. С психологической точки зрения религиозный человек – это тот, который воспринимает не только то, что говорится подобным образом, но и самого говорящего, то есть его слух в этом смысле острее, чем слух неверующего. В диалоге верующего с собственной совестью – в этом самом сокровенном из всех возможных монологов – его Бог становится его собеседником.

О смысле смерти

Пытаясь ответить на вопрос о смысле жизни – на этот самый человеческий из всех вопросов, – индивид вынужден отступить; он должен понять, что это жизнь ставит перед ним вопросы и перед жизнью ему держать ответ. Таким образом, человек вновь обращается к основным элементам человеческого бытия – сознательности и ответственности. Экзистенциальный анализ, который рассматривает, что значит быть человеком с точки зрения ответственности, показывает, что ответственность эта проистекает из неповторимости личности и ситуации и что с повышением этой уникальности растет и ответственность. Как мы уже видели, ответственность тем выше, чем более неповторимы человек и ситуация, в которой он находится в каждый конкретный момент. Неповторимость и своеобразие, как мы уже отмечали, являются основными составляющими смысла человеческой жизни.

В то же время эти два главных фактора существования человека заставляют его остро ощущать конечность своего бытия. Следовательно, эта конечность должна являться тем, что придает человеческому существованию смысл, а не тем, что его лишает этого смысла. Положение это требует более глубокого обсуждения. Сначала рассмотрим такой вопрос: может ли ограниченность человеческой жизни во времени – то есть тот факт, что человек смертен, – лишить жизнь смысла?

Как часто мы слышим доводы о том, что смерть в конечном итоге делает жизнь полностью бессмысленной. Что, в конце концов, все творения человека не имеют смысла, коль скоро смерть разрушает их. Так действительно ли смерть лишает нашу жизнь смысла? Напротив! Ибо что бы являла собой наша жизнь, будь она бесконечна? Если бы мы были бессмертны, мы бы спокойно могли откладывать каждый свой поступок на какое угодно время. И неважно было бы, совершим мы сейчас какой-либо поступок или не совершим; каждое дело может быть с равным успехом сделано и завтра, и послезавтра, и через год, и десять лет спустя. Перед лицом же смерти – как абсолютного и неизбежного конца, ожидающего нас в будущем, и как предела наших возможностей – мы обязаны максимально использовать отведенное нам время жизни, мы не имеем права упускать ни единой из возможностей, сумма которых в результате делает нашу жизнь действительно полной смысла.

Конечность, временный характер, таким образом, не просто являются характерными чертами бытия, но и помогают сделать его осмысленным. В основе смысла человеческого существования лежит принцип необратимости. Поэтому ответственность человека следует рассматривать как ограниченную во времени и неповторимую. И если с помощью экзистенциального анализа мы хотим помочь пациенту максимально осознать свою ответственность, мы должны иносказательно довести до его сознания исторический характер бытия, который является истоком этой ответственности. Например, врач может

предложить пациенту представить себе, как тот на склоне лет пролистывает страницы своей биографии. Пусть больной допустит, что он только что открыл главу, в которой говорится о настоящем моменте его жизни, и что он обладает волшебной властью решать, каким быть содержанию следующей главы. То есть он должен представить, что он в состоянии исправить ошибки в решающей главе неписаной, внутренней истории его жизни.

В общем виде ведущий принцип экзистенциального анализа может быть сформулирован следующим образом: к любой ситуации нужно подходить так, как будто живешь во второй раз и в прошлой своей жизни уже делал ошибку, подобную той, которую собираешься совершить сейчас. Как только человек действительно представит себя в такой воображаемой ситуации, он немедленно осознает всю глубину той ответственности, которую он несет через любой момент своей жизни, ответственности за то, во что воплотится ближайший час его существования, за то, каким будет его следующий день.

В некоторых случаях мы рекомендуем пациенту представить свою жизнь в виде снимающегося фильма, из которого, однако, нельзя ничего вырезать, так что исключена возможность вернуться назад и изменить что-либо из прожитого. Подобные примеры нужны врачу для того, чтобы убедить пациента в исторической природе человеческого существования, и в частности – в необратимом характере его собственной жизни.

В начале вся жизнь представляет собой еще нетронутый и неоформленный «материал». По мере того, однако, как она «разворачивается», этого «материала» становится все меньше и меньше и он все больше и больше превращается в функцию – так что под конец жизнь во многом состоит из того опыта поступков и переживаний, который накопил человек на своем жизненном пути. Таким образом, человеческая жизнь напоминает радиоактивный элемент с его ограниченным «периодом полураспада», в течение которого его атомы распадаются и его вещество постоянно и необратимо трансформируется в энергию. Поскольку процесс ядерного распада является «направленным» и необратимым, здесь наблюдается аналогичная картина неуклонного уменьшения исходного количества «материала». Так же и жизнь, можно сказать, утрачивает со временем все больше и больше своего «заготовочного материала», так что в конце превращается в «чистую форму». Поэтому человек во многом похож на скульптора, который работает с бесформенным камнем для того, чтобы его материал приобретал все более зримую форму. Человек ваяет свою жизнь из того материала, который дан ему судьбой: в творчестве, в переживаниях или страдании он созидает ценности собственной жизни – каждый по мере своих сил формирует или ценности творчества, или ценности переживания, или ценности отношения.

Можно ввести также фактор времени в эту аналогию со скульптором: достаточно представить, что ему отпущено ограниченное время на то, чтобы закончить свое произведение, – более того, ему даже не сообщается конкретный срок окончания работы. Так что он не может предположить, когда ему будет велено прекратить работу и не прозвучит ли это требование в самую ближайшую минуту. Таким образом, он просто обязан каждый раз максимально использовать отведенное ему время – иначе его работа рискует оказаться фатально прерванной. Однако, даже если время истекает до того, как работа завершена, это ни в коей мере не обесценивает ее. «Фрагментарность» жизни, по Зиммелю, не умаляет ее смысла. Из длительности сроков жизни мы никогда не сможем вывести меру ее осмысленности. В конце концов, мы не можем судить о биографии на основании числа входящих в нее страниц или ее продолжительности – мы должны основываться в оценке любой биографии на богатстве ее содержания. Героическая жизнь, даже если она оборвалась в юном возрасте, без сомнения, более содержательна и осмысленна, чем существование какого-нибудь тупицы-долгожителя. Нередко незавершенные произведения оказываются среди наиболее достойных творений человека.

Жизнь постоянно ставит людей в положение, очень похожее на то, в какое попадают студенты на заключительном экзамене: в обоих случаях не так существенно, насколько ваша работа завершена, – куда важнее, чтобы в целом она была высокого качества. Студент должен успеть подготовиться к ответу точно к тому самому моменту, когда звонок просигналит об истечении времени, отведенного на выполнение задания, – так же и в жизни мы должны в любое время быть готовыми к такому «вызову» и держать ответ за все, сделанное нами к данному моменту.

Рано или поздно каждый человек сталкивается с понятием «конечность»: мы осознанно воспринимаем конец чего-либо как неизбежность, как часть сделки, заключенной нами с жизнью. Такое восприятие жизни присуще не только героям; фактически подобное отношение свойственно поведению любого обыкновенного человека. Когда мы идем в кино, нас гораздо больше заботит, чтобы фильм имел какую-либо концовку вообще, чем чтобы он обязательно заканчивался благополучно. Сам факт, что человеку нужны и кино, и театр, служит доказательством того, что исторический аспект событий не лишен смысла. Если бы развертывание событий во времени не имело значения для людей, они бы довольствовались «моралью произведения», переданной в кратчайшей форме, вместо того чтобы утруждать себя, часами высиживая в театре.

Таким образом, совсем необязательно резко разграничивать жизнь и смерть, скорее смерть является неотъемлемой составляющей жизни. Не существует способов «победить» смерть, хотя люди иногда стремятся обрести бессмертие путем продолжения своего рода. Совершенно несправедливо утверждение, что смысл жизни человека состоит в том, чтобы узнавать себя в своих потомках. Прежде всего, жизнь не может продлеваться до бесконечности. Случается, семьи полностью вымирают, когда-нибудь настанет день, и может вымереть все человечество – если, предположим, людям суждено жить лишь до тех пор, пока в результате какой-нибудь космической катастрофы не исчезнет сама планета Земля.

Если бы фактор конечности жизни лишал ее смысла, было бы неважно, когда настанет конец, в обозримом ли будущем или очень и очень нескоро. Мы должны были бы признать, что время, когда всему придет конец, не существенно. В противном случае мы рискуем уподобиться даме, которая, услышав от одного астронома, что, вероятно, через миллиард лет настанет конец света, вскрикнула от ужаса. А когда тот успокоил ее словами: «Но не ранее чем через миллиард лет», она облегченно вздохнула: «Ох, а мне показалось, что вы сказали – всего лишь миллион». Либо жизнь имеет смысл и сохраняет его вне зависимости от того, длинна она или коротка, воспроизводит она себя или нет, либо жизнь бессмысленна, и в этом случае она не станет более осмысленной, даже если будет длиться долго и воспроизводить себя. Если бы жизнь бездетной женщины действительно была бессмысленной только потому, что у нее нет детей, это значило бы, что человечество живет только для детей и что единственным смыслом жизни человека является воспроизводство себе подобных. Но подобный взгляд на эту проблему лишь оттягивает ее решение. Ведь получается, что каждое поколение передает проблему следующему, так и не разрешив ее. Весь смысл жизни одного поколения состоит в том, чтобы вырастить другое. Но бессмысленно увековечивать нечто, само по себе лишённое смысла. Ведь если что-либо смысла не имеет, оно его не приобретет, даже будучи увековеченным.

Огонь факела имеет смысл, даже если он угас; а вот проводить бесконечно длинную вселенскую эстафету, передавая из рук в руки негорящий факел, бессмысленно. «То, что дает свет, рано или поздно неизбежно сгорает», – утверждает Вилдганс. То есть все дающее свет обречено на страдания, пока оно не сгорит, не сгорит полностью, «до конца».

Таким образом, мы приходим к парадоксу: жизнь, смыслом которой являлось бы размножение, была бы, по сути, столь же бессмысленна, как и размножение. С другой стороны, продолжение жизни имеет смысл только в том случае, если жизнь сама по себе наполнена смыслом.

Поэтому возводить материнство в единственный смысл жизни женщины – значит бросать тень не только на жизнь женщины, не имеющей детей, но и на жизнь женщины–матери. Жизнь выдающейся личности не может лишиться смысла из–за того, что у этой личности нет потомства. Более того, самим своим существованием подобная личность способна придать смысл жизни многим поколениям своих предков, являясь как бы пиком, венчающим династию. Из всего вышесказанного видно, что жизнь никогда не кончается сама в себе и что воспроизводство жизни никогда не является ее смыслом; скорее жизнь приобретает смысл в других, небологических сферах: интеллектуальной, этической, эстетической и т. п. Таким образом, эти сферы отношения оказываются внешними по отношению к биологической стороне жизни. Жизнь превосходит себя не в «длину» – в смысле самовоспроизводства, а в «высоту» – путем реализации ценностей – или в «ширину» – Бездействуя на общество.

Мы привели эти доводы пациенту, которому категорически не рекомендовалось иметь детей из–за отягощенной наследственности. В результате пациент, преподаватель и писатель по профессии, сам признал, что его первоначальные взгляды на смысл жизни – а он считал, что его плодотворной в интеллектуальном плане жизни не достает смысла из–за того, что он не может иметь детей,– представляли собой «фактически какой–то убогий материализм». Более того, нам удалось убедить его в том, что его первоначальная позиция проистекала из его презрения к себе: из–за собственного физического недостатка пациент склонен был переоценивать важность биологического «бессмертия». Пришлось спросить его, хотел бы он оставить о себе память в образе сына, страдающего тяжким наследственным недугом, и не лучше ли, если он будет жить во многих поколениях своих читателей и учеников. Приняв для себя все это, пациент был готов отказаться от планируемого брака. И снова врачу пришлось вмешаться, для того чтобы объяснить ему, что воспроизводство не является смыслом брака, как не является оно и смыслом жизни. Удовлетворение природных инстинктов и биологическое воспроизводство – это, в конечном счете, лишь два, причем даже не самых важных, аспекта брака. Гораздо более существенным является «духовный фактор» – то, что мы называем любовью.

Подобно тому, как существование каждого человека непохоже на существование других, так и сам по себе человек неповторим. Но так же, как и смерть, ограничивая жизнь во времени, не лишает ее смысла, а скорее является тем самым, что составляет смысл жизни, так и внутренние пределы делают жизнь человека более осмысленной. Если бы все люди были идеальны, тогда каждого человека всегда можно было бы заменить любым другим.

Именно из людского несовершенства следует незаменимость и невозполнимость каждого индивида – поскольку каждый из нас несовершенен на свой манер. Не существует универсально одаренных людей – более того, человек неповторим именно в силу своего отклонения от нормы и средних стандартов.

Поясним это примером из биологии. Хорошо известно, что, когда одноклеточные организмы эволюционируют в многоклеточные, это оборачивается для них потерей бессмертия. Они лишаются и своего «всемогущества». Они меняют свою универсальность на специфичность. К примеру, исключительно дифференцированные клетки в сетчатке глаза выполняют такие функции, которые не может выполнить ни один другой вид клеток. Известный принцип «разделения труда» лишает отдельную клетку исходно присущей ей функциональной автономии и универсальности, однако утраченная клеткой способность независимого функционирования компенсируется ее относительной специфичностью и незаменимостью внутри организма.

Аналогичная картина и в мозаике, где каждая частица, каждый отдельный камушек остается неполноценным, несовершенным сам по себе – и по форме, и по цвету. Смысл отдельного элемента мозаики определяется только тем местом, которое он занимает в целой картине. Если все эти элементарные фигурки составляют единое целое подобно миниатюре, например, тогда каждая из них могла бы быть заменена любой другой. Форма

природного кристалла может быть совершенной, и именно поэтому его можно заменить любым другим экземпляром той же кристаллической формы: какой ни взять восьмигранник, он похож на все остальные.

Чем более специфичен человек, тем менее он соответствует норме, как в смысле средней нормы, так и в смысле идеальной. Свою индивидуальность люди оплачивают отказом от нормальности, а случается – и отказом от идеальности. Однако значимость этой индивидуальности, смысл и ценность человеческой личности всегда связаны с сообществом, в котором она существует. Подобно тому, как даже неповторимость мозаичного элемента представляет ценность лишь в отношении к целостному мозаичному изображению, неповторимость человеческой личности обнаруживает свой внутренний смысл в той роли, которую она играет в целостном сообществе. Таким образом, смысл человеческого индивида как личности трансцендирует его собственные границы в направлении к сообществу: именно направленность к сообществу позволяет смыслу индивидуальности превзойти собственные пределы.

Людям присуще чувство некоторой эмоциональной стадности; однако человеческое сообщество этим не ограничивается: перед ним стоит более общая, выходящая за пределы этой «стадности» задача. Но не только личности необходимо сообщество, ибо лишь в нем ее существование обретает смысл; но и, наоборот, сообщество, чтобы иметь смысл, не может обойтись без отдельных личностей. Именно в этом существенное различие между сообществом и просто толпой. Толпа отнюдь не обеспечивает человеку такой сферы отношений, в которой он мог бы развиваться как личность, масса не терпит индивидуальности. Если отношения между человеком и сообществом можно сравнить с целым мозаичным рисунком, то взаимоотношения человека и толпы подобны серому булыжнику, которым выкладывают мостовую: все камни имеют одинаковый цвет и форму, каждый из них может быть заменен любым другим; для хорошего качества мостовой совершенно не обязательно, чтобы ее мостил именно этот, отдельно взятый булыжник. Мостовая сама по себе не является целостным образованием, это всего лишь множество камней. Однородное дорожное покрытие не обладает эстетической ценностью мозаики; оно обладает лишь ценностью утилитарной – ведь толпа потопляет в себе достоинства и истинную ценность людей, извлекая из них чисто утилитарную пользу. Существование личности в полной мере обретает смысл лишь в сообществе. Таким образом, в этом смысле ценность человека зависит от сообщества. Но коль скоро сообщество само должно иметь смысл, оно вынуждено мириться с индивидуальными особенностями людей, его составляющих. В толпе же, напротив, особенности отдельной личности, ее непохожесть затираются, должны быть затерты, поскольку ярко выраженная индивидуальность представляет собой разрушительный фактор для любой толпы. Смысл сообщества держится на индивидуальности каждого его члена, а смысл личности проистекает из смысла сообщества, «смысл» толпы разрушается индивидуальными особенностями составляющих ее людей, а смысл отдельной личности топится толпой (в то время как сообщество помогает этому смыслу проявиться).

Как мы сказали, неповторимость каждого человека и своеобразие всей его жизни являются неотъемлемыми составляющими смысла человеческого бытия. Следует отличать своеобразие, о котором идет речь, от чисто внешней непохожести на других, ибо последняя сама по себе ценности не представляет. Тот факт, что один человек отличается от другого по рисунку отпечатков пальцев, еще не выделяет его как личность.

Таким образом, когда мы говорим, что благодаря своей неповторимости человеческое существование не бессмысленно, мы имеем в виду совсем иной тип неповторимости. Мы могли бы по аналогии с гегелевской «хорошей» и «плохой» бесконечностью говорить о хорошей и плохой неповторимости. «Хорошая неповторимость» – это такая, которая была бы направлена к обществу, для которого человек представляет большую ценность именно в силу своей непохожести на остальных.

Человеческое существование представляет собой особый вид бытия, непохожий на бытие любого другого объекта. К примеру, дом состоит из этажей, а этажи из комнат. Таким образом, мы можем рассматривать дом как сумму этажей, а комнату – как часть этажа. Итак, мы можем более или менее произвольно разграничивать элементы бытия, намеренно сводя какое-либо конкретное явление или предмет к более общему или же, наоборот, вычлняя его из общего. И только человеческая личность, ее существование не подвластны подобной процедуре; человек представляет собой нечто, завершенное в себе, существующее само по себе, – его нельзя ни разделить, ни сложить с другими предметами или явлениями.

Чему человек отдает предпочтение, его образ жизни – все это можно описать, исходя из нашей первоначальной идеи о том, что «быть – значит отличаться». Можно сформулировать это так: существование человека как личности означает абсолютную непохожесть его на других. Ибо своеобразие (уникальность) каждого означает, что он отличается от всех остальных людей.

Таким образом, человека нельзя ввести составляющим элементом ни в какую систему высшего порядка – ведь при этом он неизбежно теряет особое качество, которое отличает собственно человеческое бытие, – чувство достоинства. Наиболее ярко это проявляется в феномене массы, или толпы. Толпа как таковая не имеет ни сознания, ни ответственности. И именно поэтому она лишена существования. Несмотря на то, что толпа может действовать и в этом смысле она «реальна», она не действует ни внутри себя, ни сама по себе. Социологические законы действуют не поверх людских голов, а напротив – люди сами являются проводниками этих законов. Возможно, подобные законы и кажутся имеющими силу, но они являются таковыми лишь в той степени, в какой действены вероятностные расчеты для массовой психологии, и только в той мере, в какой является предсказуемым среднестатистический человек. Но этот среднестатистический человек – выдумка ученых, а не реальная личность. Он никак не может быть реальным человеком именно в силу своей предсказуемости.

Скрываясь и растворяясь в толпе, человек утрачивает важнейшее из присущих ему качеств – ответственность. С другой стороны, когда он берет на себя задачу, поставленную обществом, он добивается совсем иного – увеличения собственной ответственности. Бегство «в толпу» – это способ скинуть с себя бремя собственной ответственности. Как только кто-нибудь начинает вести себя так, как будто он всего лишь частица «высшего» целого и только это целое играет определяющую роль, он начинает получать истинное наслаждение от того, что удалось «сбросить» с себя хотя бы часть ответственности. Эта тенденция к избеганию бремени ответственности оказывается мотивом для любых форм коллективизма. Истинное сообщество, в сущности, – это сообщество ответственных личностей; толпа – это просто множество обезличенных существ.

Когда дело доходит до оценки человеческих поступков, коллективизм нередко приводит к нелепым заблуждениям. Вместо конкретного, персонально ответственного индивида идея коллективизма подставляет лишь усредненный тип, а вместо личной ответственности – конформность и уважение к социальным нормам. В этом процессе ответственность утрачивается не только объектом оценки, но в не меньшей степени и субъектом такого оценочного суждения.

Оценка с помощью типов упрощает задачу тому, кто оценивает, поскольку она освобождает человека от ответственности за это оценочное суждение. Если мы оцениваем какого-то конкретного индивида как представителя определенного человеческого типа, нам даже не требуется сколько-нибудь подробно рассматривать данный индивидуальный случай, и это оказывается весьма удобным способом такой оценки. Это столь же удобно, как и, к примеру, оценка автомобиля по его марке или типу салона. Если вы сидите за рулем автомобиля какой-то определенной марки, вам хорошо известны собственные возможности в связи с этим. Если вам известна марка пишущей машинки, вам легко

представить, что от нее можно ожидать. Даже породу собаки можно для себя выбрать подобным образом: пудель будет иметь совершенно определенные черты и определенные наклонности, у волкодава они будут существенно другими. Только в случае с человеком такие вещи «не проходят». Отдельный человек не детерминирован своим происхождением; его поведение нельзя вычислить, исходя из его типа. Такой расчет никогда не будет точным, никогда не «сойдется нацело» – обязательно будет какой-то остаток. Этот остаток и выражается в свободе человека избегать ограниченных рамок собственного типа. Истинно человеческое начинается в человеке там, где он обретает свободу противостоять зависимости от собственного типа. Ибо только там, именно в этой свободе, в ощущении своего свободного и ответственного бытия возникает подлинный человек. Чем более стандартизована некоторая машина или устройство, тем они лучше; но, чем больше стандартизована личность, чем больше она «растворяется» в своем классе, национальности, расе или характерологическом типе, тем больше она соответствует некоему стандартному среднему – и тем ниже она в нравственном отношении.

В нравственном плане идея коллективизма приводит к понятию «коллективной вины». С людей спрашивают за то, за что они в действительности ответственности не несут. Тот, кто судит людей подобным образом или даже обвиняет их, ответственности за свой приговор не несет. Конечно, гораздо проще возвышать или унижать «расы» целиком, чем пытаться оценить каждого отдельного человека – то есть отнести его к одной из двух групп, на которые с точки зрения нравственности делятся все люди: к «расе» людей порядочных или к «расе» нравственно испорченных.

Человеческая ответственность – как экзистенциальный анализ пытается довести до нашего сознания – это ответственность, происходящая из неповторимости и своеобразия существования каждого индивида. Бытие человека представляет собой ответственность, вытекающую из конечности его жизни. Эта конечность жизни, ограниченный отрезок времени, отведенный человеку здесь, на земле, не лишает его существование смысла. Напротив, как мы уже видели, сама смерть делает жизнь более осмысленной. Мы сказали, что неповторимость жизни в целом складывается из «неповторимостей» каждой конкретной ситуации. А уникальность жизни вообще составляют уникальные судьбы каждого отдельного человека. Подобно смерти, судьба представляет собой часть жизни. Никто не может избежать всего конкретного и неповторимого, что готовит ему судьба. Если же он спорит со своей участью – то есть с тем, что не в его власти, с тем, за что он не несет никакой ответственности, с тем, в чем он не может быть повинен, – он упускает смысл своей собственной судьбы. А судьба человека всегда имеет определенный смысл: ведь судьба – столь же существенная составляющая смысла человеческой жизни, как и смерть. В пределах своей собственной «исключительной» судьбы каждый человек является незаменимым. Благодаря этой незаменимости повышается его ответственность при формировании собственной судьбы. Если мы говорим, что у человека есть судьба, это значит, что у каждого – своя собственная судьба. И каждый находится наедине со своей судьбой, так сказать, один во всей вселенной. Его судьба, то есть все, что происходит с ним, неповторимо. Никто более не обладает теми возможностями, какими наделен данный индивид, и ему самому все эти возможности даются лишь однажды. Возможности, которые у человека возникают для реализации ценностей творчества и ценностей переживания, беды и несчастья, которые ожидают его в жизни, которые он не в состоянии отвести и поэтому должен переживать и, таким образом, реализовывать ценности отношения, – все это единственное в своем роде, принадлежащее ему, и только ему.

Парадоксальная природа любого отрицания своей судьбы становится очевидной, когда, к примеру, человек спрашивает, какова была бы его жизнь, если бы, скажем, на свет произвел его не отец, а кто-либо другой. Он забывает, конечно, что в этом случае он был бы не «сам он», что человек с иной судьбой просто обязан быть кем-то совершенно другим, так что в подобном случае было бы невозможно и говорить о «его» судьбе. Таким

образом, вопрос о возможности другой судьбы для человека сам по себе несостоятелен, противоречив и бессмыслен.

Судьба человека принадлежит ему подобно тому, как принадлежит ему земля, которая держит его благодаря силе своего притяжения, но без которой человек не мог бы ходить. Мы должны принять нашу судьбу, как мы принимаем землю, на которой стоим, – это площадка, являющаяся как бы трамплином для нашей свободы. Свобода невозможна без положенной человеку судьбы; свобода – это всегда свобода выбора и притяжения своей участи, выбора позиции, которую человек занимает, сталкиваясь со своей судьбой. Безусловно, человек свободен, но он не плывет свободно в безвоздушном пространстве. Он всегда окружен множеством ограничений. Однако он как бы отталкивается от этих ограничений для реализации своей свободы. Свобода предполагает ограничения, основывается на них. Психика зависит от инстинкта, существование – от материи. Но эта зависимость особого рода. Человек всегда превосходит землю, по которой идет, земля нужна ему лишь постольку, поскольку он может от нее оттолкнуться, использовать как трамплин. Если бы нам надо было дать определение человеку, мы бы сказали, что человек представляет собой существо, освободившее себя от всего, что его определяло (определяло как биологический, психологический и социологический тип), другими словами, это существо, которое превосходит все эти детерминанты – либо побеждая их и формируя их по-своему, либо намеренно подчиняясь им.

Этот парадокс подчеркивает диалектическое свойство человека: в присущей ему извечной незавершенности и свободе выбора заключено то, что его реальность – это потенциальная возможность. Он не является еще таким, каков он есть, таким он лишь должен стать.

Быть человеком – значит быть ответственным потому уже, что это означает быть свободным. Это такой способ бытия, который, как говорит Ясперс, в первую очередь сам решает, каким ему быть, это «самоопределяющееся бытие». Это «существование». Стоящий передо мной стол всегда останется тем, что он есть, по крайней мере, до тех пор, пока человек не приложит к нему руки с тем, чтобы изменить его. Однако человек, сидящий за этим столом напротив меня, каждый раз заново решает, каким он будет в следующий момент, что он скажет мне или скроет от меня. Из множества самых разных возможностей своего бытия он реализует лишь одну – единственную и таким образом предопределяет свое «существование» как таковое. (Человеческий способ бытия, названный существованием, можно определить также как «бытие собственной сущности».) Никогда в течение жизни судьба не предоставит человеку случая избежать необходимости выбора из альтернативных возможностей. Тем не менее, он может сделать вид, «как будто» у него нет выбора и он несвободен в своем решении. Такое «поведение как будто» составляет существенную часть человеческой трагикомедии.

Австрийский император Франц I, как повествует один старый анекдот, неоднократно отказывал одному просителю, который приходил к нему с одним и тем же делом. После очередного отказа император, повернувшись к своему адъютанту, сказал: «Вот увидите, этот болван в конце концов добьется своего». Что же кажется нам забавным в этом анекдоте? Да то, что император делает вид, что несвободен, что бессилён решать, «добьется» ли своего «болван» в следующий раз.

Очень часто в юмористических рассказах обыгрываются комические ситуации, когда человек слеп по отношению к своей свободе принятия решений. Вот, к примеру, рассказ о человеке, который жалуется своей жене, что современные люди совершенно безнравственны. В доказательство своей точки зрения он говорит: «Например, я сегодня нашел бумажник. Неужели ты думаешь, мне придет в голову отнести его в бюро находок?» В чем здесь шутка? А в том, что если кто-нибудь и решается говорить о своей собственной нечестности, то так, как будто он не несет за нее ответственности. Человек в вышеприведенном рассказе делает вид, что он просто вынужден мириться со своим безнравственным поступком – точно так же, как ему приходится мириться с

безнравственностью других. Он поступает так, будто он несвободен и не может решить, оставить бумажник себе или же сдать его в бюро находок.

Мы говорили о школьном учителе, который описывал «сущность» человеческой жизни как процесс окисления и сгорания. Свеча, которая только «наличествует», пользуясь терминологией философии экзистенциализма, сгорает до конца, эта свеча никак не может управлять процессом собственного сгорания. Человек же, поскольку ему свойственно осмысленное существование, всегда свободен в своем решении относительно способа собственного бытия. В его власти принимать самые различные решения, вплоть до возможности самоуничтожения. Мы даже возьмем на себя смелость сказать, что этот наиболее радикальный вызов самому себе, на который способен человек (то есть не только сомнения в смысле жизни, но и действия, направленные против жизни), эта фундаментальная возможность человека выбрать самоубийство, эта его свобода решать, быть ли ему вообще, выделяют человека из всех других существ, этим человеческий способ бытия отличается от существования животных.

Свобода принятия решений, так называемая свобода воли, для человека непредубежденного есть нечто само собой разумеющееся; он непосредственно ощущает себя свободным. Человек же, серьезно сомневающийся в свободе своего волеизъявления, либо безнадежно поддался влиянию философии детерминизма, либо болен параноидной шизофренией; в последнем случае ему кажется, что воля его «скована» кем-то извне. Фатализм невротика проявляется в том, что свобода воли как бы скрыта от него; невротик сам себе не дает реализовать собственные возможности, он сам мешает себе быть таким, каким он «может быть». Вследствие этого он искажает свою жизнь. Если мы утверждали вначале, что быть человеком означает быть непохожим на других, то теперь мы должны выразить эту формулу иначе: быть человеком – значит не только не походить на других, но также уметь становиться непохожим, то есть уметь изменяться.

Свобода воли противостоит судьбе. Ведь судьбой мы называем то, что по сути своей отрицает человеческую свободу, судьба – это то, что лежит за пределами как власти человека, так и его ответственности. Однако никогда не следует забывать, что вся свобода человека находится в зависимости от его судьбы, поскольку свободой этой человек пользуется в пределах своей судьбы и именно благодаря свободе он на эту судьбу воздействует.

Целостность прошлого – именно потому, что в нем уже ничего нельзя изменить, – составляет основу человеческой судьбы. То, что прошло, становится принципиально неизменным. И, тем не менее, человек обладает некоторой свободой даже по отношению к собственной судьбе, воплощенной в прошлом. Конечно, прошедшее во многом определяет и объясняет настоящее, однако никак нельзя представить себе будущее, которое определялось бы исключительно прошлым. В этом заключается ошибка, типичная для фаталистической позиции невротика, который, вспоминая свои прошлые неудачи, заключает, что его неудачная, несчастная судьба определяет и оправдывает все его возможные будущие ошибки. На самом деле ошибки прошлого должны служить плодотворным материалом для формирования более совершенного, «лучшего» будущего; из собственных промахов необходимо извлекать уроки. Человек волен занять чисто фаталистическую позицию по отношению к своему прошлому или, наоборот, чему-то учиться на опыте прошлого. Никогда не поздно учиться, но и никогда не рано: учиться всегда «самое время», чему бы мы ни учились. Пренебрегая этим, мы рискуем оказаться похожими на того пьяницу, которого убеждали бросить пить. – Теперь уже слишком поздно, – отвечал он. – Но ведь это никогда не поздно! – продолжали убеждать его. – В таком случае, я обязательно брошу, но как-нибудь потом, – окончательно парировал он.

Человеческая свобода вызывается к действию неизбежностью прошлого, которое вследствие этого становится судьбой. А судьба, то есть все уже свершившееся, должна всегда выступать стимулом к новым, сознательным и ответственным действиям. Как мы уже видели, в жизни человек постоянно находится в таком положении, что в любой

момент он может оказаться перед необходимостью выбора из множества возможностей одной–единственной альтернативы, которую он «спасает» от небытия, реализуя ее в своих действиях, как бы перенося ее в целостности и сохранности в «царство прошлого». И в этом царстве прошедших событий то, что прошло, непременно сохраняется, как ни парадоксально это звучит, именно благодаря тому, что все это уже в прошлом. Как мы отмечали выше, реальность прошедшего защищена именно его неизменностью. Прошедшее – самый надежный вид бытия. Становясь прошедшими, наши возможности уже никогда не исчезнут бесследно – только нереализованные возможности уходят навсегда. (Сравните сказанное выше в отношении к единичным ситуативным ценностям с постоянно и необратимо уходящими возможностями реализовать их.) Только тому, что сохранено в прошлом, не грозит кануть в небытие. Действительность спасается от исчезновения, становясь прошлым. Момент превращается в вечность, если возможности, скрытые в нем, превращаются в те реальности, которые надежно хранятся в прошлом, «навсегда». В этом и заключается смысл любой актуализации. В этом смысле человек актуализирует себя не только тогда, когда он выполняет какие–то действия или создает творения непреходящей ценности, но даже и тогда, когда он просто существует. Как мы уже видели, такой объективизм позволяет нам сказать: то, что уже реализовано в человеческом существовании, никогда нельзя уничтожить, даже если вдруг это забудется, даже если память об этом полностью подавлена – например, в результате смерти человека, пережившего это. В противоположность описанной ситуации сравните с ней то, что будет ниже сказано о субъективизме, или вполне возможный случай, когда человек, столкнувшись с неудачей, одурманивает сам себя, впадая в безответственность несчастья через опьянение или, еще хуже, – в абсолютно безответственное стремление к самоубийству.

Судьба может быть представлена человеку в трех принципиальных формах: 1) как его естественная предрасположенность или природный дар–то, что Тандлер в свое время назвал «телесной неизбежностью»; 2) как ситуация, то есть целостность его внешнего окружения; 3) как взаимодействие предрасположенности и ситуации, которое формирует человеческую позицию. Человек занимает позицию по отношению к чему–либо, что означает, что он формирует к этому свое отношение. Занять позицию или сформировать отношение к чему–либо – вопреки принципу предопределенности «данной позиции» – это вопрос свободного выбора. Доказательством этому является тот факт, что человек способен «сменить свою позицию», принять иное отношение (для этого мы включаем размерность времени в нашу объяснительную схему, поскольку смена позиции означает изменение отношения, происходящее со временем). Смена позиции в этом смысле включает, к примеру, все, что мы называем образованием, обучением или саморазвитием, а также психотерапию в самом широком смысле этого слова, вплоть до таких грандиозных внутренних переворотов, как обращение в другую веру.

В предрасположенности выражена биологическая участь человека, в ситуации – его социальная детерминированность. Кроме того, существует и его «психологическая судьба». Чуть позже мы вернемся к этим вопросам и рассмотрим, как биологические, психологические и социальные факторы человеческой судьбы ограничивают его свободу.

Рассмотрим сначала те случаи или ситуации, в которых человек противостоит биологической неизбежности. Сразу же возникает вопрос о том, насколько и как далеко распространяется свобода человека в отношении к собственному организму или насколько глубоко проникает его способность к свободному выбору и произвольной регуляции в его собственную физиологическую организацию. Здесь мы подступаем к классической психофизической проблеме, поэтому мы вынуждены отступить перед бесконечными дискуссиями о том, зависит ли и в какой степени физическое, телесное существование человека от его духовно–психического бытия или наоборот. Мы ограничимся лишь анализом и сравнением нескольких характерных случаев, в надежде на то, что они скажут сами за себя.

Ланге, известный психиатр, описывал следующий случай. Он длительно наблюдал за парой идентичных (однойцевых) братьев–близнецов, которые долгие годы жили вдалеке друг от друга. Практически в то же самое время, когда он лечил одного из этих близнецов от паранойи, доктор Ланге получил письмо от другого, жившего в отдаленном городе. Это письмо отчетливо выдавало маниакальные симптомы, совпадающие по содержанию с параноидальными, обнаруженными у первого брата. Это действительно судьба: у идентичных близнецов, развившихся из единой зародышевой клетки и имевших одну и ту же исходную генетическую предрасположенность, почти одновременно проявилось одно и то же психическое заболевание.

Ну как тут не склониться под впечатлением случаев, подобных этому перед мощью природной судьбы? Рассматривая эти факты, свидетельствующие о способности органических сил выходить на передний план, противостоя всему остальному, как мы можем еще сомневаться в этих силах? Разве человеческая судьба не сформирована в основном такими биологическими факторами, этими врожденными природными задатками? Какова же тогда роль собственно человеческого, духовного фактора, где и когда он возобладает? Результаты исследований по наследственной патологии близнецов подтверждают фаталистические заключения, исключительно опасные тем, что они парализуют человеческую волю, призванную противостоять своей собственной внутренней предопределенности.

Теперь о том, что касается второго случая. Во время своей работы в Венской неврологической клинике доктор Хофф и его помощники проводили с испытуемыми экспериментальные сеансы гипноза, с тем, чтобы вызвать состояние «чисто выкристаллизованного» аффекта.

В разное время испытуемым предлагались то радостные, то грустные переживания. Анализ кровяной сыворотки, взятой у испытуемого в период радостного возбуждения, показал, что в это время ее иммунная активность против бацилл–возбудителей тифа гораздо выше, чем в тот момент, когда этого же испытуемого охватывают грустные переживания. Данные исследования отчасти объясняют пониженную сопротивляемость инфекциям у тревожных ипохондриков. Они же помогают понять, почему в инфекционных больницах или даже в лепрозориях санитаркам, которые полны высочайшего чувства долга, удавалось избежать заражения, так что передаются легенды об их «чудодейственном» иммунитете.

Мы считаем, что нет смысла противопоставлять «силу духа» и «силы природы». Мы уже отмечали, что как разум, так и плоть являются составляющими человека, что и разум, и плоть зависят друг от друга. Ибо человек является гражданином сразу нескольких миров; он находится в состоянии постоянного жизненного напряжения, в биполярном силовом поле. Если бы мы попытались проверить эти силы, натравливая их друг на друга, в итоге мы, вероятно, получили бы ярчайший вид соревнования.

Вечная борьба духовной свободы человека с его внутренней и внешней судьбой и составляет, по сути, человеческую жизнь. Ни в коей мере не преуменьшая значения судьбы, особенно судьбы биологической, мы, как психотерапевты, рассматриваем судьбу как конечный полигон для человеческой свободы. Ради своей работы по крайней мере мы должны действовать так, как будто область принуждения и давления судьбы не посягает на поле свободы действий; таким образом мы можем максимально полно использовать свою свободу.

Даже там, где физиология тесно связана с психикой – в случаях патологии мозга, – патологическое физическое изменение совсем не обязательно и не раз и навсегда определяет судьбу человека, скорее болезнь является как бы отправной точкой для формирования больным своей судьбы. В этом смысле говорят, что мозг человека «пластичен». Нам известно, к примеру, что в случае поражения ассоциативных полей головного мозга другие области коры могут компенсировать подобное нарушение, так что рано или поздно необходимые функции могут быть восстановлены. Известному

американскому нейрохирургу Дэнди удалось даже удалить кору головного мозга правого полушария целиком (у правой), не производя никаких сколько-нибудь значимых и устойчивых психических нарушений. Будет ли принят больным и его родственниками физический недуг, являющийся следствием подобной операции – а при этом парализуется вся левая часть тела, – это отдельный вопрос. Такого рода проблема имеет отношение к философскому основанию медицинской практики.

В настоящее время, хотя достоверно это пока еще неизвестно, существуют предположения, что целые участки человеческого мозга недоразвиты. До сих пор не выяснено, все ли в действительности ганглиозные клетки мозга используются в его деятельности. Тот факт, что другие участки мозга могут брать на себя функции пораженных центров, казалось бы, указывает на то, что используются они далеко не все.

И что наиболее важно, как показали последние исследования, филогенетическое развитие мозга происходит скачками. В частности, число ганглиозных клеток возрастает не постепенно, а удваивается на каждой новой стадии эволюции мозга. Кто может с определенностью сказать, что сегодня исчерпаны все ресурсы человеческого мозга на современном этапе его эволюции? Разве не чувствуется, что функциональное развитие нашего мозга еще не достигло максимально возможного уровня?

Биологическая судьба представляет собой материал, который приобретает форму под воздействием свободного человеческого духа, то есть под влиянием того, ради чего, с точки зрения человека, он существует. Снова и снова мы становимся свидетелями того, как осмысленно человек вплетает свою биологическую предопределенность в структуру собственной жизни. Мы постоянно встречаем людей, добившихся успехов в преодолении невероятных трудностей, серьезных физических недостатков, которыми они были наделены от природы; люди эти преодолели первоначальные препятствия на пути своего духовного развития, препятствия, навязанные так называемым биологическим фактором.

Та форма жизни, которой они в итоге достигают, напоминает произведение искусства или высшее спортивное достижение: первое – в том смысле, что свобода воли придала форму сопротивляющемуся биологическому материалу; второе – в том смысле, в котором мы ранее представляли мастерство спортсмена как пример того, чего можно достичь целенаправленным усилием. Бегун, стартовавший позади своего соперника с определенной форой, может по результатам забега оказаться лучше его, даже если не он первым пересечет финишную линию. Неудивительно, что у англичан, у этой нации спортсменов, одним из самых распространенных является принцип: «сделать все от себя зависящее». Этот принцип подразумевает, что сам человек при оценке какого-либо достижения принимает в расчет элемент его относительности. Достижение должно оцениваться по отношению к исходной точке, к конкретной ситуации со всеми ее сложностями, со всеми внешними и внутренними преградами.

Человеческая жизнь, отмеченная с самого начала печатью противостояния индивида собственной природной ограниченности, может показаться единой и грандиозной рекордной гонкой. Нам известен человек, у которого в результате предродового поражения мозга были частично парализованы все четыре конечности. Его ноги были настолько атрофированы, что всю жизнь он был прикован к каталке. Вплоть до позднего отрочества его вообще считали умственно отсталым, и он оставался безграмотным. В конце концов, какой-то ученый заинтересовался им и организовал для него минимальное начальное обучение. В поразительно короткий срок наш пациент научился не только читать, писать и тому подобное, но и приобрел знания на уровне университетского образования в тех вопросах, которые вызвали его особый интерес. Теперь уже многие известные ученые и профессора стали соперничать друг с другом за право стать его частным преподавателем. Он создал в своем доме литературный салон, в котором сам стал наиболее интересной и привлекательной фигурой. Лучшие красавицы боролись за его любовь, за место в его постели, настолько теряя головы, что случались целые скандалы и даже попытки самоубийства. А этот мужчина не мог даже говорить нормально! Его

артикуляция была резко затруднена тяжелой болезнью; каждое слово он произносил с невероятными усилиями и перекошенным лицом. Какой великой силой нужно было обладать этому человеку, чтобы «вылепить» свою жизнь! И каким примером мог бы он быть для наших пациентов, которые в большинстве своем начинают с гораздо менее тяжелого состояния, чем начинал он! Ибо если бы его жизнь сложилась в соответствии с его «судьбой», он должен был бы просто прозябать в каком-нибудь заведении для умственно отсталых, чтобы в один прекрасный день умереть там в неизвестности.

Теперь вернемся к тому, что мы обозначили как «психологическую судьбу человека», имея при этом в виду те психологические факторы, которые определяют путь к духовной свободе индивида. Заслуга психоанализа в том, что он сумел отчетливо выделить детерминированный характер психических процессов, их предопределенность, рассматривая все душевные события как неизбежный результат определенных более или менее необходимых «механизмов». Однако любой непредубежденный наблюдатель не может не признать того простого факта, что наши инстинкты, так сказать, лишь «формируют предложения» к поведению, тогда как наше «Я» принимает решение, что в конце концов делать с этими предложениями. Именно наше «Я» способно решать и совершать свободный выбор; именно «Я» выступает субъектом желания: «Я хочу». И так происходит всегда–независимо от того, куда нас «влечет» сумма бессознательных побуждений–«Оно».

Сам Фрейд был вынужден допустить, что «Эго» («Я») по сути своей противостоит инстинктам, составляющим подсознательное «Оно». С другой стороны, он пытался вывести «Эго» из инстинктов. Несостоятельность подобного подхода аналогична тому, как если бы в ходе судебного разбирательства адвокат, закончив свою защитную речь, оказался вынужденным занять место обвинителя и вести дело против самого себя. Эрвин Штраус давно уже доказал, что сила, которая подчиняет себе инстинкты и управляет ими, не может сама быть выведена из инстинктов. А Шелер охарактеризовал психоанализ как интеллектуальную алхимию, которая настаивает на возможности превращения сексуальных инстинктов в нравственные побуждения.

Конечно же, «Эго», как воплощение воли, принимающей решение, неизбежно нуждается в энергии инстинкта. Однако «Эго» никогда не может оказаться просто пассивно «влекомым». Плавать под парусом – это не значит отдать корабль на волю ветра; напротив, искусство моряка–парусника как раз и заключается в его способности использовать ветер так, чтобы он гнал корабль в нужном направлении, так что хороший моряк может править даже против ветра. Опасность психоаналитической концепции человеческой инстинктивности состоит в том, что она в конечном итоге приводит к фатализму. Как бы там ни было, невротические больные прежде всего предрасположены к слепой вере в неизбежность судьбы.

Изначальное слабоволие–это выдумка, не существует такой реальности. И хотя невротик склонен приписывать независимый статус силе воли, она сама по себе не остается чем–то застывшим или раз и навсегда данным. Напротив, сила воли определяется ясностью и глубиной понимания собственных целей, искренностью принимаемых решений и в немалой степени – навыками принятия решений (которых невротическим больным особенно не хватает). До тех пор, пока человек будет продолжать постоянно и совершенно неоправданно напоминать себе перед каждой попыткой совершить усилие, что она может оказаться неудачной, он вряд ли преуспеет в своих усилиях – хотя бы потому, что ему не захочется разрушать собственные ожидания. Поэтому тем более важно при выработке решения оградиться с самого начала от всех контраргументов, возникающих при этом в таком множестве. Если, к примеру, некто обдумывает возможность бросить пить, его сразу же подстерегает огромное разнообразие внутренних возражений против этого шага, например: «Но я же вынужден...» или «Да, но я вряд ли смогу удержаться...» и так далее. Если бы вместо этого он просто повторял себе: «Больше ни единого глотка, и точка!» – он был бы на более правильном пути.

Насколько поучительным, несмотря на всю свою спонтанность и непреднамеренность, оказался ответ одной из наших пациенток, больной шизофренией, на вопрос о том, страдает ли она слабоволием: «Я слабовольна до тех пор, пока хочу быть такой, но когда я не хочу этого, я перестану быть слабовольной». Эта больная, несмотря на свой психотизм, на редкость пронизательно определила, что люди склонны скрывать сами от себя свободу собственной воли, оправдываясь якобы присущим им слабоволием.

На невротических больных–фаталистов сильное впечатление производят идеи «индивидуальной психологии» (причем они эти идеи понимают неверно и, как следствие, неверно их используют), в результате чего они склонны винить условия своего существования в детстве, полученное ими воспитание и образование в том, что все это «сделало» их такими, какие они есть, и, таким образом, предопределило их судьбу. Такие люди пытаются оправдать слабости своего характера изъянами биографии. Они принимают эти слабости как нечто раз и навсегда данное, вместо того чтобы понять следующее: раз в детстве и юности они находились под воздействием столь неблагоприятных условий, это тем более их обязывает взять себя в руки и заняться самовоспитанием. Один пациент, доставленный в психиатрическую клинику после попытки совершить самоубийство, ответил на увещевания своего психотерапевта: «Ну что я могу здесь сделать? Я как раз тот самый типичный «единственный ребенок», о котором пишет Адлер».

Мораль «индивидуальной психологии» (если ее правильно понимать) должна требовать от каждого человека освободиться от типических ошибок и слабостей, под влиянием которых он в результате своего воспитания все еще находится, освободиться настолько, чтобы уже не иметь на себе клейма «единственный ребенок» или какого–нибудь еще, в зависимости от каждого конкретного случая. Фатализм невротика представляет собой еще одну неявную форму бегства от ответственности. Такой невротик предает свою неповторимость и непохожесть на других, ища прибежища в типичности и цепляясь за судьбу, которую якобы нельзя изменить. И в данном случае неважно, каков конкретно этот тип, законам которого человек, как он считает, обязан следовать: тип ли это характера, расовый или классовый тип, иными словами, какую судьбу имеет в виду человек: психологическую ли (коллективную), биологическую или социальную.

«Закон» («индивидуальной психологии»), которому «подчинился» вышеупомянутый пациент (воспринимающий себя единственным ребенком), имеет действие лишь теоретически для человека, далекого от психологии; практически же, в действительности этот закон действует до тех пор, пока его истинность принимается как должное, до тех пор, пока в законе этом человек видит не просто факт, но судьбу, а это уже фатализм. Неправильное воспитание никого не оправдывает; последствия его необходимо преодолевать сознательными усилиями.

То, что каждый человек духовно свободен в выборе позиции не только по отношению к своей физической, но и по отношению к своей психической природе, другими словами, что для него вовсе не обязательно слепо подчиняться психологической судьбе, наиболее драматично и ясно проявляется, наверное, в тех случаях, когда людям приходится выбирать позицию по отношению к болезненным состояниям своей психики. В своей книге «Психология обсессивного невроза» Эрвин Штраус исследовал, насколько неизбежными или искусственными – «созданными» – являются патологические процессы в психике, то есть в какой мере они предопределены судьбой и неподвластны свободе воли человека. В особых случаях, подобных неврозу навязчивых состояний, Штраус склоняется к мнению, что болезнь может настолько ограничить свободу существования такого больного, что даже его философская позиция предопределена судьбой. Мы не можем с этим согласиться и еще обсудим этот вопрос. Здесь же, однако, мы приведем несколько примеров, которые демонстрируют способность человека свободно формировать свою позицию, несмотря на нездоровую психику.

Больная, необыкновенно умная учительница средней школы, проходила в клинике лечение от периодически повторяющихся депрессий, вызванных органической патологией. Ей прописали психотропные лекарства, то есть фактически применялся соматический подход. Однако в ходе непродолжительной беседы с пациенткой врач выяснил, что ее депрессия в данный момент была, по сути, не органического происхождения, а психогенная; и даже если рассматривать болезнь в целом, в ней можно было выделить психогенный компонент. Ибо больная рыдала из-за того, что она такая слезливая. Дополнительный психогенный компонент теперь осложнял первоначально органическое заболевание. Она теперь находилась в состоянии депрессии из-за своей депрессии, то есть ее настоящая депрессия являлась своеобразной реакцией на органическое состояние. Имея в виду подобную реакцию, врач добавил дополнительный терапевтический курс, а именно курс психотерапии для воздействия на психогенные факторы. В соответствии с этим пациентке велели не обращать внимания, насколько это возможно, на свое подавленное настроение и, прежде всего, не предаваться грустным размышлениям о своей подавленности, поскольку благодаря подобным размышлениям перспектива ей будет видеться очень невеселой. Больной предложили позволять состоянию подавленности пройти мимо, подобно тому, как облако проплывает мимо солнца, скрывая его от наших глаз. Она должна помнить, что солнце продолжает существовать, даже если в какой-то момент мы и не видим его. Так же продолжают существовать и ценности, хотя больной, находящийся в состоянии депрессии, временно не в состоянии воспринимать их.

Применение психотерапии помогло больной освободиться от многого из того, что она в себе подавляла. Она сама раскрыла врачу все свое душевное отчаяние, свою низкую самооценку, ничтожность содержания и смысла своей жизни – ужасного существования человека, чувствующего себя безнадежно связанным по рукам и ногам этими повторяющимися состояниями депрессии, к которым приговорила ее судьба. Теперь требовалось лечение, выходящее за рамки чистой психотерапии, в узком смысле этого слова. Необходим был курс логотерапии. Врач должен был показать пациентке, что сама ее болезнь – эти предопределенные судьбой (как сказал бы Штраус, «самопорожденные») повторяющиеся состояния депрессии – бросала ей вызов. Поскольку люди вольны в выборе духовной позиции по отношению к собственным психическим процессам, ей предоставлялась свобода в принятии позитивного отношения к своему недугу, или, другими словами, ей предстояло реализовать то, что мы назвали «ценностями отношения». С течением времени больная научилась видеть, что жизнь полна для нее личных задач, несмотря на ее угнетенное состояние. Более того, она научилась в этих состояниях видеть еще одну задачу: задачу как-то ужиться с ними, быть выше их. После такого экзистенциального анализа – а это именно он и был – она смогла, несмотря на такие свои состояния и даже во время более глубоких фаз эндогенной депрессии, вести жизнь, в большей степени полную сознания ответственности и смысла, чем до лечения, и даже, вероятно, более осмысленную, чем была бы ее жизнь, не заболев она вовсе. Пришел день, когда эта пациентка смогла написать своему врачу: «Я не была человеком, пока Вы меня не сделали им». Хочется вновь вспомнить замечание Гёте, которое мы уже цитировали в качестве ценнейшего принципа любой психотерапии: «Если мы принимаем людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. Если же мы относимся к ним так, как будто они таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать».

Во многих случаях заболеваний психики свободный выбор позиции по отношению к собственной жизни больной может осуществлять в форме примирения с выпавшим на его долю недугом. Ибо именно постоянная напрасная борьба с такими «самопорожденными» состояниями и ведет к усугублению депрессии, тогда как человеку, просто и без особых страданий принимающему подобные приступы, легче не придавать им значения, и оправляется от них он тоже быстрее.

Одна женщина десятилетиями жестоко страдала от слуховых галлюцинаций. Ей постоянно слышались ужасные голоса, насмехающиеся надо всем, что она делала. Однажды ее спросили, как же ей, несмотря на это, удавалось сохранять присутствие духа. Как она относилась к своим галлюцинациям? Она ответила: «А я просто думаю про себя: в конце концов, слышать такие голоса гораздо лучше, чем быть совсем глухой». Сколько умения в выборе жизненной линии проявила эта простая женщина, каким важным достижением (в смысле реализации ценностей отношения) является все ее поведение! Как отважно мирилась она с мучительными симптомами шизофрении, которые могли бы заставить ее полностью потерять самообладание. Разве в этом шутовском и одновременно мудром ответе не содержится элемент свободы духа перед лицом психического нездоровья?

Каждому психиатру известно, насколько не похожим друг на друга может быть поведение больных, страдающих одним и тем же психическим заболеванием в зависимости от их духовной позиции. Один паралитик раздражителен и враждебен по отношению к окружающим, тогда как другой – хотя, по сути дела, страдает тем же заболеванием – дружелюбен, приветлив и даже обворожителен с окружающими его людьми. Нам известен такой случай. В бараке концентрационного лагеря лежали несколько человек, больных тифом. Все бредили, кроме одного, который старался отвести ночной приступ горячки, намеренно отгоняя ночной сон. Возбуждение и интеллектуальный подъем, вызванный лихорадкой, он использовал, однако, для того, чтобы восстановить неопубликованную рукопись своего научного труда, которую у него отобрали в лагере. За шестнадцать бредовых ночей он заново воссоздал всю книгу целиком, делая в потемках краткие стенографические записи ключевых слов на крошечных обрывках бумаги.

Всегда и везде человек оказывается включенным в социальный контекст – в связи с другими людьми и в цепи событий. Личность детерминирована сообществом в двояком смысле: с одной стороны, ее поведение в целом обусловлено социумом и, в то же время, с другой стороны, она сама воздействует на социум, постоянно направлена на него. Таким образом, для индивидуального поведения характерна не только социальная причинность, но и социальная направленность. В отношении социальной причинности необходимо снова отметить, что так называемые социологические законы никогда до конца не определяют поведения индивида – стало быть, они не лишают человека свободы воли. Более того, они могут влиять на него, только проходя через специальную зону индивидуальной свободы, в которой они только и оставляют след в индивидуальном поведении. В отношении общественной предопределенности человеческой судьбы можно сказать, что и здесь остается для человека область, в которой возможен его собственный свободный выбор, так же как и в случае с биологической или психологической предопределенностью его существования.

<...>

Вопросы и задания:

- 1) У каждого ли человека есть смысл жизни (согласно размышлениям В. Франкла)?
- 2) Как человек может, по В. Франклу, найти смысл жизни?
- 3) Что такое «фрустрация»? Чем она опасна?
- 4) Имеет ли человек, согласно взглядам В. Франкла право на самоубийство?
- 5) Как возник метод логотерапии?
- 6) В чем специфика метода логотерапии?



Карл Густав Юнг (26 июля 1875 – 6 июня 1961) – швейцарский психиатр и педагог, основоположник одного из направлений глубинной психологии – аналитической психологии.

В приведенном фрагменте работы «Поздние мысли» Карл Юнг дает комментарий к собственным психоаналитическим воззрениям, поясняя историю их возникновения.

4. Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления. – Минск: ООО Харвест, 2003. – 496 с.

Поздние мысли

Раз уж я решил заняться собственным жизнеописанием, то эта глава, мне думается, необходима, хотя читатели могут сказать, что в ней слишком много теории. Но эта «теория» относится к моей жизни и представляет собой форму моего существования, она мне необходима, как пища.

I

В христианстве замечательно то, что в его догматике предусматриваются некоторые изменения божества, исторические метаморфозы «потустороннего». Так появляется новый сюжет о расколе на небесах, впервые упоминаемый в мифе о сотворении, и там же появляется змееподобный антагонист Создателя, чтобы ввести в искушение первого человека обещанием большего знания – *scientes bonum et malum* (знания добра и зла. – лат.). В другом месте является падший ангел – в некотором роде опрометчивое вторжение бессознательного в человеческий мир. Ангелы – странные существа: сами по себе они такие, какие есть, и другими быть не могут: это существа без души, имеющие в себе только то, что вложил в них Создатель. В этой ситуации падшим ангелом мог сделаться только «плохой» ангел. Здесь имеет место известный эффект «инфляции», который наблюдаем сегодня в мании величия диктаторов: ангелы обратили людей в расу гигантов, что, по Еноху, приведет к вырождению человеческого рода.

Третьей и заключительной стадией мифа явилось воплощение Бога в Человеке. Так исполнилось ветхозаветное пророчество о Богоявлении. Уже в первые века христианства идея воплощения была подкреплена тезисом «*Christus in nobis*» (Христос в нас. – лат.). Таким образом, бессознательная целостность проникла в психические сферы внутреннего опыта, давая человеку некое предчувствие целостной формы, что имело колоссальное значение, причем не только для человека, но и для Создателя: в глазах тех, кто избавился от тьмы, Он стал *summum bonum* (совокупностью добра. – лат.). Миф пережил тысячелетие, пока наконец в XI веке обнаружили первые признаки последующей трансформации сознания.

С тех пор тревога и сомнения росли, и к концу второго тысячелетия образ вселенской катастрофы предстал перед нами со всей очевидностью. Он выражается в мании величия, своего рода заносчивости сознания: «нет ничего выше человека и дел человеческих». Таким образом, трансцендентность христианского мифа была утрачена, а вместе с ней и христианское представление о целостности.

За светом следует тень, другая сторона Творца. Пик этой тенденции приходится на XX век. Ныне христианский мир воистину столкнулся со злом, с откровенной несправедливостью, тиранией, ложью, рабством и принуждением. В неприкрытой форме

мы видим это в России, хотя родиной первого губительного пожара стала Германия, и это со всей неопровержимостью доказывает, свидетельствует о слабости позиций христианства в XX веке. Оказавшись лицом к лицу с этим злом, уже не спрячешься за эвфемизмом вроде *privatio boni* (первичность добра. – лат.). Зло стало определяющим в этом мире, от него уже невозможно отделаться иносказаниями. Наша задача – научиться избегать его, поскольку оно уже здесь, рядом с нами; а возможно ли это, удастся ли нам избежать еще большего зла, сказать пока трудно.

В любом случае мы оказались перед необходимостью переориентировать свое сознание. Соприкоснувшись со злом, мы каждый раз рискуем уступить ему. Следовательно, нужно приучить себя к мысли, что нельзя уступать ничему даже добру; пресловутое добро, перед которым мы склоняемся, утратило свой этический характер. В этом нет ничего дурного, но уступая, мы должны быть готовы ко всему, что за этим последует. Любая форма наркомании – болезнь, будь то алкоголизм, морфинизм или идеализм. Противоположности так часто вводят в соблазн!

Критерием морального действия не может более служить тот факт, что мы понимаем добро как некий категорический императив а зло как то, чего в любом случае можно избежать. Понимание реальности зла вынуждает нас признать, что добро есть всего лишь противоположный полюс зла, и, стало быть, оно относительно, что и добро, и зло – всего лишь части некоего парадоксального целого. По сути это означает, что добро и зло утрачивают свой абсолютный характер, то есть – и то, и другое всего лишь суждения.

Все человеческие суждения несовершенны, что заставляет нас всякий раз сомневаться в правильности наших суждений. Ошибаться может каждый, и это в итоге превращается в проблему этическую, в той степени, в какой мы не уверены в своих моральных оценках. Но этический выбор остается всегда, относительность «добра» и «зла» не означает, что эти категории обесценились и перестали существовать. Этические суждения наличествуют всегда и приводят к специфическим психологическим последствиям. Я не единожды подчеркивал, что любая несправедливость, которую мы совершили или помыслили, обрушится мстостью на наши души, и это произойдет независимо от отношения к нам окружающих. Конечно, смысл суждения не остается неизменным, он зависит от условий места и времени, но в основе этической оценки всегда лежит некий общепринятый и бесспорный моральный кодекс, как бы определяющий абсолютные границы между добром и злом. Как только мы начинаем понимать степень ненадежности наших оснований, этическое решение превращается в субъективный творческий акт, в чем можно убедиться лишь путем *concedente Deo* (принимая Бога. – лат.), – то есть спонтанным и бессознательным импульсом. Собственно этика, сам выбор между добром и злом, от этого проще не становится. Ничто не в состоянии избавить нас от мук этического выбора. И тем не менее, как это резко ни прозвучит, мы должны иметь возможность в определенных обстоятельствах уклониться от того, что известно как добро, и делать то, что считают злом, если таков наш этический выбор. Короче, мы не должны идти на поводу у противоположностей. В таких случаях немалую услугу может оказать известный в индийской философии принцип *neti-neti*, когда моральный кодекс неизбежно снимается и этический выбор предоставляется индивидууму. Сама по себе эта идея стара как мир, еще в допсихологические времена ее называли «конфликтом долга», или «конфликтом чести».

Но, как обычно, человек неспособен осознать эту возможность выбора, поэтому он все время с робостью оглядывается вокруг пытаясь найти какие-либо внешние, общепринятые законы и установления, на которые он в его неуверенности мог бы опереться. Несмотря на вполне понятные человеческие слабости, основная вина за это ложится на систему образования, которая привыкла стричь всех под одну гребенку, игнорируя личность и ее индивидуальный опыт. Таким образом идеализм превращается в своего рода догму, когда люди по должности исповедуют то, чего не знают, чего им не

достичь, склоняются перед некими нормами, которые не исполняются и никогда не будут исполнены. И такое положение всех устраивает!

Иными словами, тот, перед кем стоит сегодня этот вопрос, прежде всего нуждается в самосознании, то есть в осознании собственной целостности. Если он желает жить, не обманывая себя, ему следует хладнокровно оценить, до какой степени он способен на добро и каких можно ждать от него преступлений, причем рассматривать первое как реальность, а второе – как иллюзию. Возможно и то и другое, он может оказаться тем или другим – такова его натура.

Но как безнадежно мы далеки от такого уровня самосознания, несмотря на то что в большинстве своем обладаем и способностями, и возможностями. Тем не менее знать себя необходимо, только таким путем можно приблизиться к основе, ядру человеческой природы, к изначальным инстинктам. Инстинкты даны нам *a priori* и безусловно определяют наш сознательный выбор, они составляют бессознательное и его содержание, о котором невозможно вынести окончательное суждение. Мы можем лишь предполагать, но в полной мере понять его сущность и определить его разумные границы мы не в состоянии. Свое знание природы мы совершенствуем благодаря науке, которая расширяет границы сознания, ведь познание себя тоже нуждается в науке, то есть в психологии. Невозможно построить телескоп или микроскоп, только с помощью рук и доброй воли, но не имея ни малейшего представления об оптике.

Сегодня мы нуждаемся в такой психологии, которая была бы непосредственно связана с нашей жизнью. Мы теряемся перед такими вещами, как большевизм или национал-социализм, потому что ничего не знаем о человеке или, в лучшем случае, знаем кое-что – и то в искажении. Знай мы самих себя, такое никогда бы не произошло. Теперь же, встретившись со злом, мы даже не представляем, в чем его суть и что ему можно противопоставить. А если бы даже и знали, все равно оставался бы вопрос: «Как это могло произойти?» С трогательной наивностью какой-нибудь государственный деятель способен заявить, что не имеет «представления о зле». Все так; точно не имеем. Зато зло имеет представление о нас. Одни не хотят о нем слышать, другие отождествляют себя с ним. Психологическая ситуация сегодня такова: одни считают себя христианами и воображают, будто стоит им захотеть, как они уничтожат это пресловутое зло, другие поддались ему и уже не знают добра. Власть и сила зла сегодня очевидны; в то время, как одна половина человечества, пользуясь склонностью людей к умствованиям, фабрикует доктрины, другая страдает от отсутствия мифа. Христианские народы пришли к печальному итогу: христианство заостенело и оказалось неспособным развивать свой миф на протяжении веков. Тех же, кто пытался выразить некие смутные опыты мифологических построений, не стали слушать: Гиацинте де Фьоре, Мейстер Экхарт, Якоб Беме и многие другие в мнении большинства так и остались «мракобесами». Единственным, кто дал хоть какой-то свет, был Пий XII с его буллой. Но подавляющее большинство даже не понимает, что я имею в виду, говоря об этом. Люди не в состоянии осознать, что застывший миф умирает. Наш миф поражен немотой, в нем заключен некий изъян – вина целиком лежит на нас самих: не позволили ему развиваться, подавляя все попытки, предпринимавшиеся в этом направлении. В первоначальной версии мифа более чем достаточно исходных возможностей для развития. Вспомните, к примеру, слова Христа: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Зачем нам змеиная мудрость? И как это должно сочетаться с голубиной кротостью? «Будете как дети...». Кто-нибудь дал себе труд задуматься над тем, каковы дети на самом деле? Какой моралью оправдывал Господь присвоение осла, который понадобился ему для триумфального въезда в Иерусалим? Или эту детскую раздражительность, с которой он вдруг проклял смоковницу? Какая мораль следует из притчи о неверном управителе и какой глубокий смысл заложен в апокрифическом изречении: «Человек, если ты знаешь, что ты делаешь, – ты благословен, но если не знаешь, ты проклят, ибо ты нарушил закон»? [Codex Bezae, ad Lucam, 6, 4.] Что, в конце концов, стоит за признанием апостола Павла: «Где нет

закона, нет и преступления»? Не будем даже говорить о маловероятных пророчествах Апокалипсиса, все равно никто им не верит.

Вопрос, поднятый в свое время гностиками, – откуда явилось зло? остался без ответа, и осторожное предположение Оригена о возможном искуплении дьявола назвали ересью. Сегодня этот вопрос поставлен снова, а мы стоим, смущенные и растерянные, не в состоянии уяснить, что никакой миф нас не спасет, хотя мы нуждаемся в нем как никогда. Мы страшимся политических потрясений; пугающие, я бы сказал дьявольские, успехи науки вселяют в нас ужас и порождают тяжелые предчувствия. Но мы не видим выхода, и только немногие понимают, что единственное наше спасение – в давно забытой человеческой душе.

Развитию мифа мог бы способствовать эпизод в Писании, когда Святой Дух нисходит на апостолов, превращая их тем самым в детей Божьих, и не только их, но и других – всех, кто от них и после них был наделен этим свойством *filiatio*, Богосыновством, и кто, таким образом, разделит бы уверенность в том, что и они уже не порождение земли, низшие животные, но, дважды рожденные, происходят от Бога. Их видимая, физическая жизнь проходит на этой земле, но у невидимого, «внутреннего человека» иное происхождение и иное будущее: в изначальных образах целостности и в Вечном Отце, согласно христианскому мифу о спасении.

Так как Творец един, то и творение Его и Сын Его должны быть едины. Учение о Божественном единстве не допускает отступлений. И все же пределы света и тьмы явились без ведома сознания. Этот исход был предсказан задолго до явления Христа – среди прочего мы можем найти это в книге Иова или в дошедшей до нас с дохристианских времен известной книге Еноха. В христианстве этот метафизический раскол углубился: сатана, который в Ветхом Завете состоял при Яхве, превращается теперь в диаметрально и вечную противоположность Божьему миру. Устранить его невозможно. И ничего удивительного, что уже в начале XI века появилось еретическое учение, будто не Бог, а дьявол сотворил этот мир. Таково было вступление во вторую половину христианского эона, при том что раньше уже возник миф о падших ангелах, от которых человек получил опасное знание наук и искусства. Что эти древние авторы сказали бы о Хиросиме?

Якоб Беме в своих гениальных видениях разглядел парадоксальность природы богообраза, чем способствовал дальнейшему развитию мифа. Символ мандалы у Беме раскрывает идею раскола: внутренний круг разделен там на две половины, которые расположены друг против друга.

Согласно христианскому учению, Бог един в трех Лицах, Он в каждой частице разлитого в мире Духа Святого, потому каждый причастен единому Богу, а значит, причастен и *filiatio*, Богосыновству (Евр. 6, 4). *Complexio oppositorum* (сочетание противоположностей. – лат.), что содержит в себе Богообраз, таким образом, предопределено каждому человеку, и не в единстве, а в конфликте, причем темная сторона образа не соответствует общепринятому представлению, что «Бог есть свет». Это реалии наших дней, хотя они едва ли осознаются официальными учителями человечества, которые, надо полагать, обязаны понимать такие вещи. Мы отдаем себе отчет в том, что достигли определенного исторического рубежа, но воображаем, будто это связано с расщеплением атома или с космическими полетами. И, как всегда, мы никак не замечаем того, что происходит в этот момент в человеческой душе.

Поскольку богообраз с психологической точки зрения есть очевидная основа и духовное начало, глубинная дихотомия, его определяющая, осознается уже как политическая реальность: имеет место уже некая психическая компенсация. Она проявляется в форме спонтанно возникающих округлых образов, которые представляют собой синтез свойственных в душе противоположностей. Сюда я бы отнес широко распространившиеся с 1945 года слухи о НЛО неопознанных летающих объектах. Они основаны или на видениях или на реальных фактах. Под НЛО подразумевается некий

летательный аппарат, прилетевший к нам либо с другой планеты, либо вообще из четвертого измерения.

Более 20 лет назад (в 1918 году), исследуя коллективное бессознательное, я обнаружил наличие универсального символа подобного рода символа мандалы. Чтобы утвердиться в этом, я более 10 лет собирал материалы, прежде чем в 1929 году обнародовал свои результаты. Мандала – это архетипический образ, существование которого прослеживается на протяжении тысячелетий. По сути это целостность самости, или целостность «внутреннего человека», а с мифологической точки зрения – возникновение в человеке божественного начала. В противоположность рисункам Беме, современные символы стремятся к единству, то есть к некоей компенсации распада и, следовательно, к его преодолению. Процесс этот протекает в коллективном бессознательном и проявляется во всем. Слухи об НЛЮ – одно из подобных свидетельств, один из симптомов всеобщего психического состояния.

Когда аналитическая терапия выводит на поверхность сознания так называемую «тень», следствием ее оказывается расщепление, обострение противоречий, которые, в свою очередь, стремятся к выравниванию и единству. Символы в подобных ситуациях выполняют роль посредников. Столкновение противоположностей, если отнестись к ним серьезно, может поставить нашу психику на грань слома. Это логическое *tertium non datur* (третьего не дано. – лат.) еще раз подтверждает, что решения нет. Если же все в порядке, оно возникает само собой, и только в этом случае оно убедительно, только в этом случае оно воспринимается как «благодать». Поскольку решение рождается в столкновении и борьбе противоположностей, оно является, как правило, нераздельным сплавом сознательных и бессознательных факторов, символ которого – две сложенные половинки монеты. [Одно из значений символа «*tessera hospitaecitatis*» (знак гостеприимства. – лат.) – разрубленная монета, половинки которой по античному обычаю оставались у друзей, которых ожидала разлука.] Этот символ (результат совместных усилий сознательного и бессознательного) и создает подобие богообраза в форме мандалы – наиболее простой модели целостности. Этот образ, представляющий столкновение противоположностей и их примирение, подсказывает нам воображение. Столкновение, природа которого всегда индивидуальна, осознается обычно как частный случай универсального конфликта. Наша психическая структура повторяет структуру Вселенной и все происходящее в космосе, повторяет себя в бесконечно малом и единственном пространстве человеческой души. Отсюда богообраз – это всегда проекция внутреннего ощущения какого-то великого противостояния. Затем этот опыт получает наглядное воплощение в предметах, порождающих подобную ассоциацию, а сами предметы с тех пор сохраняют свое нуминозное значение или, точнее, отличаются большой долей нуминозности. В таком случае воображение полностью освобождается от всего конкретного и пытается уловить образ невидимого, того, что стоит по ту сторону вещей. Я имею в виду простейшие, базисные формы мандалы – круг и простейшее умозрительное деление круга: это квадрат и, разумеется, крест.

Такие опыты могут влиять на человека как благотворно, так и разрушительно. Человек не умеет их осмыслить, понять, управлять ими, как не умеет от них освободиться или уйти, и потому он ощущает себя в их власти. Догадываясь, что они не связаны с индивидуальным сознанием, он дает им имена: мана, демон или бог. Наука, в свою очередь, придумала термин «бессознательное», признавая, тем самым, что ничего не знает о нем; естественно, что она и не может ничего знать о субстанции души, поскольку именно душа является единственным источником нашего знания о чем-либо. А отсюда вытекает, что опровергнуть смысл обозначенных слов «мана», «бог» или «демон» явлений невозможно ни опровергнуть, ни доказать. Однако мы убеждены, что ощущаем нечто объективное и в то же время потустороннее, и это наше ощущение соответствует действительности.

Нам известно, что существует нечто неведомое и оно существует в нас, точно так же, как известно, что не мы творим свои сны или рождаем внезапные счастливые мысли и озарения, но что это происходит с нами без нашего участия. Таким образом, все, что происходит с нами, можно считать исходящим от бога, демона или бессознательного. И если первые два понятия обладают огромным преимуществом, заключая в себе некое эмоциональное качество нуминозности, последнее – бессознательное – банально и потому более правдоподобно. Именно это понятие содержит в себе ту эмпирическую сферу, нашу будничную реальность, которая нам так хорошо известна. «Бессознательное» – понятие слишком нейтральное и рациональное, оно ничего не говорит воображению. Введенное в научный оборот, оно является скорее инструментом для беспристрастных наблюдений, не претендуя на метафизичность, что выгодно отличает его от разного рода трансцендентных понятий, довольно спорных, уязвимых и ведущих к фанатизму.

Я, как видите, предпочитаю термин «бессознательное», хотя знаю, что могу с тем же успехом произнести «бог» или «демон», если хочу выразить нечто мифологическое. Прибегая к мифологическому способу выражения, я помню, что «мана», «демон» и «бог» – синонимы «бессознательного» и что мы знаем о них так же много, как и мало. Люди верят, что знают гораздо больше; и в определенном смысле эта вера, может быть, полезнее и эффективнее наукообразной терминологии.

Неоспоримое преимущество мифологических понятий заключается в том, что они в гораздо большей степени объективируют конкретику и, соответственно, осуществляют ее персонификацию, а эмоциональность делает их жизнеспособными и эффективными. Любовь и ненависть, страх и благоговение выходят на сцену, поднимая конфликт до уровня драмы, «статисты» становятся «действующими лицами». Человеку как бы бросают вызов вступить в борьбу с роковыми обстоятельствами, и только так он достигнет целостности и только тогда может «родиться бог» – то есть он явится человеку в образе человека. В этом акте перевоплощения человек, то есть его «я», внутренне замещается «богом», а «бог» внешне уподобляется человеку в соответствии со словами Иисуса: «Видевший Меня, видел Отца» (Ин. 14, 9).

Именно в этом проявляется недостаточность мифологической терминологии. Привычное христианское представление о Боге определяет Его как всемогущего, всезнающего и всеблагого Отца и Создателя. Когда этот Бог уподобляется человеку, Он унижается до бесконечно малого; трудно даже понять, почему человеческая сущность не разрушается при этом. Догматическое богословие, соответственно, наделяет Иисуса свойствами, возвышающими его над обычными людьми. Прежде всего на нем нет *macula peccati* (клеймо греха. – лат.), и уже поэтому он, по меньшей мере, богочеловек, или полубог. Христианский богообраз не может быть воплощен в эмпирическом человеке без противоречий, ведь совершенно ясно, что человек – на поверхности житейской – выглядит мало приспособленным к тому, чтобы представлять бога.

Мифу в конечном счете придется прийти к монотеизму, отказавшись от деизма, официально отвергнутого, но и поныне хранящего верность некоему вечному темному антагонисту всемогущего бога. В него должны быть включены философский *complexio oppositorum* Кузанца и моральная неоднозначность Беме. Лишь таким образом бог может сохранить целостность и единство. Ведь природа символов такова, что они способны соединять противоположности, чтобы те не противоречили друг другу, а, напротив, дополняли один другого и придавали жизни смысл, поэтому неоднозначность представлений о боге Природе и боге Творце уже не выглядит столь затруднительной. Более того, миф о неизбежном вочеловечивании бога, составляющий основу христианского учения, теперь может быть истолкован как творческая борьба противоположностей в человеке, их синтез в самости, индивидуальной целостности. Неизбежная противоречивость образа бога Творца снимается в единстве самости как *coniunctio oppositorum* алхимиков или как *unio mystica* (мистическое единение. – лат.). В сознании личности присутствует уже не прежняя оппозиция «бог – человек» – она

преодолена, противоречия заключены в самом богообразе. И это станет смыслом «богослужения» – свет, возникающий из тьмы, Творец, осознающий свое творение, и человек, осознающий самого себя.

Это та цель или одна из тех целей, что с умыслом назначена человеку творением, заключающая в себе этот умысел. Это и есть все объясняющий миф, который многие годы я создавал для себя. Это цель, которую я могу познать, я считаю ее достойной, она удовлетворяет меня.

Благодаря своему рефлектирующему сознанию человек возвышается над животным миром, и это подтверждает, что природа в высшей степени поощряет именно развитие сознания. Сознание позволило человеку сделаться властелином природы, и, познавая бытие мира, он утверждает Творца. Мир – это некий феномен, который не существует без сознательной рефлексии. Если бы Творец сознавал самого себя, зачем ему тогда сознательное творение; к тому же сомнительно, чтобы крайне сложные и обходные пути созидания, требующие миллионов лет на развитие бесконечного числа видов и тварей, явились продуктом целенаправленных действий. Естественная история говорит нам о развитии случайном и неслучайном, направленном на уничтожение себя и других в течение необозримого времени. Буквально о том же самом свидетельствует биологическая и политическая история человечества. Но история духа – это нечто совершенно иное. Здесь нас потрясает чудо мыслящего сознания – вторая космогония. Значение его столь велико, что невозможно не предположить, что где-то среди чудовищного и очевидно бессмысленного биологического механизма присутствует какой-то элемент осмысленности. Ведь в конечном счете путь к его проявлению был обнаружен на уровне тепловых, – обнаружен как будто случайно, – непреднамеренный и непредвиденный, но все же в каком-то «смутном порыве», в предчувствии и предощущении, – осмысленный.

Я вовсе не утверждаю, что мои размышления о сущности человека и его мифа – последнее и окончательное слово, но, на мой взгляд, это именно то, что может быть сказано в конце нашей эры – эры Рыб, а возможно, и в преддверии близящейся эры Водолея, который имеет человеческий облик. Водолей, следующий за двумя расположенными друг против друга Рыбами, – некое *coniunctio oppositorum* и, возможно, личность – самость. Он в своем роде *souverain* (государь. – фр.), содержимое своего кувшина он отправляет в рот *Piscis austrinus* (созвездия Рыб. – лат.), выполняющих роль дочернюю, бессознательную. По окончании этой более чем двухсотлетней эры наступит следующая, обозначенная символом *Carpicognus* (чудища, соединяющего в себе черты козы и рыбы, горы и моря, антиномии, созданной из элементов двух животных). Это странное порождение легко принять за прообраз бога Творца, который противоположен «человеку» – антропосу. Но здесь я умолкаю: соответствующего эмпирического материала, то есть известных мне образов из бессознательного других людей или исторических документов, у меня просто нет. А поскольку нет, то любые умозрительные спекуляции бессмысленны. Они уместны лишь тогда, когда мы располагаем объективными данными, подобными тем, что имеем в случае с Водолеем.

Нам не известно, как далеко может заходить процесс самоосознания и куда он приведет человека. Это новый элемент в истории творения, не имеющий аналогов, и нам не дано узнать его свойства: возможно ли, чтобы *species homo sapiens* (человеческий вид. – лат.) постигла судьба других видов, некогда распространенных на земле, а теперь исчезнувших? У биологии нет средств, чтобы опровергнуть такое предположение.

Потребность в мифологии удовлетворяется постольку, поскольку мы сами формируем собственное мировидение, достаточное для объяснения смысла человеческого существования во вселенной, – мировидение, истоки которого лежат во взаимодействии сознания и бессознательного. Бессмысленность невозможно совместить с полнотой жизни, это означает болезнь. Смысл многое, если не все, делает терпимым. Никакая наука не сможет заменить миф, и никакая наука мифа не сотворит, поэтому и «бог» – не миф, но

миф изъясняет бога в человеке. Не мы измыслили миф, он обращает к нам «слово божье»; «слово божье» мы чувствуем, но нам не дано понять, что в нем – от самого бога. В нем нет ничего неизвестного нам, ничего сверхъестественного, кроме того обстоятельства внезапности, с которой оно приходит к нам и налагает на нас определенные обязательства. Оно не подчинено нашей воле, назвав это вдохновением, мы тоже мало что объясним. Мы знаем, что эта «странная мысль» – вовсе не результат нашего умствования, но явилась извне, «с другой стороны», и, если нам случилось увидеть вещей сон, разве можно приписать его своему разумению? Мы ведь часто даже не знаем, что такое этот сон предвидение или некое отдаленное знание?

Это слово входит в нас неожиданно; мы претерпеваем его, поскольку пребываем в глубокой неопределенности: ведь если бог – некое *complexio oppositorum*, возможно все, что угодно, – в полном смысле слова, – равно возможны истина и ложь, добро и зло. Миф – это нечто двусмысленное или может быть двусмысленным, как сон или дельфийский оракул. Не стоит отвергать доводы рассудка, следует не терять надежду на то, что инстинкт придет к нам на помощь, и тогда бог будет на нашей стороне, то есть против бога, как в свое время считал Иов. Все, в чем выражена «иная воля», исходит от человека – его мысли, его слова, его представления и даже его ограниченность. И человек, как правило склонен приписывать все именно себе, особенно когда, опираясь на грубые психологические категории, он приходит к мысли, что все исходит от его намерений и от «него самого». С детской наивностью он воображает, что знает все, что можно постичь, и вообще «знает себя». Тем не менее ему даже в голову не приходит, что слабость его сознания, а отсюда и страх перед бессознательным лишают его способности отделить то, что он выдумал сам, от того, что явилось ему спонтанно, из других источников. Человек не может оценить себя объективно, еще не может рассматривать себя как некое явление, которое предстает перед ним и с которым, *for better or worse* (хорошо ли, плохо ли. – англ.), ему приходится себя идентифицировать. Первоначально все, что с ним происходит, – происходит помимо его воли, и лишь ценой огромных усилий ему удастся завоевать и сохранить за собой область относительной свободы.

Тогда и только тогда, уже утвердившись в этом своем завоевании, он способен понять, всю глубину своей зависимости оттого, что заложено в нем изначально и над чем он не властен. Причем эти его изначальные основания вовсе не остаются в прошлом, а продолжают жить с ним, являясь частью его бытия; его сознание сформировано ими в той же степени, что и окружающим физическим миром.

Все, что окружает человека вне его самого и что он сам обнаруживает в себе, он сводит воедино в идее божественного, описывая воплощение ее с помощью мифа и объясняя себе затем этот миф как «слово божье», то есть как внушение и откровение с «той стороны».

II

Нет лучшего средства защитить свое хрупкое и столь зыбкое ощущение индивидуальности, чем обладание некой тайной, которую желательно или необходимо сохранить. Уже на самых ранних стадиях социальной истории мы обнаруживаем страсть к тайным организациям. Там, где нет поводов скрывать действительно важные секреты, изыскиваются «тайнства», к которым допускаются лишь избранные и «посвященные». Такова история розенкрейцеров, так было и во множестве других случаев. Среди подобных псевдотайн встречаются – по иронии судьбы – настоящие тайны, о которых посвященные вовсе не догадываются. Это случается, к примеру, в обществах, которые изначально заимствовали свои тайны из алхимической традиции.

Потребность в таинственности – неотъемлемое примитивного сознания, поскольку причастность к тайне служит своего рода цементом для общественных отношений. На социальном уровне тайны с успехом компенсируют недостаточность отдельной личности, которая, всегда отделяя себя от других, в то же время вынуждена жить в постоянном поиске своей исходной бессознательной идентичности с другими. Таким образом,

исполнение человеком своего предназначения, осознание своей уникальности – результат долгой, почти безнадежной воспитательной работы. Поскольку даже те немногие, кого опыт инициации – причастность к тайне – в каком-то смысле выделяет, в итоге стремятся подчиниться законам групповой идентичности, хотя в этом случае начинает действовать механизм социальной дифференциации.

Тайное общество – некое промежуточное звено на пути к индивидуации. Мне думается, что дифференциация – механизм коллективный, когда мы еще не осознали, что выделить себя из массы окружающих и самостоятельно встать на ноги – задача индивидуальная, единственная в своем роде. Всякого рода коллективная тождественность, например: членство в организациях, приверженность к «измам» и пр., уводит нас в сторону. Это – костыль для хромого, щит для трусливого, постель для ленивого, детские ясли для безответственного в равной степени убежище для несчастного и слабого. Это тихая бухта для потерпевшего крушение; лоно семьи для сирот, земля обетованная для разочарованных странников и усталых пилигримов, пастух и надежная ограда для заблудших овец, мать, дающая жизнь и пищу. Поэтому считать это промежуточное звено западной, было бы ошибкой. Напротив, она долгое время являлась единственно возможной формой существования личности, хотя сейчас, как никогда прежде, нам угрожает именно обезличение. Могущество коллективной тождественности никто не ставит под сомнение, в наши дни, и многие вправе считать ее своей конечной целью. Поэтому любые попытки напомнить человеку о его самоопределении, самосовершенствовании и самостоятельности выглядят дерзкими, ничем не оправданными, вызывающими и просто бессмысленными.

И все же может произойти такое, что у человека по ряду причин возникнет необходимость решиться самостоятельно пойти по пути, уводящем от привычных форм и образов, рамок и покровов, самый дух и образ этой жизни перестанет удовлетворять его. И тогда он пойдет один и сам станет своим обществом. Он сам будет являть для себя некое множество – множество мнений и тенденций, причем не всегда они будут расположены в одной плоскости. Он действительно окажется не в ладах с самим собой, пытаясь примирить свою множественность с некой общей необходимостью, столкнется с огромными трудностями. Даже если внешне он защищен промежуточными социальными формами, против внутренней множественности он бессилён, и этот внутренний разлад может заставить его смириться, свернуть с пути, сделаться таким, как окружающие.

Как и члены тайных обществ, уклонившиеся от недифференцированной коллективности, личность на своем одиноком пути нуждается в тайне, которую по разным причинам ей нельзя или она не может раскрыть. Такая тайна поддерживает личность в обособленности ее замыслов. Для многих эта обособленность становится непосильной ношей; к таким принадлежат, как правило, невротики, которые поневоле играют в прятки с другими и сами с собой и не способны принять всерьез что бы то ни было. В конце концов они приносят в жертву эту обособленность в пользу некой общей уравнительности, что безусловно приветствуется окружающими. В этом случае здравый смысл не в состоянии сопротивляться, и лишь тайна, разгласить которую невозможно страшно или нельзя выразить словами (могут принять за «безумную» идею), лишь она способна воспрепятствовать неизбежному и остановить деградацию.

Нередко потребность в такой тайне становится почти непреодолимой, и мы неожиданно для себя оказываемся вовлеченными в идеи и действия, в которых уже не отдаем себе отчета. Дело здесь не в капризе или гордыне, а скорее мы имеем дело с неизъяснимой *dira necessitas* (суровой необходимостью. – лат.), которая настигает человека с роковой неизбежностью и, вероятно, впервые в жизни ставит его перед фактом существования чего-то инородного и более могущественного, чем он сам и его «домашний мир», где он представлял себя хозяином.

Характерный пример тому – история Иакова, который отважился на борьбу с ангелом и, потерпев поражение, сумел все же предотвратить убийство. Ветхозаветному

Иакову повезло: его истории верят безусловно. Современного «Иакова», вздумай он рассказать подобную историю, его слушатели встретят многозначительными улыбками. Он просто никогда не решится заговорить о подобных вещах, особенно если имеет собственный взгляд на природу этого посланца Яхве. К тому же *volens–volens* он станет обладателем тайны, обсуждать которую не принято, и тем самым окажется каким–то образом «отмеченным», *reservatio mentalis* (духовная изоляция. – лат.) будет преследовать его до тех пор, пока он не начнет лицемерить и притворяться. Однако всякому, кто хочет усидеть на двух стульях, стремится идти своим путем и одновременно следовать неким коллективным установлениям, грозит нервное расстройство. Современному «Иакову» не по силам осознать ту очевидную вещь, что из них двоих ангел был так или иначе сильнее, ведь нет никаких доказательств, что ангел удалился не прихрамывая.

Итак, человек, ведомый своим демоном – своим двуединством, выходит за пределы промежуточной стадии и попадает в глухую неизвестность, где нет проторенных путей и надежного прикрытия, где нет спасительных заповедей, которые приходят на помощь человеку в трудную минуту, когда у него возникнет беспощадный и разрушительный конфликт с долгом. Обычно такие вылазки в «No Man's Land» (необитаемую землю. – англ.) длятся недолго, и лишь до тех пор, пока не случаются подобные конфликты, но как только атмосфера начнет сгущаться, они мягко сходят на нет. Я не смею осуждать того, кто отступает, но тому, кто ставит себе в заслугу собственную слабость и малодушие, трудно найти оправдание. Кстати, я не думаю, что мое презрение принесет ему хоть какой–то вред, и поэтому считаю себя вправе высказать его.

Тот же, кто, оказавшись в подобной ситуации, на свой страх и риск в одиночку ищет решение и берет на себя всю ответственность за него, кто перед лицом Судьи отмаливает его денно и ночно, тот обрекает себя на полную изоляцию. Иногда он сам себе и упрямый защитник, и беспощадный обвинитель, никакой суд – ни мирской, ни духовной – не способен вернуть ему спокойный сон; в его жизнь входит настоящая тайна, тайна, которую он не разделит ни с кем. Когда б он не был сыт по горло всем этим, он, возможно, не оказался бы в подобной ситуации. Очевидно, для того, чтобы впутаться в нее, необходимо повышенное чувство ответственности. Именно оно не позволяет сбросить свой груз на чужие плечи и согласиться с чужим – коллективным – решением. И суд тогда свершается не «на миру», но в мире внутреннем, и приговор выносится за закрытыми дверями.

Эта перемена наделяет личность каким–то ранее неизвестным смыслом, с этого момента она уже не известное и социально определяемое эго, а внутренне противоречивое суждение о том, в чем же собственно ее ценность – для других и для себя самой. Ничто так не действует на активность самосознания, как эти внутренние конфликты. Здесь обвинение располагает неоспоримыми фактами и защита вынуждена отыскивать неожиданные и непредвиденные аргументы. И при этом, с одной стороны, мир внутренний берет на себя значительную часть бремени мира внешнего, позволяя последнему избавиться от части своей тяжести. С другой стороны, мир внутренний обретает больший вес, уподобляясь некоему этическому трибуналу. Но главное состоит в том, что эго, когда–то четко определенное, отныне перестает быть только прокурором и теперь вынуждено защищаться. Оно становится двусмысленным и расплывчатым, оказываясь между молотом и наковальней, и эта внутренняя противоречивость несет в себе некую сверхупорядоченность.

Далеко не всякий классический конфликт, – вероятно, а скорее всего, никакой – не может быть «разрешен» в самом деле, при том что спорить о нем можно до судебного дня. Однажды решение вдруг придет – подобно короткому замыканию. Практически жизнь не может существовать как бесконечно длящийся конфликт. Противоположности и вызываемые ими конфликты не исчезают даже тогда, когда становятся импульсом к действию, они постоянно угрожают единству личности, вновь и вновь опутывая жизнь сетями противоречий.

В подобных ситуациях благоразумнее, наверное, было бы не пускаться во все тяжкие, не покидать надежное укрытие и теплый кокон, оберегая себя тем самым от внутренних потрясений. Те, кого ничто не вынуждает оставить отцовский кров, могут чувствовать себя в полной безопасности. А те немногие, кто оказался выброшен на тот одинокий – окольный – путь, очень скоро познают все недостатки и все прелести человеческой природы.

Исходной точкой любого вида энергии является разность потенциалов, естественно поэтому, что жизнеспособность психической структуры составляет ее внутренняя полярность, что было известно еще Гераклиту. Как теоретически, так и практически она присуща всему живому, и противостоит этой властной силе лишь хрупкое единство эго, которое тысячелетиями удерживается, защищая и ограждая себя от внешних и внутренних столкновений. То, что это единство в принципе стало возможным, связано, видимо, с извечным стремлением противоположностей прийти: к равновесию то же наблюдается в энергетических процессах, возникающих при столкновении тепла и холода, высокого и низкого давления и т. д.). Энергия, лежащая в основе сознательной психической деятельности, предшествует ей и поему, вне всякого сомнения, является бессознательной. По мере того как она превращается в осознанную, она проецируется на некие образы, будь то мана, боги, демоны и пр., чья нуминозность служит источником жизненной силы. Это продолжается до тех пор, пока названные формы мы не признаем за таковые. Но постепенно их очертания размываются, теряют силу, и тогда эго, то есть эмпирическая личность, в буквальном смысле овладевает этим источником энергии: с одной стороны, личность стремится использовать эту энергию, что ей даже удается или, по крайней мере, так ей кажется; с другой же – она сама оказывается в ее власти.

Сия гротескная ситуация складывается тогда, когда мы принимаем во внимание только сознание и считаем его единственной формой психического бытия. В этом случае так называемая инфляция, то есть обратная проекция неизбежна. Если же мы учитываем существование некой бессознательной души, содержимое такой проекции может быть воспринято на уровне предваряющих сознание врожденных инстинктов. Тогда они сохраняют свою объективность и автономность и инфляции не происходит. Архетипы, которые, предваряя сознание, определяют его, реально проявляются там, где они существенны – то есть как априорные структурные формы на инстинктивном уровне. Их следует воспринимать не как вещь в себе, а лишь как доступную для восприятия форму вещи. Разумеется, не только архетипы определяют специфическую природу восприятия, они лишь коллективный его компонент. Но как нечто инстинктивное, они соответствуют динамической природе инстинкта, а следовательно, располагают особой энергией, которая вызывает или подчиняет себе определенные импульсы или модели поведения; иными словами при некоторых обстоятельствах они обладают властью (нуминозум!). Таким образом, понятие о них как о своего рода *daimonia* (некая сила, «демон». – греч.) вполне соответствует их природе.

Тот кто думает, что подобные формулировки могут что-либо изменить в природе вещей, слишком верит в силу слов. Реальные вещи не меняются от того, что мы даем им разные имена, это имеет значение только для нас самих. Если кто-то воспринимает «бога» как «абсолютное ничто», это вовсе не отменяет существования высшего организующего принципа; мы распоряжаемся собой так, как и прежде, изменение имен не в состоянии что-либо отменить в действительности, но оно способствует формированию у нас некой отрицательной установки. Наименование же чего-либо ранее неизвестного, напротив, является положительной интенцией. Таким образом, рассуждая о «боге» как об «архетипе», мы ничего не говорим о его реальной природе, но допускаем, что «бог» – это нечто в нашей психической структуре, что было прежде сознания, и, поэтому Его никоим образом невозможно считать порожденным сознанием. Тем самым мы не уменьшаем вероятности Его существования, но приближаемся к возможности Его познать. Последнее обстоятельство крайне важно, поскольку вещь, если она не постигается опытом, легко

отнести к разряду несуществующих. Такую возможность, конечно, не могли упустить так называемые верующие, которые видят в моей попытке воссоздать изначальную бессознательную психическую структуру только атеизм или, на худой конец, гностицизм, и никогда – психическую реальность, то есть бессознательное. Если бессознательное в принципе существует, оно должно включать в себя предшествующую эволюцию нашей сознательной души. В конце концов представление о том, что человек во всем своем блеске был создан на шестой день творения – сразу, без каких-либо предварительных стадий, – такое представление слишком примитивно и архаично, чтобы удовлетворять нас сегодня. Но во всем, что имеет отношение к душе, мы продолжаем упорно ему следовать; нам удобнее считать, что душа не имеет предпосылок, что это *tabula rasa* (чистая доска. – лат.), что она всякий раз вновь появляется при рождении и что она лишь то, чем сама себя представляет.

И в филогенезе, и в онтогенезе сознание вторично – и эту очевидность пора наконец признать. Также, как тело имеет свою анатомическую предысторию, исчисляемую миллионами лет, так и психическая система, как всякая часть человеческого организма, является результатом такой эволюции, повсюду обнаруживая следы более ранних стадий своего развития. Как сознание начинало свою эволюцию с бессознательного животного состояния, так проходит этот процесс дифференциации каждый ребенок. Предсознательное состояние психики ребенка – это все, что угодно, только не *tabula rasa*; его психическая структура уже включает осознаваемые индивидуальные проформы и все специфические человеческие инстинкты, а кроме того, она обнаруживает априорные основания высших функций.

На этих сложных основаниях эго развивается, опираясь на них в течение всей жизни. Если же они перестают функционировать, следует холостой ход, а затем смерть. Их реальность слишком многое определяет в нашей жизни. В сравнении с ними даже внешний мир вторичен – зачем он нужен, если отсутствует эндогенный инстинкт, отвечающий за восприятие? Всем, наконец, известно, что никакая сознательная воля не может вытеснить инстинкт самосохранения. Этот инстинкт рождается в виде некоей принудительной силы или воли, или приказа, и если – как это в той или иной степени происходило с незапамятных времен – мы присваиваем ему имя какого-то демона, мы, по крайней мере, точно отражаем психологическую ситуацию. Когда мы с помощью понятия архетипа пытаемся чуть точнее определить момент, когда этот демон завладел нами, мы ничего не отменяем, а лишь становимся ближе к источнику жизненной энергии.

И это совершенно естественно, что я как психиатр (то есть «врачеватель душ») пришел к подобной мысли, ведь главное для меня – каким образом я смогу помочь своим пациентам вернуться к исходным здоровым основаниям. Я давно осознал, что для этого необходимы самые разные знания. В конце концов и медицина пришла к тому же. Ее прогресс обусловлен не трюками и чудесами исцеления, не упрощением метода, наоборот – она стала невероятно сложной, и не в последнюю очередь за счет знаний, почерпнутых в других областях. Словом, я не пытаюсь доказывать что бы то ни было в отношении других дисциплин, я просто хочу использовать их опыт в своей собственной области. Конечно следует пояснить суть такого рода обращения и его возможных последствий. Безусловно, в такой ситуации, на стыке различных дисциплин, когда знания одной науки используются в практике другой, мы открываем для себя массу неожиданных вещей. Возьмем хотя бы рентгеновское излучение, что бы произошло, если бы это открытие оставалось лишь в сфере деятельности физиков и не использовалось бы в медицине? К тому же если врачей волнуют возможные опасные последствия радиационной терапии, то физиков занимают другие проблемы, связанные с радиацией, и медицинская сторона дела может и не представлять для них интереса. Было бы по меньшей мере смешно предположить, что врач вторгается в чужие владения, обнаруживая губительные или целебные свойства проникающего излучения.

Когда я как психотерапевт обращаюсь к сведениям исторического и теологического характера, я представляю их совершенно в ином свете, и мои цели, и мои выводы – иного порядка.

Итак, тот факт, что полярность лежит в основе психической энергии, означает, что проблема противоположенности как таковая – в самом широком смысле, со всеми сопутствующими ей религиозными и философскими аспектами становится темой психологического порядка. При таком подходе вопросы религии и философии теряют самостоятельный характер, собственно теологический или собственно философский. И это неизбежно, поскольку теперь они становятся предметом психологии, то есть выступают не как религиозная или философская истины, а проверяются на ценность и значимость для психологии. В свете того что они претендуют на собственное независимое существование эмпирически, а значит, и в научном смысле, они представляют собой прежде всего психические феномены. На мой взгляд, это бесспорно. Они, естественно, нуждаются в определенных основаниях, что вовсе не противоречит психологическому подходу, который, со своей стороны не считает подобные притязания совершенно несправедливыми, а, напротив, принимает их во внимание. Психология не квалифицирует суждения как «исключительно религиозные» или «исключительно философские», хотя от теологов довольно часто можно услышать о чем-то «исключительно психологическом».

Все свидетельства – любые, вызванные нашим воображением, – подсказаны нам психикой. Последняя выступает как некий динамический процесс, основой которого служит полярность, напряжение между двумя полюсами. «Не следует умножать число универсалий!» А поскольку энергетическая теория в качестве универсальной принята в естественных науках, мы попробуем ограничиться ею и в психологии. Ничего другого, похожего на иное объяснение, просто нет, более того, полярная природа психики и ее содержание находят подтверждение и в психологическом опыте.

Если энергетическая концепция психики верна, то противоречащие ей предположения, как, например, представление о некой метафизической реальности, должны казаться, мягко выражаясь, парадоксальными.

Психика не может выйти из себя так же, как не может постулировать какие бы то ни было абсолютные истины, поскольку именно в ее полярности заложена их относительность. Когда психика провозглашает абсолютную истину, например, «Абсолют есть движение» или «Абсолют есть нечто единичное», она неизбежно попадает на одном из своих противоречий. Ведь с равным успехом можно утверждать: «Абсолют – это покой», или: «Абсолют суть все». Как только психика выбирает одну сторону, она разрушается и теряет способность к познанию. Вследствие невозможности рефлексии она превращается в некую последовательность состояний, каждое из которых стремится занять главенствующее место, так как других не учитывает (или пока не учитывает).

Все сказанное выше, конечно, не отменяет оценочной шкалы, а лишь подтверждает ту очевидную вещь, что границы размыты, что «все течет», наконец. За тезисом следует антитезис, а синтез возникает уже как нечто третье, ранее непредусмотренное – то есть психика лишней раз подчеркивает свою полярную природу, на самом деле ни в чем не выходя за свои границы.

В попытке определить границы психического я ни в коем случае не пытаюсь ограничить все одной лишь психикой. Но если имеются в виду восприятие или познание, выйти за ее пределы нам не удастся. Наука, безусловно, признает существование некоего непсихического, трансцендентного объекта, но трудности в постижении реальной природы этого объекта для нее тоже не тайна, особенно если соответствующие органы чувств или не в состоянии реагировать на это, или вообще отсутствуют, а необходимый тип мышления не выработан. В случаях когда ни наши органы чувств, ни соответствующие искусственные вспомогательные инструменты доказать наличие реального объекта не могут, возникает та чудовищная трудность, суть которой заключается в искушении объявить реальный объект несуществующим вовсе. Подобные, более чем

скоропалительные выводы меня никогда не удовлетворяли, потому что я никогда не утверждал, что мы способны постичь все формы бытия. Потому я осмеливаюсь заявить, что феномен архетипических структур, каковые представляют собой психические явления (и только), – опирается на психоидную основу, то есть на в какой-то мере психическую, но, вероятно, совсем иную форму бытия. За недостатком эмпирических данных я не обладаю ни знанием, ни пониманием этих форм, называемых обычно «духовными», с наукой это никак не соотносится, но я в это верю. И здесь я вынужден признать свое невежество. Но я реально испытывал воздействие архетипов, для меня они действительны даже тогда, когда я не знаю их реальной природы. Это я отношу не только к архетипам, но к природе души в целом. Что бы она сама о себе ни заявляла, за свои пределы ей никогда не выйти. Постигание само по себе факт психический, и в этом смысле мы жестко ограничены исключительно психическим миром. Тем не менее есть все основания предполагать, что за этой завесой существует некий непознанный, но действительный объект, по крайней мере в случаях с психическими явлениями, где нельзя ничего утверждать. Суждения о возможности или невозможности правомерны лишь в специальных областях, вне их это лишь произвольные допущения.

И хотя брать некие положения с потолка, то есть без достаточных на то оснований, не принято, тем не менее существуют утверждения, которые все же должны приниматься без учета объективных причин. Это касается, например, оснований психодинамики, обыкновенно выражаемых субъективно и рассматриваемых в каждом случае отдельно. Ошибка здесь коренится в невозможности определить, исходит ли утверждение от конкретного субъекта, руководствующегося исключительно личными мотивами, или же оно носит общий характер и возникает как некий совокупный динамический паттерн. В последнем случае его следует рассматривать не как нечто субъективное, а как нечто психологически объективное, поскольку огромное количество индивидуумов по своему внутреннему побуждению пришли к такому же выводу или осознали необходимость определенного мировоззрения. Поскольку архетип является не пассивной формой, а реальной силой, видом энергии, его можно рассматривать как *causa efficiens* (действующую причину. – лат.) подобных утверждений и считать субъектом таковых. Короче, такие утверждения исходят не от конкретного человека, а от архетипа. Если же их не принимают во внимание, то, как учит нас житейский опыт и как подтверждает медицинская практика, это приводит к серьезным нарушениям психики. В индивидуальных случаях мы имеем дело с невротическими симптомами, у людей же, не склонных к неврозам, возникают коллективные мании.

В основе архетипических утверждений лежат инстинктивные предпосылки, не имеющие никакого отношения к разуму – их невозможно ни доказать, ни опровергнуть с помощью здравого смысла. Они всегда представляли собой некую часть миропорядка – *representations collectives* (коллективные представления. – фр.), по определению Леви-Брюля. Безусловно, эго и его воля играют огромную роль, но то, чего хочет эго, непостижимым образом перечеркивает автономность и нуминозность архетипических процессов. Область их практического бытия – сфера религии, причем в той степени, в какой религию в принципе можно рассматривать с точки зрения психологии.

III

В этом смысле можно считать очевидным, что помимо пространства рефлексии имеется другая, не менее, а может и более, широкая область, из которой разум вряд ли способен что-либо извлечь, – это пространство эроса. Античный эрос – в прямом смысле бог, его божественная природа выходит за пределы человеческого разума, поэтому его невозможно ни понять, ни представить. Конечно, можно было бы, как пытались многие до меня, рискнуть и приблизиться к этому демону, чья власть безгранична – от горных вершин до мрачной тьмы ада, – но тщетно я старался бы найти язык, который был бы в состоянии адекватно выразить неисчислимы странности любви. Эрос есть космогония, он – творец сознания. Иногда мне кажется, что условие апостола Павла «если... любви не

имею» (1 Кор. 13, 1 – 3) – первое условие познания и собственно сакральности. В любом случае это условие является одним из толкований тезиса «Бог есть любовь», утверждающего божество как *complexio oppositorum*.

Моя медицинская практика, как и личная жизнь, не раздавали мне возможность столкнуться с загадками любви, которые я никогда не мог разрешить. Подобно Иову, «руку мою полагаю на уста мои» (Иов. 39, 34). Здесь скрыто самое великое и самое малое, самое далекое и самое близкое, самое высокое и самое низменное. И одно не живет без другого. Нам не под силу выразить этот парадокс. Что бы мы ни сказали, мы никогда не скажем всего. А рассуждать о частностях – значит сказать либо слишком много, либо слишком мало, поскольку смысл обретает лишь единое целое. Любовь «все покрывает, всему верит... все переносит» (1 Кор. 13, 7). Здесь все сказано. Воистину, все мы или жертвы, или средство великой всеобъемлющей космической «любви». Я беру это слово в кавычки, потому что речь идет не о страстях, предпочтении, желании или благосклонности и тому подобных вещах, а о том, что выше индивидуального, – о некоей целостности, единой и неделимой. Сам будучи только частью, человек не способен постичь целое и не располагает собой. Он может смириться, он может бунтовать, но всякий раз оказывается в плену этой силы. Он от нее и зависит, и на нее же опирается. Любовь – это его свет и его тьма, конца которой нет и не будет. «Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13, 8) – говорит ли человек «языками ангельскими» или языком науки, изучая жизнь от простейшей клетки до основ мироздания. Все его попытки дать название любви, если даже перебрать все известные ее имена, окажутся тщетными – бесконечным самообманом. И, если у него есть хоть капля мудрости, ему придется смириться, обозначив *ignotum per ignotius* (неизвестное через более неизвестное. – лат.) – то есть назвав любовь именем бога. Тем самым он осознает свое смирение и свое несовершенство, свою зависимость, но одновременно и свою свободу выбирать между истиной и ложью.

Вопросы и задания:

- 1) Как трактует бессознательное Карл Юнг?
- 2) Какие силы движут бессознательным человека?
- 3) Как связаны структуры бессознательного с мифологией?
- 4) Какое отношение имеет концепция Кала Юнга к проблеме смысла жизни?



Отто Фридрих Больнов (14 марта 1903 – 7 февраля 1991) – немецкий философ и преподаватель, продолжатель традиций философии жизни. Автор более 30 отдельных произведений и 250 статей по антропологии, этике, философии жизни, экзистенциальной философии, герменевтике.

Во введении к работе «Новая укрытость» Отто Больнов ставит проблему преодоления экзистенциализма, усматривая в нем пагубную для человека установку.

5. Больнов О. Ф. Новая укрывость. Проблема преодоления экзистенциализма. Введение. Философия экзистенциализма. М.: Директ–Медиа, 2009. 348 с.

1. Постановка вопроса

Тема этого исследования сформулирована нами с большой тщательностью; это – проблема преодоления экзистенциализма, причем с акцентом на слове проблема. Вместе с тем необходимо пояснить, что речь не идет о преодолении экзистенциализма как такового. Ставить такую задачу было бы самонадеянным: к тому же это не под силу одному человеку, да и, наверное, философии в целом. Ведь экзистенциализм не является только лишь философским направлением, он возник как необходимое выражение всеобщего духовно–исторического развития. Поэтому и преодоление его невозможно усилиями одной философии, только сдвиг всей духовной жизни нашего времени делает это осуществимым. Задача данного исследования намного скромнее: она состоит лишь в том, чтобы рассмотреть саму возможность такого преодоления, выявить необходимые для этого условия и определить, в каком направлении следует действовать. Кроме того, можно надеяться, что, приблизившись к осознанию проблемы, мы увидим, что первые шаги по этому пути сегодня уже сделаны. Я действительно убежден, что уже начали вырисовываться первые признаки этого преодоления, что разнообразные тенденции поразительным образом сходятся к одной цели, что дело осталось только за тем, чтобы решительно поставить эту цель.

Итак, нужно собрать воедино выводы, которые разбросаны в различных веяниях времени – возможно, еще без осознания их настоящего значения и внутренней взаимосвязи и тем самым приблизиться к постановке вопроса.

2. Двойная предпосылка.

Однако сама постановка данного вопроса подразумевает два утверждения: во–первых, что экзистенциализм, или философия экзистенции, как его еще любят называть, в самом деле представляет собой серьезное философское направление. Нельзя пытаться делать вид, что его не существует, хотя бы потому, что экзистенциализм стремится ответить на действительно острые, жгучие вопросы современности. Всеобщий духовный кризис нашего времени (курсив авт.) нашел в нем свое выражение. Если мы хотим честно взглянуть в лицо этому кризису, тогда решительно нет пути, ведущего мимо экзистенциализма. И мы не можем вздохнуть с облегчением только потому, что модная шумиха вокруг него в последнее время затихает. Наша успокоенность будет обманчивой, нерешенные вопросы еще более резко обрушатся на нас, если мы уже сегодня с полной ясностью не осознаем проблематику экзистенциализма и тем самым пути его преодоления.

Вторая предпосылка, содержащаяся в нашей постановке вопроса, состоит в том, что экзистенциализм есть только выражение (курсив авт.) упомянутого кризиса современности, а не есть уже его результат или разрешение. Более того, строго говоря, он хотя и выражает проблемы нашего времени, но именно поэтому не содержит даже намека на направление осмысленного поиска их решения. Здесь, скорее всего, необходима новая, принципиально отличная от экзистенциалистской постановка вопросов. Но тогда это означает следующее: так же как трудно прокрасться мимо экзистенциализма и делать вид, как будто его вовсе не существует, трудно и оставаться в его рамках и преднамеренно упорствовать в нем (кстати, сегодня такое упорство представляется особо опасным). Напротив, надо пытаться всеми силами выбраться из экзистенциализма. В этом смысле можно быть уверенным, что проблема преодоления экзистенциализма – решающая проблема современной философии.

Однако, сначала необходимо сделать пару предварительных замечаний. Прежде всего, нужно признаться, что эта тема – весьма рискованная; при этом легко можно попасть в опасную ситуацию, поставив на кон свою добрую научную репутацию. Ибо здесь еще в значительной мере идет речь не о надежных утверждениях, опирающихся на

строгое научное исследование, а лишь о первом приближении (Abtasten) к постановке вопроса, о первом знакомстве с кругом возможностей, которые еще следует проверить посредством будущих изысканий и уточнить в случае необходимости. Несмотря на это, бывают такие критические ситуации в науке, когда приходится довольствоваться и такими первичными подходами.

Отмеченные трудности становятся еще больше, так как, с одной стороны, речь идет об очень простых вещах, выразимых простыми же словами, вследствие чего многим кажется, что они вне «настоящей философии» и открыты каждому неподготовленному человеку. С другой стороны, именно поэтому приходится действовать на самой границе вопросов, доступных философской рефлексии, постоянно осознавая, что здравый смысл будет требовать свое и что это его требование невозможно совершенно игнорировать, поскольку оно самым прямым образом связано с сущностью изучаемого предмета. А имеется в виду не что иное, как жизнь человека.

3. Понятие экзистенциализма

Попробуем дать определение экзистенциализма. Для этого достаточно вспомнить некоторые наиболее общие его черты. Экзистенциализм лучше всего рассмотреть как последнюю стадию переживающего сегодня кризис иррационалистического движения. С конца 18 столетия и по сей день все больше утрачивается вера в разумность как в основной принцип мироздания и бытия. Однако долгое время не ощущалось, насколько это лишало духовный мир человека его несущей опоры, обманчивый энтузиазм жизни полновластно увлекал людей. Как только этот романтический дух исчез под влиянием огромных политических потрясений, которые привели к двум мировым войнам, последствия этой потери выступили во всей своей очевидности: каждое жизненное отношение (Lebensbezug), выходящее за пределы отдельного человека, которое могло бы дать ему опору, каждый жизненный смысл, который мог бы ему указать цель, оказывались иллюзорными. И мир с ранее не известной угрозой выступил по отношению к человеку как чуждый (unheimlich) и опасный. Человек осознал себя в некоей безнадежной потерянности, повсюду обреченный на проникающее в него разрушение. При этом речь шла не только об ужасающей бездонности внешнего мира, но и, возможно, об еще более угрожающих глубинах собственной души. «Неукрытый здесь на горах сердца» – так Рильке, исходя из своего экзистенциального опыта, пытается выразить полную безвыходность положения современного человека. Страх стал воплощением этой полной обреченности человека. Поэтому наше столетие и называют «столетием страха». Во всяком случае, никогда еще в истории человечества страх не занимал столько места в умах людей. И этот страх тем более опасен, что он ввергает нас в ситуацию, еще увеличивающую угрозу.

Всеобъемлющий страх стал приметой духовно–исторической ситуации, без учета которой невозможно осмыслить возникновение экзистенциализма. Впрочем, это не означает, что экзистенциализм есть лишь его простое выражение. Конечно страх, отчаянье, скука и с недавних пор отвращение – все эти гнетущие, мрачные настроения человеческой жизни приобрели здесь большое значение, какого они, наверное, не имели в истории человеческой мысли; они стали носителями решающего метафизического опыта. Но они не приобретают такой роли в философии экзистенции, если человек им просто уступит и окажется гонимым ими. И наоборот, благодаря тому, что он устоял перед ними, не пытаясь бежать, тем, что он смотрит им прямо в лицо даже при разрушении внешних опор своего существования, он находит в себе самом, в глубинном ядре собственной личности ту последнюю опору, которую экзистенциализм обозначает своеобразным понятием «экзистенция», возвращаясь тем самым к термину Кьеркегора.

Экзистенция, как известно – это последнее, глубинное ядро человека, которое по–настоящему нерушимо. Ведь истинный опыт человек приобретает лишь тогда, когда все, чем он владеет в этом мире, и с утратой чего он, казалось бы, может потерять свое сердце

– нажитое добро, положение в обществе, здоровье и работоспособность, талант и даже дающиеся с трудом нравственные добродетели – все это утрачивается или некоторым образом обесценивается, становится для него ложным. То, что остается у человека и что уже нельзя рационально определить, а можно только пережить, дает человеку эту последнюю, неразрушимую при всех разрушениях опору: человек «схватывает» экзистенцию и вместе с ней – в этом самом по себе недифференцированном процессе – Абсолют.

Из этого можно сделать вывод, что страх, уныние и тому подобные феномены следует рассматривать не только как субъективные чувства и настроения, которые затуманивают картину познания, но и как истинный метафизический опыт, открытие некоей последней действительности, которую человек не может достичь другими путями.

4. Экзистенциальное одиночество и необходимость его преодоления

Здесь мы должны сделать оговорку. Несмотря на огромное значение, которое угрожающее Ничто приобретает в философии экзистенции, философию эту нельзя отождествлять с нигилизмом, ибо она нашла среди полного уничтожения некий Абсолют. Неслучайно Ясперс указывает, что экзистирование и трансцендирование возможны только совместно, в едином и неделимом процессе. Но тем самым задается и ограничение: философия экзистенции находит этот Абсолют лишь в ядре человеческой души, лишь в самом безнадежном одиночестве человека, и при этом не предполагается никакой возможности разрушить оковы одиночества, обрести сколько-нибудь надежное бытие вне собственной личности. Это одна из причин, делающих необходимым преодоление экзистенциализма.

Экзистенциализм принуждает человека к последнему одиночеству и покинутости, в рамках данной философии в принципе нет пути, выводящего человека из этого духовного состояния. В то же время осмысленная человеческая жизнь в таком состоянии просто невозможна. Вероятно, человек будет поставлен перед необходимостью преодолеть кризисность экзистенциального опыта, более того, он обречен на постоянное, перманентное прохождение через этот кризис, без надежды на его окончательное разрешение. Но жизнь не может состоять из одних лишь кризисов.

Если не закрывать глаза на эти проблемы и продолжать жить по инерции, человеку остаются только две возможности. Или необходимо признать, что осмысленное человеческое существование действительно невозможно – осознаем, что «абсурдный герой» Камю хотя и импонирует нам, но в реальности невозможен – и сделать все вытекающие из этого выводы вплоть до самоубийства. Или нужно предположить, что человеческое существование все же возможно, несмотря на весь экзистенциальный опыт и несмотря на кажущуюся неизбежной экзистенциальную интерпретацию жизни. Но, осознав это с логической ясностью следует приступить к преодолению экзистенциализма как преходящего кризиса, ибо возможность разрешения этого кризиса заключена в самом факте человеческой жизни.

Тогда центральный для нас вопрос звучит так: каким образом человек может разорвать оковы экзистенциального одиночества и вернуть для себя опору во внешней реальности. Под такой «несущей реальностью» мы понимаем другого человека, человеческое сообщество, учреждения, в которых формируется жизнь этих сообществ, а также силу духа в той мере, в которой все они плодотворны для человека – короче, все, что может придать смысл и содержание человеческой жизни как нечто постоянное и надежное.

Это есть, говоря кратко, путь от экзистенциально угнетающего переживания обнаженности человеческого существования к новому чувству укрытости. Сообразно этому мы обозначаем проблему – как и указано в названии настоящего сочинения – как новую укрытость. В то же время необходимо подчеркнуть, что такая новая укрытость никогда не сможет устранить экзистенциальное переживание угрозы, она должна содержать

эту угрозу в себе и быть в состоянии преодолеть ее лишь на новом качественном уровне. Поэтому она должна быть иной, нежели несомненная уверенность наивного человека, убежденного в отсутствии угрозы. Неверно было бы понимать эту укрытость как простой переход от экзистентной обнаженности к некоей новой безопасности, правильное понимание состоит в восстановлении полной истины, охватывающей обе односторонние точки зрения.

5. Новое доверие к бытию

Прежде чем мы сможем рассмотреть перспективы исследуемого направления, необходимо сориентироваться в открывшейся сфере исследования и высказать некоторые, наиболее общие соображения. Новое отношение к действительности, подробности которого пока еще не определены, мы коротко обозначим как доверие. Мы говорим просто о доверии без каких-либо деталей, ибо речь здесь не идет о доверии к тому или иному определенному бытию, к тому или иному определенному человеку, а о некоем лежащем в основе этого доверии к миру и к жизни вообще, следовательно о доверии как таковом, еще без определенного предмета, которому доверяют. Доверие это возникает в процессе самой жизни из чувства глубокой укрытости.

Чтобы обозначить всеобщий характер рассматриваемого понятия, лучше говорить о доверии к жизни, понимая жизнь широко, в смысле – жизнь человека и жизнь мира. Однако, этого совершенно правильного обозначения избегают, потому что оно может быть легко истолковано в субъективно-психологическом смысле. Вместо этого говорят о доверии к бытию (*Seinsvertrauen*), дабы избежать опасности слишком сузить понятие, имея в виду некое религиозное доверие, в то время речь как здесь идет о таком элементарном бытийном отношении, которое предшествует любой религиозной трактовке.

При этом мы исходим из утверждения, что такое доверие к бытию является предварительным условием для всякой человеческой жизни. Потеря его неизбежно ведет к отчаянию и к отрицательным экзистенциальным переживаниям. Но эти переживания могут быть лишь отдельными критическими моментами жизни, предполагающими разрешение, и как таковые занимают свое место в нормальной жизни, которую делает возможной обычное доверие к бытию. Итак, хотя эти экзистенциальные переживания в наше время становятся распространенными, они тем не менее сохраняют человеку возможность нормальной жизни. И поэтому можно также утверждать, что с тех пор как однажды наивная уверенность в жизни была утрачена, человеческая жизнь заключает в себе неустранимое противоречие между отчаянием и доверием, между безнадежностью и надеждой, в этом вечном антифонном пении между адом и небом. Это новое доверие к бытию остается постоянно под угрозой и должно быть достигнуто заново перед лицом сомнения.

6. Детское доверие: А. Ничке

Я попробую проиллюстрировать это утверждение двумя примерами. Они могут показаться произвольными, но тем не менее они убедительны именно постольку, поскольку находятся вне философской сферы и выведены из непосредственного врачебного опыта обращения с человеком, еще не испытавшим влияния интеллектуальной культуры.

Прежде всего упомянем недавнее исследование Альфреда Ничке. В принципиально важной статье «Страх и доверие», опирающейся на прежние его работы, Ничке указал на то, как важна атмосфера доверия даже для совсем маленького ребенка. Она является условием, без которого – даже при благоприятных внешних обстоятельствах – ребенок развиваться не может. Если детям обеспечен безупречный гигиенический уход, но они лишены личностных связей с тем взрослым, что за ними ухаживает, то эти дети отстают в своем физическом и душевном развитии, что заканчивается для них в большинстве

случаев летальным исходом. В то же время если дети связаны с определенным любящим их человеком, они развиваются вполне нормально.

Может показаться, что все доверие к миру и к жизни в целом берет свое начало в доверии к определенному оберегающему человеку. Говоря об этом, Ничке подчеркивает: «в этом доверяющем–себя–открывании, в любовной привязанности к матери, в особом опыте привязанности к Ты ребенок открывается миру как собственно человеческое существо». Затем он продолжает «Мать своей заботливой любовью создает для ребенка пространство, достойное доверия, полное надежности и ясности (курсив А. Ничке). Все включенное в него становится причастным ребенку, осмысленным, ожившим, доверительным, близким и доступным... Огромна открывающая сила доверия ... Не только люди, но и вещи обнаруживают свою сущность, свое устройство, свой скрытый смысл. Именно так возникает сила здравого смысла, которая обеспечивает ребенку доступ к миру, к людям и к вещам».

То, что так отчетливо проявляется в жизни ребенка, можно перенести и на человеческую жизнь в целом: атмосфера доверия и здесь является необходимым условием человеческой жизни. Ничке говорит об этом: «кажется, это относится в равной степени к нам и нашим детям: без доверия к некоему порядку, некоей целесообразности нашего существования человек не может быть в полной мере человеком. Он впадает в чувство безнадежности и беспомощности и неизбежно запутывается». Одновременно становится объяснимым и разрушение, которому подвергается человеческая жизнь, если это доверие к бытию уничтожено надолго, а не временно теряется в отдельные критические моменты.

Отличие детского существования состоит в том, что ребенок живет в мире бесспорного доверия, восстанавливающего себя в своей бесспорности после всех потрясений, в то время как взрослый это доверие должен добывать в борьбе, во все новых подавляющих сомнениях. Возникает вопрос: каким образом человек, уже однажды утративший доверие к бытию, способен снова достичь его? Это вопрос трудный, потому что вряд ли возможно после утраты доверия обрести его вновь сознательным усилием. В любом случае это новое доверие будет совсем иным, нежели прежнее, по-детски несомненное доверие. Оно будет отличаться уже тем, что его необходимо отстаивать в непрекращающейся борьбе с каждым раз новыми сомнениями. Оно будет восприниматься как хрупкое благо, поднимающее человека над страхом и отчаянием.

Психоанализ (в самом широком смысле) видит суть болезненного процесса взросления человека в том, что человек неизбежно должен переходить из укрытости мира, оберегаемого родителями, в мир самостоятельности, личной ответственности, то есть должен взять жизнь в свои руки. Можно отметить односторонность такой точки зрения. Разве можно было бы назвать эту самостоятельность отчаянием со всеми указанными выше последствиями, если бы невозможно было возвращение в новую, разумеется, совершенно иную форму укрытости? Так что просчет Сартра состоит в том, что он описывает процесс взросления и попытки избежать этих последствий, но при этом в каждом требовании укрытости чувствуется желание обрести уже утраченное инфантильное доверие к бытию. Видимо, не следует смешивать изначальную детскую форму доверия, которая однажды неизбежно разрушается, и стремление вернуться к ней, что на деле означало бы бегство от новой формы укрытости, достигаемой в споре с отчаянием. Только об этой новой форме мы и будем говорить.

7. Необходимость надежды: Г. Плюгге

Второй пример, который мы хотим привести во введении для разъяснения постановки вопроса – исследование Г. фон Плюгге, посвященное попыткам самоубийства, известным ему из его клинического опыта. Результаты этого исследования чрезвычайно поучительны и перекликаются с нашими. Только в редчайших случаях имеется «достаточно» конкретная причина, которая сделала бы понятным такое трудное решение, например, социальная нужда или неизлечимая болезнь. Чаще всего речь идет о трудно

определимом общем нарушении в восприятии окружающего мира и взаимоотношениях с ним, которое Плюгге обозначает как утрату надежды. При этом имеется в виду вовсе не надежда на что-либо конкретное, на некое определенное событие, которое можно наглядно представить, а та глубочайшая надежда, которая не заключается в ожидании какого-то результата, а просто характеризует отношение к жизни в целом. В этом смысле Плюгге проводит различие между «общей надеждой» и «фундаментальной надеждой». «Общая надежда» содержит предвосхищение будущности мира (Welthaft zukunftig); она завершается ненеобходимым, абсолютно случайным исходом, которого ожидают как внешнего события, удовлетворяющего нас. «Фундаментальная надежда», напротив, включает в себя некое имманентное и незаменимое содержание; она является актом личностной экзистенции, добродетелью, выражением согласия с самим собой, которое конституирует бытие. К подробностям этой концепции мы вернемся позже в связи с обсуждением темы надежды в антропологическом ракурсе, а пока важно одно: именно надежда (это понятие мы употребляем в общем смысле и позднее оно будет уточнено) выдвинута в качестве условия возможности человеческой жизни как таковой; утрату ее можно рассматривать в качестве причины попыток самоубийства.

Противопоставление надежды и отчаянья как двух полюсов имеет прямое отношение к рассматриваемой нами проблеме преодоления экзистенциализма. С этой же стороны к ней подходит и Габриель Марсель, чьи значительные и совпадающие с нашими мыслями рассуждения в его «Наброске феноменологии и метафизики надежды» можно здесь упомянуть. Марсель характеризует там надежду как «акт, с помощью которого этот опыт (а именно опыт отчаянья) преодолевается». Следовательно, он также видит в преодолении отчаянья основную проблему, причем для него – в отличие от Плюгге, но в соответствии с нашей точкой зрения – существенно, что это преодоление не достается человеку как подарок, а должно быть результатом ежедневного усилия.

Соответствие соотношения отчаянья и надежды, с одной стороны, и страха и доверия, с другой, понятно. Ведь при внимательном рассмотрении здесь мы обнаруживаем другой ракурс той же самой проблемы доверия. Ибо, в конце концов, надежду можно определить как доверие к будущему, в отличие от доверия к настоящему, то есть надежда – один из временных аспектов доверия. При этом необходимо предположить еще одну точку зрения и добавить к двум указанным аспектам благодарность как отношение к прошлому. Итак, понятие надежды у Плюгге, к которому он пришел благодаря случаю и анализу, означает несущую связь между настоящим и бытийной основой. Поэтому Плюгге определяет надежду также как «выражение отношения, трансцендирующего нашу экзистенцию»

8. Первые признаки в поэзии

Определив понятие надежды, веры в бытие и доверия к бытию, мы в первом приближении обрисовали сферы, в рамках которой развивается рассуждение о том, что проблема преодоления экзистенциализма предполагает повторное обретение новой укрытости для человека. Это неперемное предварительное условие, без которого преодоление экзистенциализма невозможно.

Но при этом тотчас возникает возражение: как же мы можем сегодня осмысленно стремиться к такой новой укрытости после того, как нам с такой потрясающей очевидностью открылась обнаженность нашего существования (именно – в переживаниях, из которых родился экзистенциализм). Не является ли после этих ошеломляющих переживаний любое стремление к укрытости неким уклонением от суровости данного опыта, бегством в иллюзию, которую, как мы предполагали, мы как раз преодолели?

Ответить на этот вопрос, конечно, легко, но может быть в этом месте позволительно осторожно указать – не на правах доказательства, а лишь на правах намека на некую возможность – что в наше время, главным образом в поэзии, намечилось зарождение такого чувства благодарной укрытости бытия. Ведь мы должны считаться с тем, что поэты

в очень глубоком смысле подготавливают пути последующего философского развития, потому что они менее всего обременены громоздкостью системного мышления и беззаботны в вопросах строгого обоснования, поэтому они могут более непринужденно использовать возможности нового бытийного опыта и таким образом указывать направление более медлительной философской рефлексии.

И кажется особенно знаменательным то, что в поэзии и, прежде всего, в лирике последних лет после всех испытаний страха начало вырисовываться новое чувство одобрения бытия, радостное и благодарное одобрение существования человека как оно есть и мира, каким он ему открывается. Особо можно отметить двух таких поэтов – Рильке и Бергенгруена. Последний том стихов Бергенгруена «Благой мир» заканчивается признанием: «Что возникло из страданий, было мимолетным. Ничего не слышит ухо, кроме восхвалений» Это чувство благодарного одобрения существования, однако Бергенгруен определенно не тот поэт, который склонен к дешевому оптимизму. И он перекликается в этом чувстве глубокой благодарности с Рильке, который в завершение своего пути также был способен признаться: «все дышит и благодарит. О вы, беды ночи! Как вы бесследно исчезли».

Подобное признание Рильке имеет большое значение для нас, поскольку именно Рильке, как, пожалуй, никто другой, сам прошел через все пропасти экзистенциального отчаянья. И поэтому особенно важно, что «Дуинские элегии», которые принадлежат большей частью «позднему Рильке» не являются все же последним словом поэта и что – это до сих пор в полной мере не оценено обществом – в его последние годы жизни вырисовывается совершенно новая ступень зрелости, которая предстает почти как опровержение «Элегий» и которая, по меньшей мере, является шагом вперед и совпадает с нашим направлением преодоления экзистенциализма. Здесь выражается в поразительно новой манере чувство переполненности счастьем, чувство укрытости в целостности всеобъемлющего бытия. Это последнее доверие к существованию у него воплощено в словах: «лишь Ничто является злом, все бытие целесообразно». А это ведет нас к мысли, которую можно понимать как последнее завещание Рильке: «наше предпоследнее слово может быть словом нужды, но ... самое последнее будет словом красоты». «Элегии» были словом нужды, нищеты – причем, в наше время нужно иметь в виду и всю паскалевскую подоплеку этого понятия – но при этом только предпоследним словом, которое было превзойдено и исправлено последним словом – словом красоты, словом радостного согласия. Как видим, мы опять встретились с проблемой преодоления экзистенциального отрицания. И тут снова возникает возражение: не слишком ли мы облегчили себе задачу, не есть ли это субъективная позиция двух разных поэтов, которой можно противопоставить и противоположную позицию? И на каком основании мы должны воспринимать эти поэтические утверждения как философские? Конечно, в качестве лишь поэтического слова, они не обладают общеобязательностью. Но вероятно, они все же могут рассматриваться как первый намек, первое указание на новый опыт укрытости, который совпадает с направлением нашего поиска и заслуживает непредубежденной философской проверки.

9. Дальнейшее направление исследования

Мы не вправе создавать себе иллюзии по поводу масштаба наших выводов, полученных в результате обращения к поэзии. В строго философском смысле нами только приблизительно разъяснено значение надежды и доверия для человеческой жизни. Лишь когда мы определили таким образом свою цель, возникает собственно философская задача, а именно – критически исследовать возможные средства достижения этой цели.

Проблема возможности новой укрытости человека посреди угрожающего ему мира имеет прежде всего два аспекта. Во–первых, речь должна идти о состоянии мира, внутри которого человек может чувствовать себя укрытым, и в этом смысле мы говорим об онтологической проблематике. Но одновременно речь должна идти и о самообладании, о

внутреннем состоянии самого человека, который может чувствовать себя укрытом в подобном мире. А так как это самообладание осуществляется только посредством нравственного усилия, то мы говорим об этической проблематике. Оба аспекта, естественно, тесно взаимосвязаны друг с другом, но для начала должны быть рассмотрены независимо друг от друга. А поскольку мы, следуя собственной логике вещей, переходим от человека к миру, то сама собой складывается структура предстоящего исследования.

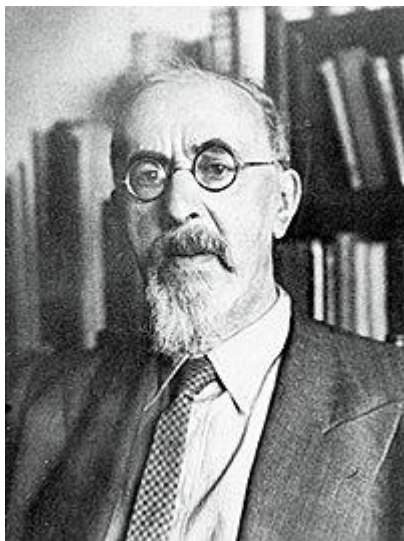
Оба аспекта опять возвращают нас к пониманию временного характера того состояния, человека, которое было описано в философии экзистенции столь же грандиозным, сколь и односторонним образом. Исходя из этого и можно приступить к расширению и преодолению экзистенциально–философской точки зрения. При этом, как будет показано в дальнейшем, феномену праздника как показательному противо–феномену указанных временных экзистенциальных состояний принадлежит решающее значение. Итак, мы приблизительно очертили границы последующего исследования.

Определенная скачкообразность хода мысли при этом неизбежна. Мы должны постоянно искать по возможности конкретные обособленные феномены из различных сфер жизни – строительные камни, которые лягут в основу концепции, разрешающей поставленную здесь проблему.

Вопросы и задания:

- 1) Согласны ли вы с аргументом О. Больнова о том, что экзистенциализм пагубно влияет на человека и его нужно преодолеть?
- 2) Насколько, по вашему мнению, удачные методы преодоления экзистенциализма предлагает автор?
- 3) Как скажется на поисках смысла жизни «преодоление экзистенциализма» (если следовать О. Больнову)?
- 4) Где искать «новую укрытость» современному человеку?

ТЕМА 3. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА ЖИЗНИ В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ



Семён Людвигович Франк (16 [28] января 1877 – 10 декабря 1950) – русский философ и религиозный мыслитель. Участник сборников «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918).

В своей статье «Русское мировоззрение» Семён Франк показывает истоки и особенности русской философии как особого типа мышления. Автор использует понятие «мировоззрение», чтобы продемонстрировать широту его проявлений в литературе и образе жизни русского человека. Русское мировоззрение, согласно С.Л. Франку, всегда стремится ответить на вопрос о смысле жизни.

1. Франк С.Л. Русское мировоззрение / Франк Семен Людвигович; сост., отв. ред. А.А. Ермичев; примеч. Б.В. Емельянова. – СПб. : Наука, 1996. – 738 с.

РУССКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Намереваясь представить очерк того, что можно назвать «русским мировоззрением», я считаю необходимым начать с краткого предисловия относительно самой задачи и возможности ее решения. Мировоззрение – это всегда одновременно продукт и выражение творящего индивидуального духа, духовной личности. В этом совершенно конкретном и прямом смысле существует, собственно, столько мировоззрений, сколько отдельных созидающих индивидуальностей или гениев. Таким образом, можно было говорить не о «русском мировоззрении», а о русских мировоззрениях, и я должен был бы представить вам целый ряд отдельных систем или учений наших крупных мыслителей. Однако если попытаться сравнить между собой все эти отдельные учения или системы и вывести из них нечто общее – так сказать, общее мировоззрение, то в силу масштабности и глубины индивидуальных различий результат будет иметь слишком неубедительный и абстрактно–общий характер и вряд ли будет заслуживать серьезного интереса и считаться сколь–нибудь оформленным и целостным мировоззрением. Точно так же ни один мыслитель какого–либо народа не может безоговорочно считаться в полном смысле и в полной мере представителем или выразителем национального духа. Здесь, как и во всем, имеет действительно жизненно важный смысл не получение всеобщего методом простого сравнения множества различий и выявлений присущего им общего, но, напротив, отталкивание уже с самого начала от конкретного единства. Однако национальное мировоззрение, понимаемое как некое единство, ни в коем случае, конечно, не является национальным учением или национальной системой – таковых вообще не существует; речь идет, собственно, о национальной самобытности мышления самого по себе, о своеобразных духовных тенденциях и ведущих направлениях, в конечном счете о сути самого национального духа, которая постигается лишь посредством некоей изначальной интуиции. Но с другой стороны, я совершенно не считаю себя способным проникать в глубины мистической психологии так называемой народной души, а в нашем случае – «русской души». Такое предприятие всегда имеет слишком субъективную окраску, чтобы претендовать на полную научную объективность; результат неизбежно обернется схемой, к тому же довольно приблизительной. Таким образом, при решении этой трудной задачи мы предпочитаем идти, так сказать, средним путем: объект нашего исследования – не таинственная и гипотетическая «русская душа», как таковая, а ее, если можно так

выразиться, объективные проявления и результаты, точнее, преимущественно идеи и философы, объективно и ощутимо для всех содержащиеся в воззрениях и учениях русских мыслителей; к тому же мы должны ограничиться лишь одним периодом русской духовной жизни, а именно XIX столетием, дабы наша работа не стала необъятной. С другой стороны, «русское мировоззрение», своеобразие русского мышления необходимо выделить из этого материала посредством интуитивного углубления и вчувствования – не как нечто абстрактно–всеобщее, а как нечто совершенно конкретное и действительно целостное. Поскольку облечь в понятия внутреннее содержание национального духа и выразить его в едином мировоззрении крайне трудно, а исчерпать его каким–либо понятийным описанием и вовсе невозможно, мы должны все–таки исходить из предпосылки, что национальный дух как реальная конкретная духовная сущность вообще существует и что мы путем исследования его проявлений в творчестве сможем все–таки прийти к пониманию и сочувственному постижению его внутренних тенденций и своеобразия. Тот же, кто полагает, что народ якобы вообще лишен конкретной духовной сущности, а представляет собой лишь собирательное понятие, объединение отдельных людей, тот отрицает тем самым внутреннее духовное единство народа, и для него, следовательно, сама тема национального мировоззрения беспредметна. Такое духовное продвижение к пониманию интуитивной сути русского мировоззрения есть в то же время единственный путь, которым можно прийти к истинному пониманию и объективной оценке русской философии. Когда говорят о «русской философии», необходимо сначала точно определить, что именно подразумевается под «философией» и в каком смысле трактуется это понятие. Разумеется, в России существовала и существует «философия» или, лучше сказать, философские произведения в обычной, академически–систематической форме, в какой по большей части существует «философия» на Западе. Однако если исследовать эту философскую литературу саму по себе, в отрыве от ее общего духовного контекста, то будет сложно отделить действительно важное и оригинальное от того многого, что определяется в ней западной академической традицией, и выделить то, что способно в какой–то мере углубить и обогатить философское миропонимание человека, знакомого с западноевропейской философией. Здесь стоит скромно констатировать, что философская наука в России, как и научное исследование вообще, еще очень молода и находится, если можно так выразиться, в начале своего жизненного пути. Лишь в последние десятилетия XIX–XX веков в России возникла действительно значительная философская литература (в употребляемом здесь смысле), которая вооружена всеми результатами и методами западноевропейской мысли и в то же время глубоко связана с особенностями национального типа мышления и может действительно претендовать на всеобщий интерес как вследствие своей оригинальности, так и по значимости своих результатов.

Это, как можно надеяться,– многообещающее начало, но все же только начало, которое до настоящего времени играет в русской духовной жизни не слишком большую роль и значение которого можно будет оценить лишь в отдаленной духовной перспективе. Если бы эта духовная перспектива отсутствовала, то еще нельзя было бы говорить о «русской философии» в совершенно ином смысле; возможно, нельзя было бы вообще вести речь о «русской философии», а самое большее – лишь о появившихся в России философских произведениях. Здесь, однако, необходимо напомнить о том, что в западноевропейской мысли и духовной жизни понятие философии употребляется также (и, естественно, должно употребляться) и в более широком смысле. Если под философией понимать лишь определенную науку – отдельную, каким–то образом ограниченную область научно–систематического исследования, то можно ли было бы вообще считать философами Сократа или даже Платона? Можно ли тогда причислять к немецким философам немецких мистиков Экхарта, Якоба Бёме, Баадера? Можно ли назвать философом Фридриха Ницше – самого, может быть, влиятельного немецкого мыслителя последнего поколения? Философия по своей сущности не только наука; она

вообще, вероятно, наука лишь в прикладном смысле; первоначально же, по своей исконной сути, она – наднаучное интуитивное мировоззренческое учение, которое состоит в очень тесной родственной связи (далее здесь не определяемой) с религиозной мистикой. И если взять философию в этом ее более широком и одновременно более глубоком значении, то можно по праву говорить о русской философии, которая, с одной стороны, действительно обладает своеобразием и целостностью, а с другой – достаточно значительна, чтобы пробудить у западноевропейца не только литературно–исторический, но истинный, глубокий интерес.

Своеобразие русского типа мышления именно в том, что оно изначально основывается на интуиции. Систематическое и понятийное в познании представляется ему хотя и не как нечто второстепенное, но все же как нечто схематическое, неравнозначное полной и жизненной истине. Глубочайшие и наиболее значительные идеи были высказаны в России не в систематических научных трудах, а в совершенно иных формах – литературных. Наша проникновенная, прекрасная литература, как известно, – одна из самых глубоких, философски постигающих жизнь: помимо таких общеизвестных имен, как Достоевский и Толстой, достаточно вспомнить Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Гоголя; собственно, литературной формой русского философского творчества является свободное литературное произведение, которое лишь изредка бывает отдано однозначно определенной философской проблеме, – обычно это произведение, которое, будучи посвящено какой–то конкретной проблеме исторической, политической или литературной жизни, попутно освещает глубочайшие, кардинальные мировоззренческие вопросы. Так написана, например, большая часть произведений славянофилов (их духовные вожди Хомяков и Киреевский принадлежат к значительнейшим и оригинальнейшим мыслителям), их главного оппонента Чаадаева, гениального мыслителя Константина Леонтьева, Владимира Соловьева и многих других.

Эта типичная литературная форма русского мировоззрения обусловлена не только внешними историческими обстоятельствами и традициями. И хотя нельзя отрицать, что в ней отразилась юношеская непосредственность, так сказать, внешняя незрелость русского духа, и несмотря на то, что, как уже было сказано, в последние десятилетия растет тенденция облекать основы национально–самобытного русского мировоззрения в систематическую, понятийно–логическую, строго продуманную форму, преобладающая, тем не менее, до сих пор свободная и ненаучная форма философского произведения до известной степени связана все же с самой сутью русского мировоззрения, которая будет охарактеризована в дальнейшем. Ограничимся пока констатацией того, что русская философия в гораздо большей степени, нежели западноевропейская, является именно мировоззренческой теорией, и что ее суть и основная цель никогда не лежат в области чисто теоретического, беспристрастного познания мира, но всегда – в религиозно–эмоциональном толковании жизни, и что она, таким образом, может быть понята именно с этой точки зрения, посредством углубления в ее религиозно–мировоззренческие корни.

Ближе всего мы подойдем к истинному пониманию и внутреннему постижению русского мировоззрения и типичных особенностей русского духа, если сравним их, пожалуй, с более нам известными и вызывающими меньше вопросов особенностями других национальных типов мышления. Для этого мы должны выбрать некоторые совершенно определенные направления мышления и духовные мотивы, которые нашли свое точное выражение в философской литературе и одновременно могут считаться типичными для какого–либо национального духа и которыми мы можем воспользоваться как четкими ориентирами. В качестве таких ориентиров я выбираю, прежде всего, ряд направлений мысли, которые характеризуют не материальное содержание мировоззрения, а его формальную природу как тип познания; хотя на первый взгляд они могут показаться существенными и незначительными, но я надеюсь, что именно с их помощью мы дальше всего продвинемся в уяснении специфических черт национального духа. Возьмем, к примеру, характернейшее различие между эмпиризмом и рационализмом.

Эмпиризм, склонность рассматривать непосредственный и конкретный опыт как единственный источник и отправной пункт всего человеческого познания составляет, как известно, характерную тенденцию английского национального духа, начиная с Фрэнсиса Бэкона или даже с Роджера Бэкона и Вильяма Оккама, т. е. с позднего средневековья, и вплоть до Дж. Ст. Милля и современного прагматизма. Напротив, французский дух, начиная с Декарта и, возможно, даже со средневековой схоластики, характеризуется, пожалуй, тягой к рационализму, склонностью строить знание на абстрактно–логических связях и логической очевидности. Как соотносится русский дух с этими двумя типами мышления?

Во–первых, здесь можно было бы сказать, что русское мышление абсолютно антирационалистично. Этот антирационализм, однако, не идентичен иррационализму, т. е. какой–нибудь романтической и лирической размытости, неясности, логической недифференцированности духовной жизни, а равно он не означает и неприятия точной науки вообще или неспособности к ней. Что касается последней, то достаточно указать на то, что Россия, несмотря на очень позднее развитие организации науки (первый Московский университет был, как известно, основан лишь в 1755 году), выдвинула по–настоящему гениальных представителей точных наук: напомним здесь – будем говорить лишь о самых великих – об универсальном ученом XVIII века Ломоносове, о гениальном первооткрывателе пангеометрии Лобачевском и о не менее гениальном ученом, авторе периодической системы химических элементов Менделееве. Одно из важнейших психологических условий для точной науки – определенная умственная трезвость и логическая ясность как раз очень характерны для русского духовного склада. (Эти особенности могут временами разрастаться до настоящего рационализма, каковой выразился, например, в мировоззрении Толстого и в русских рационалистических народных сектах.) Но что касается первого, т. е. иррационализма, то можно, конечно, сказать, что русскому религиозному духу, который лучше всего отражает национальный духовный склад, изначально присуще непреодолимое стремление к умозрительности, к философской глубине и основательности и что ему ничто так не противоречит, как сентиментально–размытый субъективизм, отличающий некоторые западные религиозные секты. Духовная трезвость, воздержание от всякого рода восторженных состояний, экзальтации является одним из характерных требований национальной русской аскетической практики: с этим как раз согласуется то, что гениальнейший русский национальный поэт Пушкин недвусмысленно предостерегает от смешивания поэтического вдохновения с субъективной восторженностью. Совершенно неверно, что русскому духу, как это часто приходится слышать, совсем не свойственно то, что Ницше называл «аполлоническим» элементом, и что в нем господствует лишь «дионисийский» элемент. О сути русского духа следует судить не по одному только Достоевскому, а в равной мере и по Пушкину. Русский антирационализм как раз не означает, что русский дух сопротивляется способности в одной лишь логической очевидности и логических взаимосвязях усматривать выражение окончательной и полной истины. В этом смысле можно сказать, что русский дух решительно эмпиричен: критерий истины для него – всегда в конечном счете опыт. Но мы тотчас же заметим принципиальное различие между английским и русским эмпиризмом: оно совершенно недвусмысленно выражено в философской литературе обоих народов. Для английского эмпиризма опыт равнозначен чувственной очевидности: он без остатка раскладывается на комплекс данных чувственного восприятия; что–то «узнать» означает в английском смысле – натолкнуться на что–то внешнее, доступное благодаря чувственному восприятию. Решительно иной смысл имеет русское понятие опыта. Опыт означает для русского в конечном счете то, что понимается под жизненным опытом. Что–то «узнать» – означает приобщиться к чему–либо посредством внутреннего осознания и сопереживания, постичь что–либо внутреннее и обладать этим во всей полноте его жизненных проявлений. В данном случае опыт означает, следуя логике, не внешнее познание предмета, как это происходит

посредством чувственного восприятия, а освоение человеческим духом полной действительности самого предмета в его живой целостности. И по отношению к этому опыту логическая очевидность затрагивает лишь, так сказать, внешнюю сторону истины, не проникая в ее внутреннее ядро, и поэтому она всегда остается неадекватной полной и конкретной истине.

Это понятие опыта не только подспудно лежит в основе всего русского мышления и русской философии, но и весьма подробно и ясно было обосновано в самобытной национальной русской теории познания, совершенно неизвестной Западу.

Но прежде чем я попытаюсь изложить содержание этой русской теории познания, я должен здесь вкратце затронуть принципиальный вопрос о сути гносеологии.

Совершенно замечательно, что русская философия – так же как и немецкая философия со времен Канта – на свой манер строится на теории познания и что, следовательно, гносеология имеет для нее не менее основополагающее значение, чем для немецкой. Правда, в совершенно ином смысле, чем для последней. Теория познания в ее известной в Германии вплоть до последнего времени форме, происходящей из кантианства и с ним внутренне связанной, диаметрально противоположна по своему замыслу и стилю тому, что можно назвать сутью русской философии. Кажется, именно в немецкой философской литературе гносеология состоит в некотором противоречии с задачами философии как мировоззренческой теории. Как чистая и строгая наука, точнее, как наука, цель которой – контролировать границы научного познания и предостерегать от любого дерзкого метафизического исследования, направленного на само бытие, она кажется весьма удаленной от мировоззренческих вопросов и в определенном смысле находится по отношению к ним в постоянной конфронтации. Возможно ли, чтобы теория познания составила основу философии, вся суть которой состоит именно в стремлении к позитивному, религиозному–метафизическому мировоззрению? Иными словами, возможно ли саму теорию познания рассматривать как интегрирующую часть метафизического мировоззрения, говорить о ней как о мировоззренческом вопросе?

Достаточно вспомнить о системах Фихте и Гегеля, чтобы ответить на эти вопросы утвердительно. В последнее время также в немецкой философии – вспомним имена Макса Шелера и Николая Гартмана – вновь все отчетливее ощущается, что теория познания не является холодной и формальной, так сказать, полицейской наукой, которая упорядочивает метафизическую тенденцию и держит ее в тисках, но сама является частью, а именно основополагающей частью, онтологии и представляет собой позитивное проникновение в глубины духовного мира. Именно постольку, поскольку мы страстно отдаем себя решению таких метафизических вопросов, как «Что есть, собственно, человек?», «Каков смысл его жизни?», «В каком отношении он находится к последним первопричинам бытия?», неотвратимо встает вопрос о сути и смысле человеческого познания. Ибо факт познания не только сам по себе составляет часть бытия, но – если мы вдумаемся в понятие познания достаточно глубоко – это именно та часть, в которой метафизическая, надприродная суть человека проявляется наиболее отчетливо.

Такого краткого пояснения здесь, видимо, достаточно: в мою задачу не входит развивать его здесь систематически. Оно служит мне лишь в качестве предварительного обоснования моей попытки принять за отправной пункт в изложении русского мировоззрения его теорию познания. А ее основу составляет, как уже сказано выше, жизненный опыт.

У истоков русской философии, в конце XVIII века, появляется выдающаяся фигура народного мыслителя Сковороды – русского Сократа, который не только свою мыслительную деятельность, но и всю жизнь посвятил доказательству того, что подлинное знание и жизнь в высшем понимании – одно и то же. Вслед за тем своеобразный русский философ, один из первых славянофилов, Иван Киреевский вводит в философскую литературу понятие «живознания» как единственной основы истинного, полного познания и противопоставляет его, предельно заостряя на этом внимание,

господствующему в науке привычному абстрактному познанию. Он требует положить это «живознание» в основу как всего индивидуального мировоззрения и образа жизни, так и общественного строя и на этом требовании основывает свой идеал целостности жизни – в противоположность расщепленности и окостенению, господствующим на Западе. Это же понятие играет ведущую роль у его последователей, например у Самарина, и в литературе славянофилов в целом. Вл. Соловьев в своем основном теоретическом труде «Критика отвлеченных начал» (в котором, вслед за Киреевским, доказывает, что истина бытия есть конкретная целостность, не могущая быть адекватно представленной ни в отдельном отвлеченном принципе, ни в знании, ни в морали) развивает также своеобразную теорию познания, суть которой состоит в теории веры как живого понимания бытия. Ни содержание чувственного восприятия, ни содержание рационального мышления не открывает нам настоящего подступа к бытию, к действительности. Данные ощущений непреложны лишь как таковые и лишь на – момент их восприятия, – т. е. в чисто субъективном смысле; идеи же или общие понятия рационального мышления имеют, напротив, чисто гипотетическое значение; и то и другое – как данные ощущений, так и содержание мышления – мы относим к предметному, не зависящему от нашего познания бытию и познаем как его содержание. Но откуда идет это понимание предметного бытия, как такового, без отношения к которому наши ощущения и мысли не имели бы познавательной ценности? Как уже говорилось, мы не можем прийти к нему ни через опыт, ни через мысль. Как эмпиризм, так и рационализм ошибочно трактуют главную суть познания. К постижению бытия не ведет вообще никакой внешний путь; ибо всякий внешний путь может вести лишь к внешнему знакомству с действительностью, да и то ограниченному лишь данным моментом восприятия. Но смысл познания помимо самого акта познания состоит именно в его трансцендентности, в непреложности его действительности. Итак, должно наличествовать внутреннее свидетельство бытия, без которого факт познания остается необъяснимым. Это внутреннее свидетельство именно и есть вера – не в обычном смысле слепого, необоснованного допущения, а в смысле первичной и совершенно непосредственной очевидности, мистического проникновения в самое бытие.

Этот ход мысли Соловьева, который, как тотчас же смогут увидеть специалисты, в известной степени перекликается с идеями Якоби и Ба-адера, а также с философией Шеллинга последнего периода, таит в себе *in mice* онтологическую гносеологию, основанную на принципиальной критике идеализма. Но для того чтобы оценить ее правильно и по достоинству, мы должны вначале рассмотреть в общих чертах другой принцип русской философии.

II

С направлением русской философии, которое определяется понятием жизненного опыта как основы познания истины, тесно связана другая характерная черта русского мировоззрения: тяга к реализму, или, лучше сказать, к онтологизму, невозможность довольствоваться какой-либо формой идеализма или субъективизма. В этом смысле очень симптоматично, что, несмотря на огромный интерес, который всегда проявляли в России к немецкой философии, ни Кант, ни Фихте никогда не оказывали здесь сколько-нибудь глубокого и длительного воздействия на умы. Напротив, чрезвычайно велико было влияние намного более онтологически выдержанных систем Гегеля и Шеллинга. Критика философии Канта и борьба против кантианства – также постоянная тема русской философской мысли.

Чувствуется, что преодоление философского идеализма – для русской философии, можно сказать, жизненно важный вопрос. Вначале я попытаюсь в основных чертах раскрыть ведущую тему этого духовного направления, в котором отражено весьма значительное различие между новой западноевропейской и русской мыслью.

Для западноевропейской философии не только со времени Канта, но еще со времени Декарта и Локка первичным, непосредственным, самоочевидным является не бытие, а

всегда только сознание или знание (я воздержусь здесь от выявления различия формулировок). Бытие в абсолютном смысле либо вообще непостижимо для знания и замещается в сознании его феноменологическими образами (как у Канта), или же выражается только посредством передачи знания, т. е. через сознание. В знаменитой и очень характерной формуле Декарта «*cogito ergo sum*» содержится единственное бесспорное бытие – бытие меня самого, но только как вывод (хотя и самоочевидный вывод) о моем мышлении. Для интеллекта, воспитанного на понятиях западноевропейского мышления, это положение вещей кажется вполне разумным, и другое рассуждение кажется совершенно невозможным. Эта кажущаяся самоочевидность идеализма выражена в известных словах Канта: «Кроме нашего знания, мы все же ничего не имеем, с чем можно было бы сравнить наше знание». Это не только абстрактная философская теория, тезис, передаваемый через какое-то теоретическое основание, но непосредственное выражение в какой-то степени спонтанного жизнеощущения. Новый западноевропейский человек ощущает себя именно как индивидуальное мыслящее сознание, а все прочее – лишь как данное для этого сознания или воспринимаемое через его посредство. Он не чувствует себя укорененным в бытии или находящимся в нем и свою собственную жизнь ощущает не как выражение самого бытия, а как другую инстанцию, которая противостоит бытию, т. е. он чувствует себя, так сказать, разведенным с бытием и может к нему пробиться только окольным путем сознательного познания.

Совершенно иное жизнеощущение выражается в русском мировоззрении, которое поэтому стремится к совсем иной философской теории. Эту философию я попытаюсь здесь, конечно, не столько обосновать, сколько лишь изложить и пояснить. Русскому духу путь от «*cogito*» к «*sum*» всегда представляется абсолютно искусственным; истинный путь для него ведет, напротив, от «*sum*» к «*cogito*». То, что непосредственно очевидно, не должно быть вначале проявлено и осмыслено через что-то иное; только то, что основывается на самом себе и проявляет себя через себя самое, и есть бытие как таковое. Бытие дано не посредством сознания и не как его предметное содержание; напротив, поскольку наше «я», наше сознание есть не что иное, как проявление, так сказать, ответвление бытия как такового, то это бытие и выражает себя в нас совершенно непосредственно. Нет необходимости прежде что-то «познать», осуществить познание, чтобы проникнуть в бытие; напротив, чтобы что-то познать, необходимо сначала уже быть. Именно через это совершенно непосредственное и первичное бытие и постижимо, наконец, всякое бытие. Можно также сказать, что в конечном счете человек познает постольку, поскольку он сам есть, что он постигает бытие не только идеальным образом через познание и мышление, а прежде всего он должен реальнее укорениться в бытии, чтобы это постижение вообще стало возможным. Отсюда следует, что уже рассмотренное нами понятие жизненного опыта как основы знания связано с онтологизмом. Ибо жизнь есть именно реальная связь между «я» и бытием, в то время как «мышление» – лишь идеальная связь между ними. Высказывание «*primum vivere deinde philosophare*» по внешнему утилитарно-практическому смыслу есть довольно плоская банальная истина: но то же самое высказывание, понимаемое во внутреннем, метафизическом смысле, таит в себе (как выражение онтологического примата жизненного факта над мышлением) глубокую мысль, которая как раз и передает, по-видимому, основное духовное качество русского мировоззрения.

На этой основе, следуя традиции Ивана Киреевского и Вл. Соловьева, развивалась в России научно-систематическая теория познания, которая, как можно утверждать, содержит некоторые весьма оригинальные и западной философии малознакомые мысли. После того как Лев Лопатин уже в 80-е годы XIX столетия с большой проникновенностью и в чрезвычайно острой системной форме предпринял попытку вновь оправдать и возродить метафизику (в то время когда в России позитивизм считался единственным научным мировоззрением и всякая метафизика была предосудительна), и

после того как позднее другой русский философ – князь Сергей Трубецкой начертал теорию познания, где утверждал, что суть последнего состоит в подлинном выходе за границы познающего субъекта, появилось, можно сказать, основополагающее произведение онтологической гносеологии – «Основы интуитивизма» Николая Лосского. Я могу здесь вкратце представить только главный тезис этой системы. Лосский строит свое учение на совершенно своеобразной теории сознания, которая поражает простотой и может рассматриваться как научное обновление так называемого «наивного реализма». Сознание не есть, как обычно полагают, замкнутая в самой себе область, так сказать, сосуд, имеющий в себе свое содержание; напротив, оно открыто, оно по своей природе является отношением между познающим субъектом и предметным бытием как таковым. Поэтому совсем необязательно, чтобы сознание присваивало себе каким-то образом предметы, которые оно в себе повторяет или репрезентирует, и все трудности, связанные с вопросом, как сознание получает весть о бытии как таковом или как бытие достигает сознания (ибо все же оно извечно лежит за пределами последнего), а также временное разрешение этих трудностей – кантовский критицизм – тем самым одним махом устраняются. Суть познающего сознания состоит именно в освещении тех сфер материального бытия, куда он проникает. Как излишне и бессмысленно спрашивать, исходит ли лампа сама из себя, чтобы осветить предметы, или как предметам удается – и удастся ли вообще – попасть в лампу, чтобы быть ею освещенными (ибо суть источника света состоит именно в испускании лучей), точно так же бессмысленно спрашивать, как сознанием постигаются предметы или как предметы попадают в сознание, ибо сознание по своей сути как раз и есть луч света, отношение между познающим субъектом и предметами. В этом состоит исходное положение, о возможности которого даже нельзя спрашивать. Сам этот вопрос возник лишь по причине неверного понимания сознания, и это ложное понимание обусловлено, со своей стороны, обычным натуралистически-материалистическим представлением, будто сознание вложено куда-то в мозг, в черепную коробку человеческой головы и никак не может войти в соприкосновение с человеческим бытием. Однако если мы предостережем себя от смешивания идеальной, надвременной и надпространственной природы познания, как такового, с естественными условиями взаимодействия между внешней средой и человеческим телом или нервной системой, если познаем основополагающие различия между ними, то вся трудность тотчас же окажется мнимой.

Я сам в своей книге «Предмет познания» (1915) сделал попытку продвинуть эту онтологическую теорию познания на шаг вперед и, как хотелось бы верить, принципиально важный шаг, при этом я не упускал из виду упомянутого хода мысли Соловьева и позволю себе в этой связи коротко, в сжатой форме, сообщить о своих результатах. Теория Лосского имеет существенный недостаток. Хотя она и гарантирует реальное понимание предмета через познающее сознание, но это происходит, собственно, только на момент самого восприятия. Понятие бытия, как такового, в его полной трансцендентности, т. е. в его независимости от всякого познания, вследствие этого объясняется недостаточно. Вообще нереально постигнуть смысл этого понятия, коль скоро мы за единственную отправную точку принимаем сознание. Если же мы берем идею бытия – не бытия сознания или для сознания, а бытия самого по себе (без этой идеи исчезает трансцендентность, а с ней и полный смысл познания), – то мы должны брать ее в совершенно первично непосредственной форме. И мы ее действительно имеем и не только в нашем собственном бытии, но и бытии вообще, которое делает его возможным и к которому мы принадлежим. Тот факт, что нечто вообще существует и, таким образом, существует бытие, как таковое, намного более очевиден, нежели тот, что мы обладаем сознанием. На вопрос критической философии, существует ли бытие вне нас или только внутри нас, в нашем сознании, необходимо ответить, что и то и другое одновременно подтверждается тем, что мы – внутри бытия. Все познание, все сознание, все понятия – это уже вторичная, произвольная форма освоения бытия, которая претворяет бытие в

идеальную форму, первичным, совершенно самоочевидным является, так сказать, бытие в бытии, непосредственное проявление и «самораскрытие» бытия как такового, которым мы онтологически обладаем как непосредственным переживанием. Достаточно освободиться от обычного субъективизма, от представления, что человеческая психика, наше внутреннее бытие есть совершенно своеобразное, закрытое в себе самом и противостоящее действительному бытию субъективное образование, чтобы понять, что мы в нашем бытии и через него непосредственно связаны с бытием как таковым, существуем в нем и обладаем им совершенно непосредственно – не через познающее сознание, а через первичное переживание. Если бы внешний мир и вообще область объективного состояли из отдельных и совершенно чуждых нам вещей, то мы бы никогда не были уверены, что нечто действительно есть, а не только является нам в моменты познания. Но так как каждый отдельный предмет мыслим только в рамках и на основе единого всеохватывающего бытия, бытия как такового, т. е. того бытия, которое охватывает и пронизывает и нас самих, то мы обладаем в нем (в этом осознании бытия как такового, которое предшествует каждому акту познания и обосновывает его смысл) абсолютной гарантией объективности нашего знания.

Непосредственное чувство, что мое бытие есть именно бытие, что оно (мое бытие) принадлежит бытию всеобщему и укореняется в нем и что совершенное жизненное содержание личности, ее мышление как род ее деятельности пресуществуют только на этой почве, – это чувство бытия, которое дано нам не внешне, а присутствует внутри нас (не становясь тем самым субъективным), чувство глубинного нашего бытия, которое одновременно объективно, надындивидуально и самоочевидно, составляет суть типично русского онтологизма. Последний, естественно, отражается и в русской религиозности или, вероятно, происходит из нее – вот тема, которой я здесь коснусь лишь мимоходом. Лучше всего мы проникнем в суть дела через различие других, западных форм религиозности. Главная тема спора между католицизмом и протестантизмом не затронула русского религиозного сознания не только вследствие каких-то внешних исторических обстоятельств; она оставалась и остается ему внутренне чуждой вследствие чуждости самой постановки вопроса. Русское религиозное сознание никогда не спрашивало, каким образом приходит человек ко спасению: через внутренний образ мыслей и веру или внешние действия. Обе части дилеммы, как ему представляется, предполагают слишком внешние отношения между человеком и Богом, неподобающее разделение между ними. Ни внутренний субъективный человеческий настрой на религиозность, ни какие-либо действия человека не достаточны для того, чтобы установить внешнюю связь с Богом; только сам Бог, и Он один, по мере того как Он завладевает человеком, если тот погружается в Него, может спасти его. Знаменитый августино-пелагианский спор о соотношении между благодатью и свободной волей, который сыграл такую большую роль в истории западной церкви, также никогда всерьез не тревожил русское религиозное сознание. Ибо этот спор основывается на известном разделении и напряжении между человеком и Господом, между субъективно-внутренне-личным и объективно-внешне-надличностным моментом религиозной жизни, а именно это напряжение совершенно чуждо русскому метафизическому чувству. Ибо совершенное позитивное содержание личности происходит для него только от одного Бога и тем не менее принимается не только как внешний дар, а усваивается внутренне. Как индивидуализм субъективного внутреннего, так и лишь внешне надындивидуальный объективизм преодолены здесь через абсолютный всеобъемлющий онтологизм в том смысле, в каком это звучит и у Гёте: «Ничего внутри, ничего снаружи – потому что то, что внутри, то и снаружи». Не стремление к Богу, а бытие в Боге составляет суть этого религиозного онтологизма.

Тот же путь очень характерно проходит и русская психология. Не останавливаясь детально на различных учениях русских мыслителей, я попытаюсь вкратце, в синтетической форме охарактеризовать своеобразие русского философского мышления в

области исследования души, так сказать, типично русскую точку зрения на этот вопрос. Если мы сначала рассмотрим обычную, по меньшей мере с полстолетия распространенную на Западе точку зрения на область психического – как она проявляется в так называемой эмпирической психологии, которая сама себя провозглашает психологией без души, – то мы сможем заметить, что для нее характерно рассмотрение душевных проявлений как маленького привеска, части эмпирически предметного мира, которая подвержена его законам и без остатка, органично входит в обычную картину мира. Современная психология сама себя называет естественной наукой. Если освободиться от обычного, искаженного значения слова и вернуться к его истинному внутреннему смыслу, то легко понять, что, собственно, оно означает: что современная западная психология в строгом смысле слова – отнюдь не психо–логия (учение о душе), а физио–логия. Она не есть учение о душе как о сфере внутренней реальности, которая, как; мы далее определим, в своей эмпирической сущности непосредственно отличается от чувственно–предметного мира природы и противостоит ему; .она есть, напротив, именно естественная наука, учение о внешних, чувственно–предметных условиях и закономерностях психического феномена, которые в отрыве от их изначальной и истинной почвы рассматриваются лишь в рамках Внутренне чуждого им мира – чувственно–предметного. Если к тому же оставить в стороне психофизику и психофизиологию и рассматривать только так называемую чистую психологию, можно все же легко заметить, что ей в качестве основы, каркаса ее понятийной системы, на котором зиждятся ее отдельные наблюдения, служит внешний предметный материальный мир. Жизнь души мыслится как маленький мир где–то внутри человеческого тела. И если таким образом жизнь души так или иначе локализуется в пространстве, то тем более она локализуется и во времени. Душевные явления мыслятся как хронологически определенные объективные события, длительность, последовательность и связь которых с материальными процессами устанавливается однозначно. Совокупность психических процессов вообще рассматривается лишь как ничтожно малая и производная часть биологического и космического целого. Не поднимая здесь вопроса об истинной ценности и объективности такого столь обычного для нас теперь психологического мировоззрения, я хотел бы подчеркнуть, что может существовать совершенно иная психология, которая рассматривает душевное не снаружи, со стороны явления в чувственно–предметном мире, а, если можно так выразиться, по направлению изнутри вовне – именно так, как душевное переживание являет себя не холодному и постороннему наблюдателю, а самому себе, переживающему «я». И это – принципиальная постановка вопроса русской психологией: не в специальном психологическом исследовании, которое по большей части будет находиться под влиянием западной науки, а в общем философском мировоззрении, охватывающем область психического. Рассмотрев душевное по направлению изнутри вовне, как оно существует в наших мечтах, аффектах, страстях, тоске или переживаемых нами просветлениях, мы получим совершенно иное понятие о нем. Речь не о том, чтобы явления этой области присоединить в пространственно–временном смысле к определенным материальным явлениям и на этом основании выделить им скромное местечко в объективно–предметном мире. Напротив, они образуют особую вселенную, находящуюся в совершенно ином измерении,– неисследимую по своей глубине и богатству содержания,– живут по собственным законам, которые в другом мире бессмысленны и невозможны, здесь же царят с непосредственной очевидностью. Человек, каким он предстает во внешнем мире, видится крошечной частью мирового целого, и сущность его исчерпывается, на первый взгляд, этой видимостью; но фактически тот, кого мы называем «человек», есть в себе и для себя нечто неизмеримо большее и качественно иное, чем маленький осколок мира; это таинственный мир колоссальных потенциально бесконечных сил, внешне втиснутый в малый объем, и его потаенные глубины столь же мало напоминают с себе во внешнем проявлении, сколь

огромные, неизмеримые богатства недр или таящие в себе опасность темные пучины соответствуют незаметному их выходу наружу, соединяющему их со светлым, желанным миром земной поверхности.

Это и является принципиальной позицией русского духа в области душевного. Я позволю себе пояснить этот психологический онтологизм на нескольких примерах из области русской литературы. Чрезвычайная психологическая проницательность Достоевского, его талант проникать в тайные и темные бездны человеческой души, побудившие Ницше назвать этого писателя единственным учителем психологии наших дней, достаточно известны. Я хотел бы, однако, подчеркнуть, что методическая предпосылка этой проникновенности состоит в том, что для Достоевского человеческая душа – не особенная маленькая и производная область; она имеет бесконечные глубины, которыми укореняется в последних безднах бытия и непосредственно связывается с самим Богом – или же с Сатаной, – а в мгновения истинной страсти затопляется общими метафизическими силами бытия как такового. Достоевского интересует лишь то, что имеет в человеческой жизни действительную реальность и в качестве таковой пробивает стену обычного, общепринятого, кажущегося бытия; и эта реальность более не является уединенной и ограниченной психической жизнью как таковой, но принадлежит уже, можно сказать, к космическим или метафизическим силам бытия, для проявления которых индивидуальное сознание есть лишь медиум. Сюда же относится мировоззрение крупного, но малоизвестного на Западе поэта–мыслителя Тютчева. Вся его лирика пронизана метафизическим трепетом, который поэт ощущает перед безднами человеческой души, поскольку непосредственно чувствует тождественность ее сущности космическим безднам, хаотическому господству сил природы. Поскольку творчество Тютчева малоизвестно в Германии, несмотря на хороший перевод его стихов, мне кажется уместным привести здесь некоторые его стихи для пояснения сказанного.

Первое стихотворение посвящено ночному ветру.

О чем ты воешь, ветер ночной? О чем так сетуешь безумно?.. • Что значит странный голос твой, То глухо жалобный, то шумный? Понятым сердцу языком Твердишь о непонятной муке – И роешь и взрываешь в нем Порой неистовые звуки!..

О, страшных песен сих не пой Про древний хаос, про родимый! Как жадно мир души ночной Внимает повести любимой! Из смертной рвется он груди, Он с беспредельным жаждет слиться! О, бурь заснувших не буди – Под ними хаос шевелится!..

Вой ночного ветра и темные жалобы душевных глубин есть проявление одной и той же космической сути бытия. Природный хаос – наше материнское лоно – таится в глубине нашей собственной души, и поэтому он при всей его таинственности откликается в каждом человеческом сердце.

Аналогичным образом описывая в нескольких стихотворениях ночь, поэт показывает, что бездны ночи родственны безднам души. День – это «золотой покров, накинутый над бездной», который «святая ночь... свила». И человек оказывается «Лицом к лицу пред пропастью темной». В душе своей, как в бездне, погружен, И нет извне опоры, ни предела... И в чуждом, неразгаданном, ночном Он узнает наследье родовое.

В другом стихотворении, которое посвящено, если так можно выразиться, метафизической сути грез, мы встречаем характерное сравнение:

Как океан объемлет шар земной, Земная жизнь кругом объята снами. Греза есть, таким образом, не субъективно–внутреннее образование человеческой души; напротив, все содержание нашего бодрствующего сознания, чувственно–предметная реальность мира являются лишь маленькой частью бытия, которое, как земля океаном, омывается грезами – необозримой областью мистического бытия.

Такое онтологическое понимание души находит отражение и в построениях русской философской психологии. Из всех западноевропейских мыслителей, за исключением чистых мистиков Баадера и Бёме (излюбленные имена русской мистики), ближе всего к русскому мышлению стоят Шеллинг и Лейбниц. Несмотря на большую популярность в

40–е годы XIX века гегелевской философии, Шеллинг все же более всего занимал русские философские умы с начала столетия и вплоть до 50–х годов. В области же научно–философской психологии эту роль сыграл Лейбниц, с которым русские философы были заодно в борьбе за психологический онтологизм против позитивизма и его бездушной психологии.

В 80–е годы лейбницианец Козлов, не особенно значительный как систематизатор, но наделенный большой интуицией мыслитель, вел ожесточенную, вооруженную всеми средствами философской сатиры борьбу против господствующего в науке позитивизма и развивал лейб–ницианскую метафизику человеческой души. Козлову наследует основатель русского интуитивизма Лосский, метафизика и психология которого так явственно несут на себе отпечаток мысли Лейбница. Лейбнициан–цем был также и очень значительный русско–немецкий метафизик Тейхмюллер. Ранее упомянутая метафизика Лопатина также содержит в качестве важнейшей части своего содержания онтологическую психологию, определяемую идеями Лейбница, очень тонкую и местами предвосхищавшую учение Бергсона. Автор этих строк хотел бы здесь добавить, что он сделал попытку в своем произведении «Душа человека» (Петербург, 1917) развить эту сторону русской психологии с учетом ее христианско–платонического мировосприятия общей феноменологии душевной жизни.

И все же психология, как таковая, даже в своем онтологическом варианте не является, собственно говоря, областью русского духовного творчества. Именно потому, что его интерес направлен на глубочайшие онтологические истоки жизни души, это творчество имеет тенденцию очень скоро перешагивать область собственно психического и достигать сфер последнего, всеобъемлющего бытия. А с другой стороны, представление об индивидуальной личностной сфере, заключенной в себе самой, совершенно чуждо русскому мышлению. Как ни велико было влияние учения Лейбница о монадах на часть русских мыслителей, учение о замкнутости и изолированности монад все они отвергали. Монада не только имеет, в соответствии с русским представлением, вопреки Лейбницу, «окна», через которые она взаимодействует с другими монадами, с Богом и миром, но и все ее бытие в целом основано, собственно, на этом взаимодействии.

<...>

Вопросы и задания:

- 1) Что понимает под понятием «мировоззрение» Семен Людвигович Франк?
- 2) В чем, согласно С.Л. Франку, особенности русского мировоззрения?
- 3) В каких исторических обстоятельствах, по Франку, формировалось русское мировоззрение?
- 4) Какое место в русском мировоззрении следует, перечитывая С.Л. Франка, отвести вопросу о смысле жизни?



Евгений Николаевич Трубецкой (23 сентября (5 октября) 1863 года – 5 февраля 1920) – русский философ, правовед, публицист, общественный деятель.

В работе «Смысл жизни», которую Евгений Трубецкой считал главной в своем творчестве, он излагает свои основные воззрения на проблему смысла жизни, обращаясь к философии Всеединства и концепции Абсолютного сознания.

2. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни / Трубецкой Евгений Николаевич; Сост.: А.П. Полякова, П.П. Апрышко. – М.: Республика, 1994. – 432 с.

<...>

ГЛАВА I. Мировая бессмыслица и мировой смысл

I. Бессмыслица существования

Всем сказанным готовится постановка основного вопроса настоящего исследования – вопроса о смысле существования вообще и человеческой жизни в частности.

В широком понимании слова, как мы видели, все действительное и возможное имеет свой смысл, т. е. свое значение и место в мысли безусловной. Но вопрос о смысле ставится не только как вопрос об истине, но также и в специфическом значении вопроса о ценности. Так поставленный, этот вопрос еще не получил разрешения в предыдущем, ибо смысл–истина не совпадает со смыслом–целью или ценностью.

Все возможное и действительное имеет свое безусловное «что» в истине, или, что то же, – в безусловной мысли. Но это «что» еще не есть безусловное «для чего». – Необходимое логическое предположение всякой мысли и всякого сознания есть всеобъемлющая мысль и всеобъемлющее абсолютное сознание; стало быть, логически мы вынуждены предполагать суд абсолютной мысли о мире, в котором мы живем, – суд не только о его бытии, но и о его ценности. Но мы пока не знаем, – каков вердикт этого суда о ценности мира, – представляет ли он собою оправдание или осуждение: ибо логически отрицательная оценка существования столь же возможна, как и оценка положительная.

Вопрос о смысле–цели не только не разрешается, но и не ставится теорией познания как тако[во]ю и выходит за ее пределы. Как уже было указано в другом месте, гносеологическое исследование «приводит нас к выводу, что абсолютное сознание и есть та истина всего, которая предполагается как искомое процессом познавания. Но оно оставляет нас в полной неизвестности относительно жизненного смысла этой истины и, стало быть, относительно религиозной ценности абсолютного сознания. Что такое это мировое око, которое одинаково все видит, насквозь пронизывая и зло и добро, и правду и неправду? Вскрывается ли в нем положительный, добрый смысл вселенной, или же, напротив, это умопостигаемое солнце только раскрывает и освещает ярким светом бездну всеобщей бессмыслицы?»).

Всеединая мысль заключает в себе от века безусловное «что» всякого возможного предмета познания и сознания, – вот то единственное, что может быть выяснено в пределах гносеологии. Вопрос о том, заключает ли она в себе безусловное для чего всего существующего и могущего быть, входит в задачу иного, онтологического исследования – об отношении всеединого сознания или всеединой мысли к тому реальному содержанию, которое она в себе объемлет. Каково это отношение? Выражается ли оно только в том, что безусловная мысль все в себе держит, все в себе объемлет, все видит; или же, сверх того, она сообщает всему этому ею содержимому, определяемому, видимому положительную, безусловную цель? Иначе говоря, заключает ли она в себе, сверх смысла логического, еще и реальный, жизненный смысл или, что то же, – жизненное оправдание содержимой в ней вселенной?

В приведенном выше примере путники на берегу реки задаются вопросом, что такое видимый ими, движущийся издали дымок на горизонте, – облако, не имеющее никакого отношения к их цели и стремлению, или – та движущая сила, которая приведет их к цели их странствования? Тот же вопрос ставится нами – участниками и зрителями мирового процесса по отношению ко всему этому процессу в его целом. Есть ли этот процесс – исчезающее и улетающее как дым мимолетное явление безо всякого отношения к

нашему пути и цели, к какой бы то ни было цели вообще, или же есть всеединая, безусловная цель, к которой он направлен, и которой он достигает?

Вопрос этот неизбежно навязывается нам, потому что вся наша жизнь есть стремление к цели, а, стало быть, – искание смысла. – Но именно оттого это – вопрос мучительный: первое, в чем проявляется присущее человеку искание смысла–цели жизни, есть жестокое страдание об окружающей нас бессмыслице. – Тот смысл, которого мы ищем, в повседневном опыте нам не дан и нам не явлен; весь этот будничный опыт свидетельствует о противоположном, – о бессмыслице. И с этими свидетельствами опыта должно считаться всякое добросовестное решение вопроса о смысле жизни. Мы должны начать с исследования этих отрицательных инстанций, опровергающих нашу веру в смысл. – Спрашивается, – из каких элементов слагается эта гнетущая нас мысль о всеобщей бессмыслице существования, и что мы в ней имеем?

С тех пор, как человек начал размышлять о жизни, – жизнь бессмысленная всегда представлялась ему в виде замкнутого в себе порочного круга. Это – стремление, не достигающее цели, а потому роковым образом возвращающееся к своей исходной точке и без конца повторяющееся. О таком понимании бессмыслицы красноречиво говорят многочисленные образы ада у древних и у христиан. Царь Иксион, вечно вращающийся в огненном колесе, бочка Данаид, муки Тантала, Сизифова работа, – вот классические изображения бессмысленной жизни у греков. Аналогичные образы адских мук можно найти и у христиан. Например, Сведенборг видел в аду Кальвина, осужденного вечно писать книгу о предопределении. Каждый вновь написанный лист проваливается в бездну, вследствие чего Кальвин обречен без конца начинать работу сызнова. В аду все – вечное повторение, не достигающая конца и цели работа: поэтому даже самое разрушение там – призрачно и принимает форму дурной бесконечности, безысходного магического круга. Это – червь не умирающий и огонь не угасающий – две силы, вечно разрушающие и вместе с тем бессильные до конца разрушить. Змей, сам себя кусающий за хвост, – вот яркое символическое изображение этого символического круговращения.

Круговращение это не есть что-то только воображаемое нами. Ад таится уже в той действительности, которую мы видим и наблюдаем; чуткие души в самой нашей повседневной жизни распознают его в его несомненных явлениях. – Не даром интуиция порочного круга, лежащего в основе мирового процесса, есть пафос всякого пессимизма, религиозного и философского. Возьмем ли мы пессимистическое мироощущение древней Индии, учение Гераклита и Платона о вечном круговращении вселенной или Ницше – о вечном возвращении (*der ewige Wiederkehr*), – всюду мы найдем варианты на одну и ту же тему: мировой процесс есть бесконечное круговращение, вечное повторение одного и того же, – стремление, бессильное создать что-либо новое в мире. Гениальное выражение этой мысли дается устами «чорта» в «Братьях Карамазовых» Достоевского.

«Ты думаешь все про теперешнюю землю, – говорит он Ивану Карамазову. – Да ведь теперешняя земля, может, сама биллион раз повторялась; ну, отживала, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала; опять вода, яже бе над твердию; потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля; ведь это развитие, может, уже бесконечно повторялось и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая».

В этом изображении Достоевского уже не ад, а сама вселенная представляется как нескончаемая «Сизифова работа». Но впечатление «скуки» производит это круговращение лишь до тех пор, пока идет речь о мертвом веществе. Скучным может казаться бесконечное чередование прилива и отлива в море, бессмысленная и вечная смена образования и разрушения солнечных систем и, наконец, бессмысленное вращение земли, наподобие волчка, вокруг своей оси. Но, когда мы от мертвого переходим к живому, ощущение этой всеобщей суеты становится несравненно более болезненным, ибо оно связывается с мучительным впечатлением неудачи. Мы имеем здесь уже не простое отсутствие цели, а цель недостижимую, разрушенную иллюзию смысла. В жизни живых

существ все целесообразно, все направлено к цели. И вот, когда мы видим, что и это стремление суетно, что жизненный круг в его целом воспроизводит в осложненном виде все то же бессмысленное вращение волчка вокруг своей оси, – нам становится тошно от жизни. Мы испытываем острую душевную боль при виде этого повторения низшей формы существования в высшей...

Всякому из нас, без сомнения, приходилось наблюдать оголенные леса со съеденною листвою в самый разгар жаркого лета. Это – работа гусеницы–шелкопряда. Весною она вылупливается из яичек, заложенных у корней деревьев, и поднимается вверх – жрать листву. Потом, когда леса оголены, она превращается в куколку, потом вылупливается в белую бабочку. Бабочка эта, порхая над землею, переживает один единственный радостный миг любви, чтобы затем умереть в жестоких страданиях над рождающимися из нее яйцами, которые прикрываются на зиму словно шубой телом бабочки. Потом опять весной из яиц рождаются черви, опять ползают, жрут, окрыляются, любят и умирают. Куколки, бабочки, черви, куколки, бабочки, черви и так далее до бесконечности... Вот в наиболее обнаженном и грубом виде – изображение «жизненного круга», – того самого, в котором в той или в другой форме вращается на земле всякая жизнь. Он весь целиком выражается словами церковной молитвы: «земля еси и в землю отыдеши». Всякий наблюдаемый нами на земле круг жизни с роковой необходимостью замыкается смертью и облекается в форму дурной бесконечности беспрестанно возвращающихся рождений и смертей. – Всякая жизнь стремится подняться над землею и неизбежно вновь на нее ниспадает, смешиваясь с прахом; а крылья, на которых она взлетает, оказываются лишь призрачной и исчезающей поэтической прикрасою.

Заслуживает ли названия жизни это бессмысленное чередование рождений и смертей, эта однообразная смена умирающих поколений? Самая целесообразность устройства живых организмов, сообщающая ему видимость разумности, на самом деле только подчеркивает суетность их существования в его целом, потому что вся эта целесообразность рассчитана на ту единую и единственную цель, которая никогда не достигается, – цель сохранения жизни.

Умирает каждый живой индивид, а жизнь рода слагается из бесконечной серии смертей. Это – не жизнь, а пустая видимость жизни. К тому же и эта видимость поддерживается в непрерывной «борьбе за существование». Для сохранения каждой отдельной жизни нужна гибель других жизней. Чтобы жила гусеница, нужно, чтобы истреблялись леса. Порочный круг каждой жизни поддерживается за счет соседних, столь же замкнутых кругов, а дурная бесконечность жизни вообще заключается в том, что все пожирают друг друга и никогда до конца не насыщаются. Единое солнце светит всем живым существам; все им согреваются, все так или иначе воспроизводят в своей жизни солярный круг с его периодическими сменами всеобщего весеннего оживления и всеобщего зимнего умирания. Но, согреваясь вешними лучами, все оживают для взаимного истребления, все спорят из-за лучшего места под солнцем, все хотят жить, а потому все поддерживают дурную бесконечность смерти и убийства.

Чем выше мы поднимаемся в лестнице существ, тем мучительнее и соблазнительнее это созерцание всеобщей суеты. Когда мы доходим до высшей ступени творения – человека, наша скорбь о бесконечной муке живой твари, покорившейся суете, осложняется чувством острого оскорбления и граничит с беспросветным отчаянием, потому что мы присутствуем при развенчании лучшего, что есть в мире. Утомленный зрелищем бессмысленного прозябания мира растительного и суетного стремления жизни животной, глаз наш ищет отдыха в созерцании высшей ступени, душа хочет радоваться о человеке. Но вот, и этот подъем оказывается мнимым. Высшее в мире проваливается в бездну, человек повторяет в своей жизни низшее из низкого, что есть на свете, – бессмысленное вращение мертвого вещества, прозябание растения и все отталкивающее, что есть в мире животном. Вот, он пресмыкается, ползает, жрет, превосходит

разрушительной злобой самого кровожадного из хищников, являет собой воплощенное отрицание всего святого и в заключение умирает.

Тут уже мы видим нечто большее, чем простое отсутствие жизненного смысла или неудачу в его достижении. – Нас ужасает отвратительное издевательство над смыслом, возмутительная на него пародия в жизни человека и человечества.

Прежде всего в жизни человечества мы найдем сколько угодно воспроизведений бессмыслицы всеобщего круговращения. В «Записках из мертвого дома» Достоевского однообразная, бессмысленно повторяющаяся работа изображается как жестокое издевательство над человеческим достоинством. По Достоевскому, для человека одно из самых жестоких наказаний – повторять без конца один и тот же бессмысленный ряд действий, например, переносить взад и вперед кучу песка. Ужас жизни – в том, что она вообще поразительно напоминает это ненужное и оскорбительное для человеческого достоинства занятие. Возьмите жизнь рабочего на фабрике, которая вся проходит в бесчисленных повторениях одного и того же движения при ткацком или ином станке, жизнь почтового чиновника, которая посвящается бесчисленным воспроизведениям одного и того же росчерка пера под квитанциями заказных писем, или же, наконец, жизнь «мальчика при лифте» в большой гостинице, который с утра до вечера и с вечера до утра возит жильцов сверху вниз и снизу вверх, и вы увидите, что существование этих людей, жизнь всех людей вообще оскорбительно похожа на нескончаемое вращение белки в колесе. Ибо всякая жизнь так или иначе воспроизводит в себе движение какого-либо без конца повторяющегося круга, которому она подчинена. Жизнь земледельца, который сеет, жнет, жнет и опять сеет без конца, подчинена кругу солярному, жизнь рабочего – кругу фабричного колеса, жизнь чиновника – круговращению огромного административного механизма. И в этом круговращении сам человек становится колесом неизвестно для чего вертящейся машины. Отличие его от белки – в том, что он обладает умом, способным сознавать свое унижение, и сердцем, которое о нем страдает и мучится.

Присмотритесь внимательнее к проносящейся мимо вас жизни; посмотрите, как радуется этот пишущий квитанции чиновник, когда вы назовете его по имени и отчеству, или этот мальчик при лифте, когда вы заговорите с ним о его деревне или семье; обратите внимание на ту жадность, с какою он, в антракты между подъемами и спусками лифта, читает свою маленькую печатную книжку, всякую печатную строку, которую он может достать, – и вы поймете всю глубину человеческой тоски о тщете человеческого существования. Этот мальчик, как и тот чиновник, хочет быть человеком с индивидуальным именем, существом единственным в своем роде; а жизнь сделала того и другого безличным номером, – одного пишущей машиной, а другого – мальчиком при машине. Все существо его восстает против этого рабства, от которого он ищет спасения в ином, книжном и, быть может, тоже фальшивом, призрачном мире.

Мне скажут, что все эти скучные и обезличивающие человека занятия, из которых слагается житейская суэта, не составляют его подлинной, настоящей жизни. Все это – не самая жизнь, а добывание средств к жизни. Прекрасно, но, во-первых, большинство людей настолько поглощено этой заботой о средствах, что им некогда даже подумать о целях. А во-вторых, в чем же заключается та цель, ради которой человек оказывается вынужденным покориться суете? Одному нужно есть и пить, а другому, кроме того, – и пропитать потомство. Надо поддерживать эту призрачную жизнь, которая беспрестанно умирает, надо бороться против смерти, безо всякой надежды этим достигнуть окончательной победы в борьбе, ибо смерть рано или поздно возьмет свое. Биологический круг, биологический закон траты и обновления, – вот что приводит в движение весь механизм человеческой жизни, вот ради чего вращаются эти бесчисленные колеса, а в них – сам развенчанный царь-человек со своими помыслами, желаниями, надеждами.

Нас возмущает это рабство духа, это подчинение воли, мысли и чувства роковой необходимости биологического закона. И когда оно делает нам жизнь невыносимой, нам хочется от нее отвлечься и развлечься; нам нужно забыть о собственном посрамлении.

Для этого к нашим услугам все чары искусства – поэзии, живописи, музыки – и вся мудрость философии. Находит ли в них человеческий дух освобождающее слово, могущее его спасти от удручающего его тяжкого плена?

Увы, в великом деле духовного освобождения эта красота и мудрость оказываются в большинстве случаев орудием столь же немощным, как «книжка» в руках «мальчика при лифте». Искусство, воспевающее суетную жизнь, или не обладающее достаточной силою, чтобы пересоздать ее, поднять над нею человека, слишком часто служит таким же обманом, как крылья, на миг превращающие отвратительного червя в красивую бабочку. Также и в той наиболее распространенной во все века философии, которая дает апофеоз суеты и изрекает ей свое аминь, мы найдем не подлинный подъем духовный, а новые и новые памятники рабства человеческого духа.

Мы можем каждый день наблюдать это духовное падение в ярком, хотя и несколько карикатурном изображении.

Почему мы так часто испытываем чувство глубокого возмущения и острой душевной боли при виде оркестра, играющего в ресторане? Почему музыкальные мотивы, насквозь пропахшие запахом жареного, кажутся нам предельным выражением человеческой пошлости; а музыканты во фраках, исполнители этих ресторанных мелодий, вызывают к себе едва ли не большее сострадание, чем клоуны в цирке? Оттого, что в этом превращении музыки в аккомпанемент к пищеварению рабство человеческого духа предстает перед нами в наиболее обнаженном виде! Еда и питье – единственно существенное в мире, а «звуки небес» – не более как приправа, пикантный соус к кушанью, вот о чем говорит это зрелище. Если биологический закон есть все в жизни, если в ней нет ничего сверхбиологического, то такова же роль всякой музыки, как и всякого вообще искусства. Тогда в ресторане – ее подлинное назначение и место. Но тогда и роль философии сводится к задаче скромного аккомпанемента к человеческому аппетиту и становится чрезвычайно похожей на роль румынского оркестра во время завтрака.

К тому же этот жизненный пир человека есть торжество победителя в борьбе за существование. Из-за него льются потоки крови, ибо в замкнутом биологическом круге существования всякая жизнь поддерживается за счет других жизней, всякое торжество одного возвещает смерть другого и связывается с лозунгом – «горе побежденным». Не только жизнь низшей твари, бесчисленные человеческие жизни гибнут жертвой беспощадного закона «войны всех против всех», царящего в мире. В жизни народов, как и в жизни хищных зверей, все приспособлено к спору из-за лакомого куска; здесь царит та же телеология борьбы за существование, как и в низшей природе! И в этом подчинении коллективной жизни человека низшему закону животной жизни, в этом возведении биологизма в принцип и норму отношений народов заключается одно из наиболее ярких проявлений рабства человеческого духа.

Тут мы имеем одну из самых мучительных коллизий между присущей человеку жаждой смысла жизни и превозмогающей силой царящей в мире бессмыслицы, Вера в смысл жизни неразрывно связана с верой в человека как носителя этого смысла, в безусловное, царственное достоинство человека. И вот мы видим, что коллективная, государственная жизнь человека складывается так, что в ней для этого безусловного достоинства не остается места. С одной стороны, – властный призыв любви ко всякому человеку, как таковому, а с другой стороны, – все народы вооружены с головы до ног для взаимного истребления. С одной стороны, – попытка человека прорвать порочный круг всеобщей борьбы за существование, взлететь над землей в светлом подъеме любви, а с другой стороны, – новая иллюстрация бессилия этой попытки, – государство с его периодически повторяющимся и периодически торжествующим лозунгом – все для войны.

В государстве протекает вся человеческая жизнь и от государства человеку уйти некуда. Вследствие необходимости защищать свое существование с оружием в руках, оно

требует от человека полного напряжения всех его сил; оно стремится подчинить себе без остатка всего человека со всеми его стремлениями и помыслами я, порабощая его, еще более закрепляет подчинение его духа началу биологическому. Борьба народов происходит из-за материальных благ, из-за новых территорий, рынков и иных материальных выгод. Отсюда – неизбежно присущая государству тенденция утверждать эти блага как высшее в мире, подчинять духовное экономическому. Когда подвиг сверхчеловеческого героизма, духовный подъем любви к родине и, наконец, высшая жертва любви, – жертва собственной жизнью – миллионами человеческих жизней – требуется для того, чтобы одно государство наживалось на счет другого, – несоответствие между тем, что государство дает человеку, и тем, чего оно от него требует, бросается в глаза; ибо здесь ради материальной ценности приносится в жертву то, что бесконечно дороже всяких товаров, рынков и территорий. Но высшее из всех возможных зол государственной жизни заключается вовсе не в этом несоответствии, а в присущей государству тенденции – извращать самый духовный облик человека.

Для государственных целей может быть полезен человек – палач или шпион, человек, готовый за деньги на всевозможные мерзости. Государство иногда нуждается в услугах коковок или проституток, могущих узнать чужие дипломатические тайны. Ему вообще во многих случаях бывает нужна подкупная человеческая совесть. Для него может быть полезно, чтобы все его подданные стали совершенными орудиями войны, жестокими и безжалостными к людям другой расы, воспитанными на резвость и злобу и готовыми отречься от всякой нравственной заповеди в тех случаях, когда этого требует государственная необходимость. Государство хочет быть для человека безусловной ценностью; оно вообще не склонно признавать никаких высших над собою ценностей, в том числе и ценности человеческой души или безусловного достоинства человека.

Представим себе, что этот несомненно существующий уклон к государственному абсолютизму когда-либо восторгается, что государство, выражаясь языком Гоббеса, действительно станет «смертным богом» для человека. Тогда мир явит собою ужасающую картину торжествующей бессмыслицы! Порочный круг, в котором бессильно мечется человеческая жизнь, тогда будет близок к завершению; ибо его завершение – окончательная утрата человека.

Представим себе, что человек со своей «культурой» целиком и без остатка стал колесом огромного механизма, рассчитанного на войну как на высшую и окончательную цель: это будет значить, что человека больше нет в мире, что самая память о нем исчезла, ибо затерялось единственно ценное его отличие от низшей твари. Это отличие и эта ценность – то откровение смысла жизни, коего мир вправе ждать от одухотворенного человеческого сознания и от просветленной человеческой воли. И вот, оказывается, что этого откровения нет и не будет! Пришел человек, и мир остался таким же, каким он был в дочеловеческую эпоху, – хаосом сил, борющихся за жизнь, и в этой борьбе сеющих смерть! Вместо того, чтобы преодолеть дурную бесконечность всеобщей кровавой борьбы за существование, он изрек ей свое «аминь» и усовершенствовал ее механизм, И на это ушли все его духовные силы. Война оказалась окончательной целью всего человеческого прогресса, высшим содержанием человеческой культуры.

Мы имеем здесь не отдаленную опасность, грозящую миру в будущем. В наши дни обнажения мировой бессмыслицы «культура» оказалась не то обманчивой прикрасой, не то орудием злой, хищной жизни. Мы, в конце концов, не знаем, служит ли она очеловечению или озверению; а потому вопрос – быть или не быть человеку, ставится перед нами ребром. Ведь самая мысль о человеке связана с представлением о новом, сверхбиологическом начале, которое он несет в мир, – с мечтою о преодолении закона кровавой борьбы за существование, хотя бы в отношениях между людьми.

И вот оказывается, что эта мечта о мире даже в пределах человечества – не более как пережитая иллюзия. Мира на свете вообще не существует. То, что мы называем миром, на самом деле – лишь перемирие, хуже того, – скрытая война, – такое состояние, в котором

все подчинено войне как последней и окончательной цели. Кончились те времена, когда промышленность считалась «орудием мирного преуспевания». Теперь мы видим ее в двоякой роли – орудия и стимула войны. Оказывается, что индустриализм воинствен: именно для него требуются новые порты, территории и новые пути сообщения, а, стало быть, – новые завоевания. С другой стороны, каждый успех промышленности создает для этих завоеваний новые орудия, а, стало быть, родит и новые соблазны. Как не использовать свое «техническое превосходство» над государством с менее развитою промышленностью!

С одной стороны – война для промышленности, а с другой стороны – промышленность для войны, – таков тот порочный круг, в котором вращается жизнь народов и государств. Это – не более и не менее, как воспроизведение, в усложненном виде, биологического порочного круга. Все живые существа живут в таком состоянии непрерывной войны, борются, чтобы жить, и живут, чтобы бороться. Во всем, что живет, есть это непрестанное превращение цели в средство и средства в цель. Во всем мире эта картина вечно ускользающей цели наводит на мысль о призрачности всяких целей и, стало быть, о бесцельности жизни как целого. Но, когда мы обращаемся к человеку, когда мы видим, что и в его жизни есть только дурная бесконечность средств, заменяющих цели, картина становится не только безотрадной, но и жуткой. Ибо что же такое мир, если таков человек, если и его стремление подняться над порочным кругом биологического существования бессильно! Если так, то и весь процесс развития, вся линия эволюции от зверя к человеку – подъем мнимый. В мире нет никакого восходящего движения, есть только вечно повторяющийся круг, и человеческое – лишь обманчивая личина звериного!

Раз война становится общим содержанием всей жизни, ничто в жизни не остается нейтральным. Жизнь духа подчиняется ей так же, как и жизнь тела. Творчество мысли, усилия и напряжение воли, все подвиги и доблести в мире, – все это – орудия войны, все это нужно лишь для того, чтобы народы могли терзать друг друга, все это, стало быть, – новые усовершенствования того же изначального, к смерти приводящего биологического процесса.

Тут уже облик звериный переходит в иную плоскость бытия, утверждает себя как сущность всего духовного. Происходит не одухотворение животной жизни, а как раз наоборот, озверение духа; и в этом новом своем духовном превращении звериный лик становится страшен. От него веет нездешними глубинами. Недаром во всех религиях ад населяется двойственными ликами: получеловеческими, полужвериными. Эти человекообразные и вместе зверообразные фигуры с рогами и клыками, с козлиными мордами, с птичьими когтями и клювами, во все века говорят об одном и том же: не подняться человеку над зверем! – Самая область духа носит начертание звериное. А стало быть, зверь и есть подлинная сущность человека, от которой ему уйти некуда. Весь мир есть темное царство, где кружатся в вихре двойственные фигуры, пародии и каррикутуры, издевающиеся над человеком и изобличающие его во лжи. Если люди – черти, терзающие друг друга в аду, то человек и в самом деле – пустое притязание и пустое имя.

Биологизм, доведенный до последней, предельной своей черты, незаметно и естественно переходит в сатанизм. Когда царящее в мире зло одухотворяется, когда закон борьбы за существование утверждается не только как факт, но как норма, которой все человеческое должно подчиняться, наша человеческая действительность становится чрезвычайно похожею на ад. Посмотрите на эти вооруженные с ног до головы государства, ошестившиеся друг против друга и периодически заливающие мир кровью! Разве они не представляют собою жуткое напоминание о допотопных, давно исчезнувших чудовищах! И разве эти демонические фигуры борющихся между собою великих Левиафанов не говорят нам в сущности о том же, что фигуры чертей в аду? Нет в мире человека, есть усовершенствованные ихтиозавры и орангутанги, с их вечно повторяющейся, отвратительной свистопляской!

Простое возвращение в животный мир для человека невозможно. Как бы он ни уподоблялся скоту, человек все-таки сохраняет от него одно существенное отличие – свою свободу. И если он облекается в образ звериный, этот образ не есть для него что-либо естественное, необходимое! Тут есть воспроизведение зверя в человеческой свободе, зверопоклонство, утверждение звериного начала как чего-то нормального и должного. Для человека это впадение в низшую область жизни противоестественно, и оттого-то оно так страшно.

Не одни только ужасы войны, всякое проявление рабства человеческого духа, всякое подчинение его низшей, подчеловеческой стихии приводит к обнажению зверя в человеке. Иногда мы имеем здесь простое угасание духа; тогда человек становится разжиревшим скотом; об этом превращении свидетельствуют потухшие свинообразные лица. Но бывает и другое. – Когда сквозь человеческие черты явно проглядывает волчья морда, когда человек смотрит на нас острыми, злыми глазами хищной птицы, когда воочию видим искаженный нечеловеческим сладострастием лик сатира с масляными щеками и сладкими смеющимися глазками, заставляющими подозревать о существовании хвоста, душа впадает в трепет, ибо она как бы осязательно воспринимает переход дурной бесконечности биологического круга в огненный круг черной магии. Такое впечатление производят все, противоестественные пороки, – напр., та нечеловеческая жестокость, которая выражается в бесцельном причинении мучений, в умышленном попирании человеческого, как такового. Есть и другие пороки, наводящие мистический ужас: это – те, которые возводятся в религиозное служение или пародируют в той или иной форме высший духовный подъем. Когда мы слышим о хлыстовских радениях или узнаем о противоестественных мерзостях носителей духовного сана, – видение чертей в аду становится для нас настоящей реальностью, ибо здесь мировая бессмыслица предстает перед нами уже не как простое отсутствие и даже не как отрицание смысла, а как явная и оскорбительная на него хула. Когда дух человеческий погружается в эту бездну, – порочный круг самоутверждающейся бессмыслицы тем самым завершается; тогда бесконечное вращение огненного колеса Иксиона перестает быть видением и становится реальностью.

II. Жизненная суэта и требование смысла

Когда мы раскрываем до конца эту интуицию мировой бессмыслицы, нас поражает в ней странная, парадоксальная черта. – Она свидетельствует о чем-то, что пребывает вне ее, по ту сторону бессмыслицы; о чем-то, что в нее не вовлекается и ею не уносится. Мир бессмыслен; но я это сознаю, и постольку мое сознание свободно от этой бессмыслицы. Вся суэта этого бесконечного круговращения проносится передо мною; но, поскольку я сознаю эту суету, я в ней не участвую, мое сознание противопоставляется ей как что-то другое, от нее отличное. Сознательный суету, как сознающий, стоит вне порочного круга. Если бы моя мысль вся целиком уносилась этим гераклитовым током, она вся без остатка сгорала бы в движении Иксионова колеса; она не могла бы отделиться от него, отличить его от себя и, стало быть, сознать его. Чтобы осознать суету, наша мысль должна обладать какой-то точкой опоры вне ее.

Уже не в первый раз, в течение настоящего исследования, находим мы эту мысленную точку опоры над хаосом. Мы уже видели, что интуиция вечного смысла над бессмыслицей – всеединого истинного и безусловного сознания над моим ограниченным, изменчивым, движущимся и заблуждающимся сознанием – обуславливает самую возможность познания.

Передо мною проходят бесконечные ряды представлений, чувств и ощущений, по-видимому, не связанных между собою какой-либо единой нитью и нередко противоречивых. Эти представления сталкиваются между собою и вытесняют друг друга

из моего ограниченного поля зрения. В силу этой ограниченности моего сознания, я могу сознавать только переходя во времени от одних рядов представлений к другим. Но я знаю, что где-то, над этими движущимися и сталкивающимися рядами, есть недвижная истина всего, в которой от века дан и от века осуществлен абсолютный синтез всех возможных содержаний сознания; там все эти проходящие ряды, которые кажутся мне хаотичными и раздробленными, связаны во всеединое мировое целое всеобщей, безусловной и необходимой связью. Над гераклитовым током изменчивых представлений есть всеединое и безусловное сознание. В этом заключается необходимое предположение и необходимая точка опоры всего познавательного процесса. – Только через подъем к этому безусловному всеединому сознанию, в котором содержится смысл–истина всего что есть, я спасаюсь от моей лжи, от моих заблуждений, от хаотической бессмыслицы моих представлений.

Мы чувствуем тот же подъем и ощущаем ту же точку опоры над бессмыслицей, когда последняя является перед нами не в теоретической форме заблуждения, а в практической форме житейской суеты. Тут это – точка опоры – не мысленная только. Я отталкиваюсь от суеты не одною мыслью, но и волею, чувством, всем моим существом. Наглядное тому доказательство – самый факт моего страдания, моей скуки, моего отвращения и, наконец, моего ужаса. Существо, всецело погруженное в этот порочный круг, не могло бы ни страдать, ни сокрушаться о нем.

Суета мучительна для нас именно по сравнению со смыслом, которого мы жаждем, – иначе бы мы ее не распознавали. Бесцельность и вечные повторения жизни вызывают в нас тоску именно потому, что вся наша жизнь есть стремление к цели, к смыслу. – Эта наша жажда смысла есть всегда стремление вперед и вверх; и именно поэтому нас оскорбляет это вечное кружение, которое указывает, что в мире нет движения вперед, нет восхождения из ступени в ступень, а есть бесплодное топтание на месте. Душа жаждет подъема, стремится к горнему полету, и вот почему ей так отвратительно это всеобщее движение – в одной плоскости.

Мы не могли бы болеть об этой суете, мы не могли бы проникаться живым состраданием ко всякой страждущей твари, если бы у нас не было точки опоры над суетой, вне круга страждущей жизни. Мы не могли бы возвыситься над разделением и раздором существ, борющихся за жизнь, если бы нам не было присуще чувство глубокой солидарности всего живого, если бы у нас не было глубокой интуиции единства всех существ в их общем стремлении к какой-то цели всякой жизни.

Сознательно или бессознательно я всем моим существом требую эту цель, живу надеждой на какой-то конец всякого жизненного стремления, – конец в смысле жизненной полноты. И созерцаемая мною суета мучительна для меня по сравнению с этим концом, которого я тщетно ишу. Мучителен тут обман, мучительно разочарование. Но разочарование было бы невозможно, если бы в тайниках моей души в подсознательной ее глубине не жило какое-то мне самому неведомое очарование, чаяние цели, конца и смысла. И только сопоставляя действительность с этим смыслом, я могу испытывать страдание и тоску. – Как человеческое ухо не слышит фальши, если он не чувствует гармонии, так и мысль наша не могла бы сознавать бессмыслицу, если бы она не была озарена каким-то смыслом.

Всмотримся внимательнее в образ порочного круга, и мы ясно почувствуем ту гармонию, которая дает нам силу распознавать фальшь. – Круг во всех религиях есть символ бесконечности; но именно в качестве такового он служит и для изображения смысла и для изображения бессмыслицы. Есть круг бесконечной полноты: это и есть то самое, о чем мы вздыхаем, к чему стремится всякая жизнь; но есть и бесконечный круг всеобщей суеты, – жизнь, никогда не достигающая полноты, вечно уничтожающаяся, вечно начинающаяся сызнова. Это и есть тот порочный круг, который нас возмущает и лежит в основе всех наглядных изображений бессмыслицы в религиях и философии. Этот круг бесконечной смерти возмущает нас именно как пародия на круг бесконечной жизни –

цель всякого жизненного стремления. Этот образ вечной пустоты существования возмущает нас по контрасту и интуицией полноты жизни, к которой мы стремимся. – И в этой полноте жизни, торжествующей над всякими задержками, препятствиями, – над самой смертью, – и заключается тот «смысл» жизни, отсутствие коего нас возмущает.

Короче говоря, тот мировой смысл, который носится перед нами как цель нашего стремления, есть всеединство; это – тот мировой строй и лад, в котором всякое жизненное стремление достигает своего окончательного удовлетворения, всякая жизнь достигает полноты. Полнота жизни, окончательно восторжествовавшей над смертью, и единство всего живого в этой полноте в интуиции мирового смысла – одно и то же. Оно и понятно: полнота жизни осуществима лишь при условии окончательного прекращения борьбы за жизнь, разделяющей живую тварь.

Та же связь между интуицией смысла и восприятием бессмыслицы объясняет нам еще одну замечательную черту этого восприятия. Почему наше страдание о человеке – самое глубокое из всех? Именно потому, что вера в смысл всего живого связывается для нас по преимуществу с мыслью о перворожденном всей твари, – о высшей ступени мировой эволюции.

Что такое эта пародия на смысл, которая нас возмущает в человеческой жизни? Присмотритесь к ней внимательнее, и вы увидите, что она – ничто, если нет того смысла, который пародируется, высмеивается, вышучивается жизнью. – Все живые существа переживают бессмыслицу, все о ней страдают, томятся ею. Но одно единственное существо из всей твари – человек, поднимается над нею мыслью, со–знает и осуждает ее как недолжное. Он один, стало быть, среди окружающей его суетной жизни является вестником чего-то иного, должного. Подъем человеческого сознания над суетою окрыляет надежду. Вот почему, когда этот подъем оказывается бессильным, – не жизненным, а только мысленным, – скорбь о суете мира возрастает до бесконечности. Где полнота жизни, где – ее единство, гармония и лад, вот вопрос, который сам собою возникает при виде неудачи и паденья человека, вот в чем заключается основная тема бесовского над ним издевательства. Стало быть, и это издевательство предполагает определенную интуицию мирового смысла; если нет этого смысла ни в жизни, ни над жизнью, то обращаются в ничто эти гогочущие черты в человеческом образе. Тогда нет ничего безобразного, дикого, постыдного. И самая насмешка над человеческим достоинством становится беспредметной, потому что этого достоинства нет вовсе.

Все это страдание о развенчанном царе–человеке было бы совершенно невозможно, если бы для нашего чувства он не был именно царем по призванию, носителем и выразителем мирового смысла по преимуществу. От человека, завершающего доступную нашему наблюдению лестницу существ, мы ждем дальнейшего откровения этого смысла, дальнейшего подъема в другой план бытия. Мы чувствуем эту его принадлежность к другому плану: иначе, как могло бы его сознание возвышаться над здешним планом существования! Но в человеке все борется, все двоится. И та духовная мука, которую мы испытываем, есть именно выражение этого рокового раздвоения, – этого спора смысла и бессмыслицы в человеке и о человеке. С одной стороны – духовное рабство, провал всемирной культуры, бездна падения человека и человечества, а с другой стороны – властный призыв к иной, лучшей жизни, стыд за себя и за других и тот беспощадный суд совести, который свидетельствует, что есть в человеке что-то, что возвышается над его падением, – есть неистребимое влечение к смыслу вопреки преобладающей силе бессмыслицы.

Со–весть о должном, восстающая против суеты и возмущающаяся унижением человеческого достоинства, вот новое, яркое проявление того присущего нам со–знания жизненного смысла, которое не уносится вотоком бессмысленной жизни. Это – сознание о какой-то безусловной правде, которая должна осуществляться в жизни вопреки царствующей в ней неправде. Посмотрим, что мы имеем в этом свидетельстве совести.

Оставим пока в стороне вопрос о его содержании и сосредоточим внимание на тех формальных признаках совестного суда, которые были указаны Кантом. По содержанию нравственно сознание человечества меняется; стало быть, нравственные вопросы в различные эпохи могут и решаться неодинаково. Но, каковы бы ни были эти решения по содержанию, совесть всегда есть свидетельство о чем-то безусловно должном. Понимание нравственной правды может меняться, но при этом остается неизменным один элемент нравственного сознания, это – наша уверенность, что есть что-то безусловно должное над нашими меняющимися мыслями о должном, есть какая-то норма, выражающая безотносительную и неизменную правду о должном. И этой норме должны следовать все, всегда, во всех предусматриваемых ею случаях. Это и есть основное предположение всякого нравственного сознания, – то, о чем свидетельствует совесть. Можно заподозрить это свидетельство, можно его отвергнуть, можно признать его за иллюзию, но нельзя усомниться в одном: совесть как та [ов]ая есть утверждение безусловной и всеобщей правды над нами, притом правды жизненной, ибо вся наша жизнь должна ей следовать.

Что же такое эта нравственная правда, о которой свидетельствует совесть? Очевидно, что это – не какое-либо независимое от нас «бытие», ибо бытие может во всем противоречить правде: правда остается правдой, хотя бы она всячески нарушалась в действительности. С другой стороны, это – и не наше человеческое убеждение, так как наши убеждения также могут расходиться с правдой: правда остается правдой, хотя бы она никем не сознавалась. Значит, эта правда – не мысль какого-либо психологического субъекта, а безусловная мысль о должном, которой приписывается действенность и значимость, независимо от чьего-либо психологического сознания. Тут мы имеем не субъективное, а безусловное сознание. – Безусловная мысль о правде предполагается всяким нашим нравственным суждением как что-то такое, что есть, хотя бы она нами, людьми, не сознавалась. – Таким образом, рассмотрение формальных признаков совести приводит нас к тому же результату, к которому приводит и анализ всякого сознания. Над нашей мыслью есть безусловная мысль, которая выражает собою искомый первою с-мысл: и как есть безусловная истина о сущем, так же есть и безусловная правда о должном, безусловная правда о цели, к которой должна направляться наша жизнь, – всякая жизнь. Эта цель–правда и есть тот с-мысл жизни, т. е. та безусловная о ней мысль, которая должна в ней осуществляться.

Голос совести представляет собой не более и не менее как отклик сознания на запрос, истекающий из самой глубины жизненного стремления.

Вся жизнь наша есть стремление к цели. От начала и до конца она представляется в виде иерархии целей, из которых одни подчинены другим в качестве средств. Есть цели, желательные не сами по себе, а ради чего-нибудь другого: например, нужно работать, чтобы есть и пить. Но есть и такая цель, которая желательна сама по себе. У каждого из нас есть что-то бесконечно дорогое, ради чего он живет. Всякий сознательно или бессознательно предполагает такую цель или ценность, ради которой безусловно стоит жить. Эта цель или, что то же, жизненный смысл есть предположение неустранимое, необходимо связанное с жизнью, как таковой; и вот почему никакие неудачи не могут остановить человечество в поисках этого смысла. Полное разочарование выразилось бы даже не в самоубийстве, а в смерти, в полной остановке жизни: ибо самоубийство есть все-таки акт волевой энергии, направленный к цели и, стало быть, предполагающий цель. Акт этот свидетельствует не о прекращении стремления к смыслу, а, наоборот, о силе этого стремления и об отчаянии, проистекающем из неудачи в его достижении.

Надеждой на смысл сознательно или бессознательно приводится в движение все человеческое – и воля, и чувство, и мысль. А потому всякий неуспех на этом пути является лишь новым толчком к самопознанию и вместе с тем – к сознанию того смысла, которого мы ищем и которым мы, сами того не ведая, живем. Волей–неволей, вся жизнь строится в расчете на какую-то безусловную цель; а свидетельство совести говорит нам о

том, что эта цель, ради которой стоит жить, есть некоторая объективная правда, безусловная и всеобщая, которая бесконечно возвышается над всяким субъективным желанием и мнением.

В чем же заключается эта цель, ради которой стоит жить, и эта объективная правда жизни, которая должна в ней осуществляться? – В чем заключается искомое нами содержание смысла жизни? В этом вопросе выражается основной мотив религиозного искания всех веков. – Различные религиозные и философские учения дают на него различные ответы; но есть и общее, что сближает между собою искателей правды всех веков. Это – самый предмет их исканий. Чтобы разобраться в особенностях отдельных решений, необходимо прежде всего внимательно всмотреться в это общее, что сближает всех.

Уже давно замечено, что искание истины было бы невозможно без некоторого предварительного о ней знания, ибо отыскать что-либо можно только по тем или другим признакам искомого, которые должны быть заранее известны искателю. Это верно и относительно искомого нами смысла жизни. В предыдущем изложении мы уже выяснили те заранее известные его признаки, которые предполагаются всяким его исканием. Это – признаки полноты и всеединства.

Полнота жизни, как единая цель для всего живущего, – таков предмет искания всякого жизненного стремления; единая истина для всех, – таково предположение всякого сознания вообще и, наконец, единая правда для всех, – таково предположение нравственного сознания. Тоска по всеединству, вот что лежит в основе всего нашего страдания о суете и бессмыслице жизни; и поскольку мы возвышаемся сознанием над этой суетой, этот мысленный подъем уже представляет собою некоторый предварительный выход из того порочного круга, в котором мы томимся.

III. Спор о жизненном пути

Есть яркое олицетворение той внутренней борьбы, которая происходит в человеке, – борьба между смыслом и бессмыслицей. Это – сон, один из самых радостных человеческих снов, и вместе – один из самых распространенных – сон, необыкновенно часто повторяющийся. Его, кажется, все, или почти все, видели и притом – по многу раз. Вам кажется во сне, что вы летаете. Кругом люди бегают, ходят, борются с земною тяжестью. Но для видящего этот сон всякая тяжесть отпала, всякая высота доступна; все существо его пре [ис]полнено радостным чувством какой-то необычайной легкости подъема. Самая замечательная черта этих снов, это – то чувство неотразимой реальности, которым они сопровождаются. Вы спите и в то же время сомневаетесь, – не сон ли это. Но видение не проходит, а продолжается. Вы испытаете вашу силу в самых невероятных подъемах и взлетах; вы ощущаете ее в неподвижном парении на головокружительной высоте и в этих испытаниях находите неопровержимые доказательства реальности вашего полета.

Но вдруг пробуждение разрушает эту радость; оно ставит вас лицом к лицу с иною, тоже неотразимой реальностью, с реальностью непреодолимой тяжести в ваших членах и плоскости, к которой вы прикованы. Вы не в силах не только взлететь, но даже и подняться с постели, да и не хочется подниматься! – Когда вы встанете, вас ждет все тот же отвратительный, будничныи кошмар, от которого вы жаждете избавления.

Этот сон скрывает в себе глубочайшую жизненную проблему. – Вот перед нами две действительности – действительность сна и действительность пробуждения. Обе требуют от нас признания своей реальности, навязываются нам с силой непосредственной очевидности. Тяжесть моих членов после пробуждения говорит мне, что подлинная реальность есть именно эта кошмарная действительность с ее суетою и бессмысленным кружением. А сон говорит мне другое, прямо противоположное. Реален только тот крылатый гений, которого ты в себе ощущаешь, реален этот могучий подъем и полет,

действительно только это парение над бессмыслицею. Не это видение есть сон, а тот кошмар всеобщей бессмыслицы и тяжести, который предстанет пред тобой чрез полчаса в твоём мнимом пробуждении.

Как же нам решить этот спор? Чем более мы вникаем в подставленный вопрос, тем больше мы убеждаемся, что нет решительно никаких философских оснований – предпочесть свидетельство так называемой действительности свидетельству вещего сна. Ссылаться на непосредственную очевидность и доказывать ею обманчивость «сна» мы не имеем никакого права, ибо вопрос идет именно о том, что – действительность, и что – сон; а непосредственная очевидность, свидетельствующая о достоверности и реальности, в обоих случаях совершенно одинакова.

Сопоставление так называемой «действительности» и сна по внутреннему содержанию опять-таки не дает нам никакого решения, потому что в так называемой «действительности» с ее хаосом, внутренним раздором и вечно исчезающими иллюзиями – несравненно больше бредового и кошмарного, чем в том прозрачном, кристально ясном и радостном сне.

К тому же и наяву свидетельство нашего сна находит себе многочисленные подтверждения. Ведь этот сон только облакает в фантастическую форму то самое ощущение нашей духовной свободы, которое радует нас и в минуты нашего полного духовного пробуждения. Самое страдание человека о бессмыслице доказывает невозможность для него целиком в ней погрязнуть. Есть в нем сила, которая ей не покоряется, от нее отталкивается и от нее отлетает. Когда совершается этот полет, мы чувствуем в себе крылья; мы познаем их прежде всего в могущественном подъеме нашего ясного сознания, в головокружительной высоте парения нашей мысли. Где-то под нами проносится бурный поток бессмысленной жизни, где-то внизу вращаются бесчисленные колеса житейского круга, а в это время мысль уносится в сверхвременное царство истины и смысла, чтобы оттуда с высоты, в форме вечности созерцать временное. Достигнув предельной высоты подъема над суетой, мысль наша не только чувствует свою от нее свободу, но и как бы некоторую власть над этой текучей, изменчивой действительностью. – Я могу в любой момент остановить мыслью этот временный процесс, воскресить отдаленное прошедшее со всеми живыми, яркими его подробностями. Где Цезарь, Наполеон, Платон или Кант? Для суеты они канули в небытие, унесены в бесконечную, ушедшую даль. Но, подымаясь на сверхвременную высоту мысли, мы их видим, для мысли они есть. Вопреки повседневному опыту, где все кончается ежесекундно, мысль дерзает сказать – есть бесконечное прошедшее: в этом – ее право, в этом же и ее сила. Также и будущее: в той жизни, что под нами, его нет, оно еще не наступило. Но для мысли оно есть всегда, неизменно; в любую минуту я могу его предвосхитить и представить. Теперь лето, но я знаю, что в январе будет зима; теперь день, но я уже вижу умом ту ясную звездную ночь, которая его сменит. Теперь тишина; но закроем глаза, вслушаемся в наш внутренний звуковой мир! Разве мы не чувствуем, что мы в любой момент можем прослушать этим внутренним слухом любую симфонию – и ту, которая прозвучала вчера, и ту, которая прозвучит завтра. Чего-чего не может сделать мысль, которая в любой точке останавливает летящую стрелу и, вопреки очевидности повседневного опыта, имеет полное право сказать: «стрела покоится»! Мыслить движение именно и значит – найти покой в движении: мир мысли есть всегда покой.

И не одна мысль, восходя к смыслу, испытывает эту радость покоя: с нею вместе взлетает ввысь и воля. Там, внизу, в мире, погрязшем в неправде, царствует всеобщий раздор, льются потоки крови. Но воля моя всю свою силою утверждает открывшуюся в мысли сверхвременную правду, единство всеобщей цели и смысла над всеобщей борьбой. – Полет мысли тут проявляется как со-весть о безусловном. И, созерцая все эти откровения нашей духовной свободы, испытывая нашу духовную силу во всевозможных подъемах и взлетах, мы и в самом деле убеждаемся в правдивости вещего сна. – В

человеке есть тот крылатый гений, о котором сон свидетельствует. Есть и какая-то внемирная высота над человеком, куда уносят эти крылья.

Во сне и наяву мы воспринимаем две не только различные, но и две противоположные, несовместимые, спорящие между собою реальности. Которая из них истинная; где подлинное бытие? Чему верить – повседневным, очевидным доказательствам силы духа или тем, тоже очевидным доказательствам его бессилия? И, наконец, если в человеке спорят два плана бытия, то которому из двух он должен принадлежать? В котором из двух – цель и смысл его жизни?

Вокруг этих вопросов идет вековечный спор двух противоположных жизнепониманий – жизнепонимания натуралистического, которое ищет подлинной жизни и ее смысла в плоскости здешнего, и жизнепонимания супранатуралистического, которое утверждает, что истинная жизнь и ее смысл сосредоточивается в ином, верхнем, потустороннем плане бытия. Рассмотрение этих двух решений жизненной проблемы приводит нас к заключению об одинаковой односторонности, а потому и одинаковой несостоятельности обоих.

Для натурализма – религиозного и философского – подлинная жизнь, средоточие всего ценного, что есть в мире, есть именно эта жизнь, которая протекает в поюстороннем плане бытия; подлинный мир – именно тот, который здесь перед нами кружится в одной плоскости, периодически нарождаясь и умирая. Ярким образцом такого жизнепонимания служит древнегреческая религиозность с ее культом творящей силы природы и с ее прекрасными солнечными богами–олимпийцами. Все эти боги грома и молнии, волн морских, лунного сияния и ослепительно яркого полуденного неба – суть человекообразные олицетворения радости здешнего. – Пафос поюстороннего, вот о чем в один голос говорят эти образы. Греческая религия знает и потустороннее; но это – не надземный, а подземный мир, где темно и безотраднo; о нем говорит Одиссею тень Ахилла, что лучше быть на земле рабом и поденщиком, чем в царстве теней царствовать над мертвецами.

С течением времени, после Гомера, представления греков о загробном мире обогащаются новыми чертами: появляются сказания о Елисейских полях, куда в виде исключения попадают отдельные «блаженные», «восхищаемые богами» и участвующие в их бессмертии. Но это – не потусторонний мир, а только иная, весьма отдаленная область здешнего, страна, где не заходит солнце, наше солнце. Эта привилегия земного блаженства для некоторых избранных богов не только не вносит каких-либо существенных изменений в основы греческого жизнепонимания, но, как раз наоборот, подчеркивает характерное для него предпочтение поюстороннего. Зародившиеся значительно позже Гомера елевсинские мистерии связываются с обетованиями загробного «блаженства» для посвященных; но и здесь мы не имеем какого-либо переворота в жизнепонимании. Говоря словами одного из величайших знатоков древне–греческой религии, елевсинские мистерии не выдвинули какого-либо нового учения об изменении образа жизни, не дали какого-либо нового и своеобразного определения религиозного настроения, не высказали какой-либо новой, отличной от традиционной, оценки жизненных ценностей. Все то «блаженство», которое обещают мистерии, сводится к облегчению посмертного жребия их участникам и окрашивается красками по существу поюсторонними. В особенности характерно, что все обетования и надежды сосредоточиваются здесь вокруг образа Персефоны, периодически похищаемой подземным богом и периодически возвращающейся на землю; некоторый, неясно представляемый возврат утраченного земного счастья, – вот, по–видимому, высшее, на что могут надеяться участники мистерий.

Распространенный в древней Греции культ Диониса с его верою в Бога, периодически умирающего и периодически оживающего, также не поднимает своих поклонников в иной план существования, над здешним. Как раз наоборот, дионисический экстаз есть погружение человека в тот вечно возвращающийся круг жизни природы, в

котором нет окончательного подъема и победы, а потому все приковано к той плоскости, где периодически возвращается смерть. Обряды дионисического культа с их возбуждающей чувственностью музыкой и бешеными плясками, напоминающими наши хлыстовские радения, выражают собою безумную радость здешнего. Если мы вспомним, что участники этих вакханалий после пляски живьем растерзывали жертвенных животных, рвали их зубами и глотали их сырое, окровавленное мясо, мы поймем, что это богопочитание не возвышается над порочным биологическим кругом жизни, сеющей смерть. Дионисический «экстаз» – не просветление, а озверение; это – не подъем человека в высшую, надчеловеческую область, а, наоборот, ниспадение в подчеловеческую сферу существования.

Теперь этот религиозный натурализм может считаться раз навсегда превзойденным. Мирозерцание натуралистическое, плоскостное, – то, которое считает здешний план существования единственным, – окрашено явно антирелигиозным характером. В религии в наши дни в собственном смысле слова приходится считаться лишь с теми направлениями, которые так или иначе признают и утверждают потустороннее. Из них мы прежде всего остановимся на тех, которые представляют собою прямую противоположность жизнерадостному мирозерцанию древних греков. Я говорю о тех религиях Индии, которые не только не признают правду здешнего, но частью даже отрицают его реальность.

Переходя к этим религиям, мы чувствуем себя в духовной атмосфере вещего сна. Глубина религиозных исканий Индии выражается именно в том, что она превращает все суждения плоскостного здравого смысла в их противоположное. То, что мы называем действительностью, есть на самом деле сон; а то, что мы называем сном, есть подлинная действительность и подлинная ценность, – вот чему учит нас аскетическая мудрость браманизма и буддизма. Слово «Будда» даже буквально значит «пробудившийся». И все учения обеих мировых религий есть ни что иное, как попытка осуществить это пробуждение, подняться над наваждением суеты и тяжким бредом, именуемым действительностью; для буддизма, как и для браманизма, подлинное выражение истинной жизни и ее смысла – не эта действительность, а те крылья, которые влекут нас прочь от нее.

Пафос браманизма именно и заключается в ощущении той могучей внутренней силы духа, которая подымлет человека над всей тварью земною и надземною, над солнцем, над бурей и над самими богами. Эта сила собранного в себе духа, которая является человеку в молитве и в полноте истинного ведения, и есть подлинное его нутро, его самость (атман). Но эта же «самость», которую человек находит в себе через самопогружение, есть единственно подлинное сущее: кто ее видит, слышит и исследует, тот тем самым познал весь мир, находит все прочие существа в своем собственном существе. В обманчивом чувственном представлении мир представляется нам множественным. Но через самопогружение мы находим его единство, мы прозреваем в нем «единое без другого».

Восприятие всеединства через самоуглубление, – вот что составляет основную интуицию религии Вед. Противопоставляя эту интуицию мировой сущности и мирового смысла, царящей в окружающей нас действительности бессмыслице, учение Вед приходит к убеждению в призрачности этой действительности. – Это – майя, т. е. обман, мираж нашего чувственного зрения и нашего несовершенного ведения, над которым должно возвыситься подлинное ведение. Подлинно есть лишь абсолютное, единое Божественное – Браман, тождественное с внутренней сущностью (атманом) человека и всякого существа. Душа человека – не истечение и не часть этой божественной сущности, а сама эта сущность, в которой нет ни перемены, ни различия, ни множества. А потому и ведение человека есть приобщение к всеведению того мирового зрителя, который живет в каждом существе. Познается это единство всего в Брамане не через какие-либо доказательства, ибо оно недоказуемо, а через непосредственное усмотрение. Тут мы

имеем высшую очевидность. С этим теоретическим утверждением всеединства связывается и практическое требование, чтобы человек отказался от всего индивидуального, отрекся от всякого эгоистического желания, от всякого искания награды здесь или за гробом. Весь этот мир есть ложь; а потому и смысл жизни достигается лишь в полном отрешении от мира. – Жизненный идеал браманизма есть полное растворение всего индивидуального, конкретного – в безличном единстве мирового духа, в Бrame.

Это аскетическое отрешение от всего доводится до конца в буддизме. Его идеал заключается в том, чтобы возвыситься не только над жизнью конечной, индивидуальной, но надо всякой жизнью как таковою, над самым стремлением к жизни, над самым желанием бессмертия. Буддизм оставляет без ответа самый вопрос о вечной жизни индивида, чтобы не будить в человеке того суетного желания жить, которое составляет корень всего мирового зла и мирового страдания. В полном отрешении от жизни и заключается то успокоение в «нирване», которое проповедует буддизм. В этом буддийское религиозное сознание видит единственный выход из порочного круга бесконечно возобновляющихся смертей и рождений: жажда «нирваны» здесь обуславливается отождествлением самой жизни как так[ов]ой с суетой.

Задача религиозного искания остается, в конце концов, и тут неразрешенной. Аскетическое самоотрицание и сонное мечтание Индии оказывается такой же полуправдой, как и религиозное мироощущение древних греков: оно так же мало спасает нас от порочного круга, как и та радость жизни, которая олицетворяется светлыми солнечными богами–олимпийцами. Мы видим тут два противоположных жизненных стремления, две скрещивающиеся линии жизни. Одна утверждает здесь, на земле, упирается в землю обоими концами. Другая, напротив, стремится прочь от земли, вверх. Но обе линии роковым образом приводят к одному и тому же. Смертью оканчивается и преходящее опьянение жизненного пира Диониса и возвышенный полет индийского аскеза. Ибо то, что называется блаженством в браманизме, как и в буддизме, на самом деле не есть победа жизни, а, как раз наоборот, победа над жизнью и, стало быть, победа смерти. Пафос обеих названных религий заключается именно в их отвращении к суете и в их подъеме к трансцендентному. Но в этом подъеме как та, так и другая находят не жизнь, а смерть.

В сущности эта индийская религиозность верит не в смысл, а в бессмыслицу жизни. У индусов чувствуется духовный подъем; но он заканчивается роковой неудачей, которая свидетельствует о бессилии духа и бессилии жизни. Ибо здесь дух, в конце концов, не одухотворяет землю, не преображает ее изнутри, не побеждает в ней изначальной силы зла, а только сам избавляется от этой силы. Его отношение к земле – только отрицательное: он отлетает от нее навеки и тем самым отдает землю со всем живущим на ней во власть страдания, зла и бессмыслицы. Напрасны мучения, и тщетна надежда живой твари: ибо в том спасении, которое возвещается аскетами Индии, для нее нет места: это – не спасение жизни, а спасение от жизни: «спасение» браманов заключается именно в уничтожении всех конкретных форм, всего многообразия сотворенного: та жизнь Бrame, которая сохраняется в вечности, в точном смысле слова не может быть названа их жизнью. Что же касается «спасения» буддистов, то оно заключается именно в отрешении от жизни как так[ов]ой, в полном ее самоотрицании. Чтобы совершилось это «спасение», должно прекратиться всякое стремление, должны исчезнуть все яркие краски мироздания. И, вместе с радостью жизни, вся красота вселенной должна испариться как обман.

Тем самым обращается в ничто тот полет и подъем к запредельному, который составляет сущность религиозных исканий Индии, ибо паяет этот не приводит к цели. – От земли вместе с духом отлетает ее смысл; стало быть, все движение земного суетно, самое усилие земли – подняться к небу – в конечном счете оказывается обманутым. Это небо остается для нее навеки затворенным, запредельным, и миру телесному никогда не суждено с ним соединиться.

Индийское и греческое решения вопроса о смысле жизни оказываются в одинаковой мере несостоятельными. Греческая религиозность, утверждающая мир, вместо космоса находит хаос – беспорядочное множество борющихся между собою сил, не связанных единством общего смысла. А религиозность индийская совершенно отменяет мир как несущественное и бессмысленное, т. е., стало быть, также не находит смысла в мире, а видит смысл лишь в его уничтожении. В религии греков – хаотическое множество живых существ, не достигающих полноты всеединой вечной жизни; в религии браманов – единая, вечная жизнь Браны, исключая множество индивидуальных форм; в буддизме – мертвая пустота, покой смерти в нирване, – все это различные проявления одной и той же неудачи жизни и ее искания смысла. Ищет ли человек этого смысла в горизонтальной плоскости земного или в вертикальном подъеме в другой, верхний план существования, результат этих двух движений – один и тот же: страдание о недостигнутом смысле и то возвращение жизненного круга назад, на землю, в бессмыслицу, о котором говорит поэт:

О, смертной мысли водомет!
О, водомет неистошимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремится, тебя мятет.
Как жадно к небу рвешься ты;
Но длань незримо роковая,
Твое стремленье преломляя.
Свергает в брызгах с высоты.

Обе эти линии, выражающие два основных направления жизненного стремления: линия плоскостная, или горизонтальная, и восходящая, или вертикальная, скрещиваются. И так как эти две линии представляют собою исчерпывающее изображение всех возможных жизненных направлений, то их скрещение – крест – есть наиболее универсальное, точное схематическое изображение жизненного пути. Во всякой жизни есть неизбежное скрещение этих двух дорог и направлений, этого стремления вверх и стремления прямо перед собой в горизонтальной плоскости. Дерево, которое всю свою жизненную силу поднимает от земли к солнцу и в то же время стелется вдоль земли горизонтальными ветвями, представляет собою как бы наглядное символическое выражение в пространстве того же скрещения, которое совершается и в жизни духа.

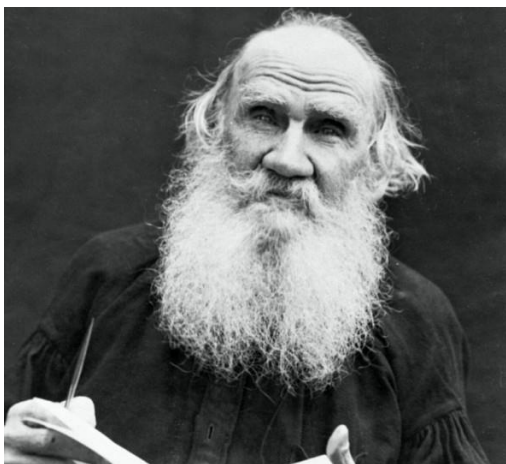
Крест в этом смысле есть в основе всякой жизни. Совершенно независимо от того, как мы относимся ко Христу и христианству, мы должны признать, что крестообразно самое начертание жизни, и что есть космический крест, который выражает собою как бы архитектурный остов всего мирового пути.

Стоим ли мы на христианской точке зрения или нет, – все равно, – весь вопрос о смысле жизни так или иначе приводит к вопросу о кресте: ибо вне этих двух скрещивающихся линий жизни других линий и путей быть не может: всякие иные пути представляют собою лишь видоизменения этих двух. Но, в зависимости от того, приводят ли эти жизненные пути к цели, завершаются ли они удачей или неудачей, – весь смысл креста будет различен. Если последний и окончательный результат всякой жизни есть смерть, то скрещение жизненных линий есть только предельное выражение скорби, страдания, унижения и ничего больше, – тогда крест есть только символ всеобщей муки: таким его и знало и до-христианское человечество. Иное дело, если в скрещении своих линий жизнь достигает своей полноты, своего вечного, прекрасного и неумирающего смысла. Тогда крест становится символом этой высшей победы. В доступной нашему наблюдению действительности крест приводит к смерти. Спрашивается, может ли он стать крестом животворящим! Поставить этот вопрос – и значит прийти к единственно правильной постановке вопроса о смысле жизни.

<...>

Вопросы и задания:

- 1) Как понимает «смысл жизни» Евгений Николаевич Трубецкой?
- 2) Существует ли, согласно Е.Н. Трубецкому, универсальный смысл жизни?
- 3) Почему человеку, насколько это следует из работы Е.Н. Трубецкого, необходим смысл жизни?
- 4) Как, следуя Е.Н. Трубецкому, побороть бессмыслицу существования и отыскать смысл жизни?



Лев Николаевич Толстой (28 августа [9 сентября] 1828 – 7 [20] ноября 1910) – один из наиболее известных русских писателей. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, его авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-нравственного течения – толстовства. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе (1902, 1903, 1904, 1905). Впоследствии отказался от дальнейшей номинации.

В «Исповеди» Лев Толстой повествует о своем жизненном пути и поисках смысла жизни.

5. Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? / Толстой Лев Николаевич. – Л.: Художественная литература, 1991. – 410 с.

ИСПОВЕДЬ

(Вступление к ненапечатанному сочинению)

I

Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства и во всё время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.

Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие; но доверие это было очень шатко.

Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володинька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что бога нет и что всё, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное.

Помню еще, что, когда старший мой брат Дмитрий, будучи в университете, вдруг, с свойственною его натуре страстностью, предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь, то мы все, и даже старшие, не переставая поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывавшегося брата тем, что и Давид плясал пред ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слитком серьезно всего этого принимать не

следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большей частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью, явлением.

По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большей частью встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большей частью встречались в людях, признающих себя неверующими.

В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще больше, мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру.

Так что как теперь, так и прежде вероучение, принятое по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто долго живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено было ему с детства, тогда как его давно уже нет и следа.

Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет двадцати шести уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой, с детства принятой привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: «А ты еще всё делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг другу. И С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот тридцать лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился бы к ним, не потому, чтоб он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести; слово это было указанием на то, что там, где он думал, что есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их.

Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях, правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Эти люди – самые коренные неверующие, потому что если вера для них – средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уж наверно не вера.) Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни растопил искусственное здание, и они или уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого.

Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет перестал становиться на

молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в бога или, скорее, я не отрицал бога, но какого бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и Христа и его учение, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью, – единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно, – я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю – составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И всё это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других.

II

Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни – и трогательную и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всю душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетюшка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной: «rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut»,¹ еще другого счастья она желала мне, – того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья – того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любоддеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили.

Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распушенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, – в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учит. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я – художник, поэт – писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собою. Одни говорили: мы – самые хорошие и полезные учителя, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы – настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между нами людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Всё это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни – но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта – обман.

Но странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми, – от чина художника, поэта, учителя, – я не отрекся. Я наивно воображал, что я – поэт, художник, и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему.

Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно, – возникает именно *то* самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших.

Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать – как можно скорее, как можно больше, что всё это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. И, не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно, – мы не знаем, что ответить, мы все, не слушая друг друга, все враз говорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга с тем, чтоб и мне потакали и меня похвалили, иногда же раздражаясь и перекрикивая друг друга, точно так, как в сумасшедшем доме.

Тысячи работников дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, а мы всё еще больше и больше учили, учили и учили и никак не успевали всему научить, и всё сердились, что нас мало слушают.

Ужасно странно, но теперь мне понятно. Настоящим, задушевым рассуждением нашим было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для

достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали. Но для того, чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь уверенность, что мы – очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: всё, что существует, то разумно. Всё же, что существует, всё развивается. Развивается же всё посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за то, что мы пишем книги и газеты, и потому мы – самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам платили деньги, и люди нашей партии нас хвалили, – стало быть, мы, каждый из нас, считали себя правыми.

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие, – называл всех сумасшедшими, кроме себя.

III

Так я жил, предаваясь этому безумию еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердило меня еще больше в той вере совершенствования вообще, которой я жил, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени; Вера эта выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом, – говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «куда держаться», – если он, не отвечая на вопрос, скажет: «нас несет куда-то».

Тогда я не замечал этого. Только изредка – не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия, которым люди заслоняют от себя свое непонимание жизни. Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидел, как голова отделилась от тела, и то, и другое врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, – что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, – я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем. Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания.

Но это были только редкие случаи сомнения, в сущности же я продолжал жить, исповедуя только веру в прогресс. «Всё развивается, и я развиваюсь; а зачем это я развиваюсь вместе со всеми, это видно будет». Так бы я тогда должен был формулировать свою веру.

Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня очевидною, лжи, которая мне уже резала глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским

детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят.

В сущности же я вертелся всё около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтоб учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности мне ясно было, что нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между собой скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтоб исполнить свою похоть – учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу ничему учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно. После года, проведенного в занятиях школой, я другой раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить других.

И мне казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда же, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел в пятьдесят лет, если б у меня не было еще одной стороны жизни, не изведанной еще мною и обещавшей мне спасение: это была семейная жизнь.

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась деятельность моя в школах, так противно мне стало мое влияние в журнале, состоявшее всё в одном и том же – в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, – бросил всё и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился. Новые условия счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше.

Так прошло еще пятнадцать лет.

Несмотря на то, что я считал писательство пустяками в продолжение этих пятнадцати лет, я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей.

Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше.

Так я жил, но пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить попрежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и всё в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?

Сначала мне казалось, что это так – бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это всё известно и что если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда, – что теперь только мне некогда этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и

настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая всё на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно.

«Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растёт, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это – смерть.

Тоже случилось и со мной. Я понял, что это – не случайное недомогание, а что–то очень важное, и что если повторяются всё те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во–первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во–вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!..»

И я ничего и ничего не мог ответить.

IV

Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет.

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это – обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил–жил, шел–шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме гибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти – полного уничтожения.

Жизнь мне опостылела – какая–то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как–нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком лёгким способом избавления себя от

жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и, между тем, чего-то еще надеялся от нее.

И это случилось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми – десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий.

И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишиться себя жизни.

Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления.

Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30–40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она, – как я дурак-дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. «А ему смешно...»

Но есть ли, или нет этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Всё это так давно всем известно. Не нынче-завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить – вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман! Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто – жестоко и глупо.

Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он всё держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволу куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня; но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мышь – день и ночь – подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне. Я вижу одно – неизбежного дракона и мышей, – и не могу отвести от них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда.

Прежний обман радостей жизни, заглушавший ужас дракона, уже не обманывает меня. Сколько ни говори мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, – я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно – истина. Остальное всё – ложь.

Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины – любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, – уже не сладки мне.

«Семья»... – говорил я себе; – но семья – жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! Любя их, я не могу скрывать от них истины, – всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина – смерть.

«Искусство, поэзия?..» Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это – дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит всё – и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидел, что и это – обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других? Пока я не жил своею жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, – отражения жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства; но когда я стал отыскивать смысл жизни, когда я почувствовал необходимость самому жить, – зеркальце это стало мне или ненужно, излишне и смешно, или мучительно. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце вижу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра светов и теней – комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни – потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, – игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Никакая сладость меда не могла быть сладка мне, когда я видел дракона и мышей, подтачивающих мою опору.

Но и этого мало. Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это – мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу, знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться.

Вот это было ужасно. И чтоб избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня – знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог отогнать его и не мог терпеливо ожидать конца. Как ни убедительно было рассуждение о том, что всё равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь, и всё кончится, я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. И вот это–то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству.

<...>

XIV

Мне так необходимо было тогда верить, чтобы жить, что я бессознательно скрывал от себя противоречия и неясности вероучения. Но это осмысливание обрядов имело предел. Если ектения всё яснее и яснее становилась для меня в главных своих словах, если я объяснял себе кое–как слова: «пресвятую владычицу нашу богородицу и всех святых помянувшие, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу богу предадим», – если я объяснял частое повторение молитв о царе и его родных тем, что они более подлежат искушению, чем другие, и потому более требуют молитв, то молитвы о покорении под ножи врага и супостата, если я их объяснял тем, что враг есть зло, – молитвы эти и другие,

как херувимская и всё таинство проскомидии или «взбранной воеводе» и т. п., почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу и тем совсем разрушаю свое отношение к богу, теряя совершенно всякую возможность веры.

То же я испытывал при праздновании главных праздников. Помнить день субботний, т. е. посвятить один день на обращение к богу, мне было понятно. Но главный праздник был воспоминание о событии воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресенья назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне совершенно непонятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме Рождества, были воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать: Вознесенье, Пятидесятница, Богоявление, Покров и т. д. При праздновании этих праздников, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня составляет самую обратную важность, я или придумывал успокоивавшие меня объяснения, или закрывал глаза, чтобы не видеть того, что соблазняет меня.

Сильнее всего это происходило со мною при участии в самых обычных таинствах, считаемых самыми важными: крещении и причастии. Тут не только я сталкивался с не то что непонятными, но вполне понятными действиями: действия эти казались мне соблазнительными, и я был поставлен в дилемму—или лгать, или отбросить.

Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Службы, исповедь, правила — всё это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каюсь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера.

Но я теперь позволяю себе говорить, что это было жестокое требование, тогда же я и не подумал этого, мне только было невыразимо больно. Я уже не был в том положении, в каком я был в молодости, думая, что всё в жизни ясно; я пришел ведь к вере потому, что помимо веры я ничего, наверное ничего, не нашел, кроме гибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился. И я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кошунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз.

Я продолжал точно так же исполнять обряды церкви и всё еще верил, что в том вероучении, которому я следовал, была истина, и со мною происходило то, что теперь мне ясно, но тогда казалось странным.

Слушал я разговор безграмотного мужика странника о божестве, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я всё больше и больше понимал истину. То же было со мной при чтении Четвы—Минеи и Прологов; это стало любимым моим чтением. Исключая чудеса, смотря на них как на фабулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иоасафа царевича (история Будды), там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодце, о монахе, нашедшем золото, о Петре

мытаре; там история мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни; там истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви.

Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их книги, как какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, и я чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти.

XV

Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде.

Так я жил года три, и первое время, когда я, как оглашенный, только понемногу приобщался к истине, только руководимый чутьем шел туда, где мне казалось светлее, эти столкновения менее поражали меня. Когда я не понимал чего-нибудь, я говорил себе: «я виноват, я дурач». Но чем больше я стал проникаться теми истинами, которым я учился, чем более они становились основой жизни, тем тяжелее, разительнее стали эти столкновения и, тем резче становилась та черта, которая есть между тем, чего я не понимаю, потому что не умею понимать, и тем, чего нельзя понять иначе, как солгав перед самим собою.

Несмотря на эти сомнения и страдания, я еще держался православия. Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов церковью – противное самым основам той веры, которую я жил, – окончательно заставило меня отречься от возможности общения с православием. Вопросы эти были, во-первых, отношение церкви православной к другим церквям – к католицизму и к так называемым раскольникам. В это время, вследствие моего интереса к вере, я сближался с верующими разных исповеданий: католиками, протестантами, старообрядцами, молоканами и др. И много я встречал из них людей нравственно высоких и истинно верующих. Я желал быть братом этих людей. И что же? – То учение, которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола, и что мы одни в обладании единой возможной истины. И я увидел, что всех, не исповедующих одинаково с ними веру, православные считают еретиками, точь-в-точь так же, как католики и другие считают православие еретичеством; я увидел, что ко всем, не исповедующим внешними символами и словами свою веру так же, как православие, – православие, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно, как оно и должно быть, во-первых, потому, что утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому, и, во-вторых, потому, что человек, любящий детей и братьев своих, не может не относиться враждебно к людям, желающим обратить его детей и братьев в веру ложную. И враждебность эта усиливается по мере большего знания вероучения. И мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести.

Соблазн этот до такой степени очевиден, до такой степени нам, образованным людям, живавшим в странах, где исповедуются разные веры, и выдавшим то презрительное, самоуверенное, непоколебимое отрицание, с которым относится католик к православному и протестанту, православный к католику и протестанту, и протестант к обоим, и такое же отношение старообрядца, пашковца, шекера и всех вер, что самая очевидность соблазна в первое время озадачивает. Говоришь себе: да не может же быть, чтобы это было так просто, и все-таки люди не видали бы того, что если два утверждения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом нет той единой истины, какую должна быть вера. Что-нибудь тут есть. Есть какое-нибудь объяснение, – я и думал, что есть, и отыскивал это объяснение, и читал всё, что мог, по этому предмету, и советовался со

всеми, с кем мог. И не получал никакого объяснения, кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире Сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире – это желтые уланы. Духовные лица всех разных исповеданий, лучшие представители из них, ничего не сказали мне, как только то, что они верят, что они в истине, а те в заблуждении, и что всё, что они могут, это молиться о них. Я ездил к архимандритам, архиереям, старцам, схимникам и спрашивал, и никто никакой попытки не сделал объяснить мне этот соблазн. Один только из них разъяснил мне всё, но разъяснил так, что я уж больше ни у кого не спрашивал.

Я говорил о том, что для всякого неверующего, обращающегося к вере (а подлежит этому обращению всё наше молодое поколение), этот вопрос представляется первым: почему истина не в лютеранстве, не в католицизме, а в православии? Его учат в гимназии, и ему нельзя не знать, как этого не знает мужик, что протестант, католик так же точно утверждают единую истинность своей веры. Исторические доказательства, подгибаемые каждым исповеданием в свою сторону, недостаточны. Нельзя ли, – говорил я, – выше понимать учение, так, чтобы с высоты учения исчезали бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти дальше по тому пути, по которому мы идем с старообрядцами? Они утверждали, что крест, аллилуия и хождение вокруг алтаря у нас другие. Мы сказали: вы верите в Никейский символ, в семь таинств, и мы верим. Давайте же держаться этого, а в остальном делайте, как хотите. Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. Теперь с католиками нельзя ли сказать: вы верите в то–то и то–то, в главное, а по отношению к *filioque*² и папе делайте, как хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с ними на главном? Собеседник мой согласился с моей мыслью, но сказал мне, что такие уступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает от веры предков, и произведут раскол, а призвание духовной власти – блюсти во всей чистоте грекороссийскую православную веру, переданную ей от предков.

И я всё понял. Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей. И, исполняя эти человеческие дела, они и исполняют их по–человечески. Сколько бы ни говорили они о своем сожалении о заблудших братьях, о молитвах о них, возносимых у престола всевышнего, – для исполнения человеческих дел нужно насилие, и оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться. Если два исповедания считают себя в истине, а друг друга во лжи, то, желая привлечь братьев к истине, они будут проповедывать свое учение. А если ложное учение проповедуется неопытным сынам церкви, находящейся в истине, то церковь эта не может не сжечь книги, не удалить человека, соблазняющего сынов ее. Что же делать с тем, горящим огнем ложной, по мнению православия, веры сектантом, который в самом важном деле жизни, в вере, соблазняет сынов церкви? Что же с ним делать, как не отрубить ему голову или не запереть его? При Алексее Михайловиче сжигали на костре, т. е. по времени прилагали высшую меру наказания; в наше время прилагают тоже высшую меру – запирают в одиночное заключение. И я обратил внимание на то, что делается во имя вероисповедания, и ужаснулся, и уже почти совсем отрекся от православия. Второе отношение церкви к жизненным вопросам было отношение ее к войне и казням.

В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквях молились об успехе нашего оружия, и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на всё то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся.

И я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не всё истина. Прежде я бы сказал, что всё вероучение ложно; но теперь нельзя было этого сказать. Весь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне было доступно, я уже жил им и чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. И всё то, что прежде отталкивало меня, теперь живо предстало передо мною. Хотя я и видел то, что во всем народе меньше было той примеси оттолкнувшей меня лжи, чем в представителях церкви, — я всё-таки видел, что и в верованиях народа ложь примешана была к истине.

Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь, и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь, и истина заключаются в предании, в так называемом священном предании и писании.

И волей-неволей я приведен к изучению, исследованию этого писания и предания, — исследованию, которого я так боялся до сих пор.

И я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким презрением откинул как ненужное. Тогда оно казалось мне рядом ненужных бессмыслиц, тогда со всех сторон окружали меня явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла; теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову, но деваться некуда. На этом вероучении зиждется, или по крайней мере неразрывно связано с ним, то единое знание смысла жизни, которое открылось мне. Как ни кажется оно мне дико на мой старый твердый ум, это — одна надежда спасения. Надо осторожно, внимательно рассмотреть его, для того, чтобы понять его, даже и не то, что понять, как я понимаю положение науки. Я этого не ищу и не могу искать, зная особенность знания веры. Я не буду искать объяснения всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно-необъяснимому; я хочу, чтобы всё то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования моего ума неправильны (они правильны, и вне их я ничего понять не могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить.

Что в учении есть истина, это мне несомненно; но несомненно и то, что в нем есть ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я приступил к этому. Что я нашел в этом учении ложного, что я нашел истинного и к каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которое, если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано.

Это было написано мною три года тому назад.

Теперь, пересматривая эту печатаемую часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я переживал ее, я на днях увидел сон. Сон этот выразил для меня в сжатом образе всё то, что я пережил и описал, и потому думаю, что и для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно всё то, что так длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон: Вижу я, что лежу на постели. И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чем я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени — на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул ее слишком далеко, хочу захватить ее ногами, но с этим движеньем выскальзывает из-под голеней и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне

уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскользывают и перемещаются подо мной еще и другие помочи, и я вижу, что дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. – Тут только я спрашиваю себя то, чего прежде мне и не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело, и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.

Я не могу даже разобрать – вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновение, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскользивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что я вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: «Заметь это, это оно!» и я гляжу всё дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню всё, что было, и вспоминаю, как это всё случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я вишу всё так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Всё это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся.

Вопросы и задания:

- 1) Какой путь пришлось проделать Льву Толстому в поисках смысла жизни?
- 2) Нашел ли автор смысл жизни?
- 3) Поясните значение притчи о путнике и соотнесите его со сном автора, о котором он пишет в конце произведения.
- 4) Является ли финал «Исповеди» открытым? Что он означает?

ТЕМАТИКА ЭССЕ

- 1) Когда впервые в истории человечества возникает проблема смысла жизни?
- 2) Разрешима ли проблема смысла жизни?
- 3) Какой ответ на вопрос о смысле жизни вам кажется актуальным?
- 4) Зачем человеку смысл жизни?
- 5) Прав ли Альбер Камю, когда пишет в «Мифе о Сизифе»: «Единственный серьезный философский вопрос – стоит ли жизнь труда быть прожитой»?

ПАМЯТКА НАПИСАНИЯ ЭССЕ

Эссе – это, прежде всего, ваше размышление. При написании эссе вы можете использовать различные источники, но с условием, что вы их перерабатываете в свой текст. В эссе желательны цитаты и примеры (но постарайтесь избегать бытовых примеров). В эссе нужно сформулировать основной тезис и подобрать три-четыре аргумента к нему. В структуре эссе, как и в сочинении, желательны введение и заключение.

Эссе – целостный продукт творческой работы, поэтому старайтесь писать эссе не по структуре и шаблону, а следовать живому потоку мысли.

ТЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ

- 1) Как решает вопрос о смысле жизни Мишель Уэльбек в своих романах «Элементарные частицы», «Возможность острова», «Покорность»? Проследите изменение в восприятии проблемы автором через эти три романа.
- 2) Сравните подход Джона Фаулза к проблеме смысла жизни в раннем романе «Коллекционер» и позднем сборнике философских эссе «Аристос».
- 3) Гуманны ли романы Джона Кутзее и Дэниела Киза?
- 4) Проанализируйте подход к проблеме смысла жизни Альбера Камю в повести «Посторонний» и философском эссе «Миф о Сизифе».
- 5) Сравните подход к проблеме смысла жизни в пьесе Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями» и статье «Экзистенциализм – это гуманизм»
- 6) Как можно представить решение вопроса о смысле жизни в аналитической психологии Карла Юнга решает вопрос о смысле жизни?
- 7) Является ли логотерапия философским преодолением жизненной бессмыслицы? Сравните подходы Виктора Франкла и Отто Больнова.
- 8) Занимает ли вопрос о смысле жизни особое место в русском мировоззрении? Как отвечает на этот вопрос Семен Франк?
- 9) В чем заключается смысл жизни, согласно размышлениям Евгения Николаевича Трубецкого?
- 10) Решает ли вопрос о смысле жизни Лев Николаевич Толстой (в работах «Исповедь» и «Путь жизни»)?